



Журнал
Редактор Евгений Беркович

СЕМЬ ИСКУССТВ

Наука

Культура

Словесность

12/2012

Журнал
«Семь искусств»

Декабрь 2012

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник Дорота Белас

2012

Журнал

«Семь искусств»

Декабрь 2012

© Евгений Беркович (составление и редактирование)

© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная вёрстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер

Издательство «Общества любителей еврейской старины»

Содержание

Мирон Я. Амусья	
Об ошибке гения Некоторые замечания к нобелевской лекции Нильса Бора.....	5
Евгений Майбурд	
Об одной ошибке великого Черчилля.....	14
Василий Демидович	
Р.В. Гамкрелидзе.....	41
Шуламит Шалит	
Писать стихи – чувство сладкое.....	71
Игорь Ефимов	
Опять о Толстом.....	84
Борис Тененбаум	
Испанская Партия.....	92
Надежда Кожевникова	
Отступник Коварский, или почему Кейт стала учить русский язык.....	111
Анатолий Абрамов	
Человек Альберт Швейцер. Книга первая. Подвиг.....	121
Влад Аронов	
Ах, какая печаль.....	174
Борис Бем	
Старый новый американец Борух о Герше.....	180
Владимир Шапиро	
Ассоциативный поток воспоминаний.....	189
Геннадий Несис	
Вернуться в прожитую жизнь.....	198
Дора Ромадинова	
Галина Вишневская.....	212
Ирина Маулер, Михаил Юдсон	
Турбина Журбина.....	236
Виталий Аронзон	
42 года без Леонида Аронзона.....	245
Лариса Миллер	
«Стихи гуськом».....	278
Игорь Гельбах	
Играющий на флейте.....	300

Елена Матусевич	
Мешок на колесах	318
Алекс Гарн	
Бирьоска.....	321
Сергей Ребельский	
Я знаю?.....	327
Эстер Пастернак	
Последнее рассеяние	333
Александр Матлин	
Слышно, как упала булавка	339
Артур Кальмейер	
Путешествия Подборка четырёх переводов.....	346
Виктор Гопман	
Русский язык за рубежом	368
Об авторах.....	375

Мирон Я. Амусья

Об ошибке гения

Некоторые замечания к нобелевской лекции Нильса Бора

*Меч Ахилла под силу только
Аяксам и Одиссеям*

В.Г. Белинский, Сочинения Александра Пушкина



авно искал подходящий случай прокомментировать одно очень важное критическое замечание, содержащееся в Нобелевской лекции Нильса Бора, зачитанной в связи с присуждением ему этой премии в 1922 г. и касающееся его спора с работой Эйнштейна, за которую тот был удостоен Нобелевской премии 1921.

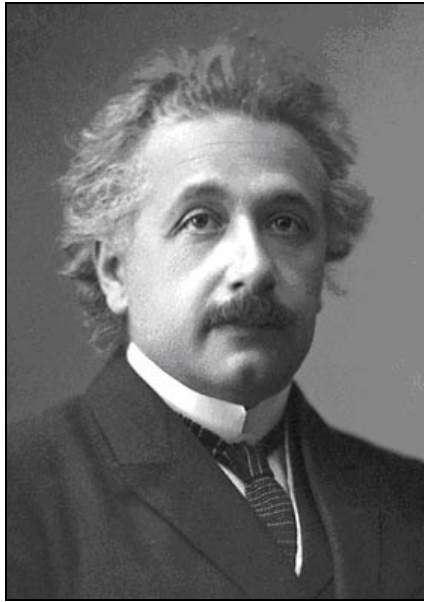
Подходящий случай пришёл в виде приглашения участвовать в заседании Научно-мемуарной программы Санкт-Петербургского союза учёных «Былое и думы» 12 декабря сего года. Я не могу физически участвовать в этом заседании, в том числе и потому, что именно в это время буду проводить семинар «Трение в физике и обществе» на расстоянии почти четырёх часов лёта от Петербурга – в Иерусалиме.

Заседание в Санкт-Петербурге называется «Снова о свете и жизни» и посвящено памяти Нильса Бора – одного из крупнейших физиков XX века, внёсшего важнейший вклад в понимание строения атомов и атомных ядер. Обобщением его открытий в области физики стала новая философская идея дополнительности и роли наблюдателя и процесса наблюдения, на уровне микромира, неразрывно связанная с его результатами.

Заседание «Снова о свете и жизни» приурочено к 90-летию присуждения Нобелевской Премии по физике за 1922 год Нильсу Бору «за работы в исследовании структуры атомов и излучения, испускаемого ими».

Напомню, что годом раньше Нобелевская премия была присуждена А. Эйнштейну «за его работы на благо теоретической физики, и особенно открытие законов фотоэлектрического

эффекта». Фактически, Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую Премию годом позже, в 1922 г. Это было связано с тем, что во время процедуры отбора в 1921 г., Нобелевский комитет по физике пришёл к выводу: ни одна из номинаций того года не удовлетворяет критериям, очерченным завещанием Альфреда Нобеля. Согласно уставу Нобелевского фонда, Нобелевская премия в таком случае сохраняется до следующего года, и именно это положение устава было применено. Поэтому Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию за 1921 г., на один год позже – в 1922 г. Это позволяет, вообще говоря, расширить тематику заседания «Снова о свете и жизни» и считать его посвящённым сразу двум великим Нобелевским Премиам.



А. Эйнштейн (1879-1955). Нобелевское открытие сделано в 1905 г

Оба они, Бор и Эйнштейн, фактически заложили основы квантовой физики, однако разошлись в её интерпретации, подарив миру в 30-е годы потрясающую публичную дискуссию, волнующую физиков и философов, да и просто интеллигентных людей, и по сей день. В ней Эйнштейн предлагал парадоксы-противоречия, которые он видел в принятой трактовке квантовой механики, а Бор их убедительно объяснял. В этой дискуссии прав, на мой взгляд, оказался Н. Бор. Но был и другой, менее известный

спор, в котором ситуация оказалась прямо противоположной. К его описанию я и перехожу.



Н.Г. Бор (1885-1962). Нобелевское открытие сделано в 1913 г.

Основной награждаемой работой Эйнштейна была его статья 1905 г. «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». Нередко говорят, что эта работа, будто бы не слишком значительная на фоне других достижений Эйнштейна, была выбрана предметом награждения как легко, без споров, принятая научной общественностью, и вызвавшая наименьшее несогласие со стороны современников, в сравнение с другими работами Эйнштейна 1905 г. Эта точка зрения глубоко ошибочна. К 1922 г, когда Бор получал награду, неприятие идей работы Эйнштейна было отнюдь не редкостью, в отличие от специальной теории относительности, к году 20-му уже не имевшей серьёзных противников. Напомню, что в своей работе Эйнштейн впервые предположил, что свет не только излучается и поглощается, но и распространяется в виде подобных частицам объектов, называемых квантами. Именно это положение вызвало настолько сильное несогласие Бора, что он счёл нужным довольно резко раскритиковать его в своей Нобелевской лекции.

Было и ещё одно несогласие между Бором и Эйнштейном, связанное с экспериментальной проверкой предсказаний теории фотоэффекта, в основе которой лежал закон сохранения энергии в процессе поглощения *одного* фотона *одним* электроном. Основные уравнения открытия и Эйнштейна и Бора поразительно похожи:

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 = h\nu_{12} - \text{Bohr, Einstein} - h\nu = \varepsilon + I,$$

Здесь $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ - электронные уровни энергии Бора, члены с постоянной Планка $h - h\nu_{12}$ и $h\nu$ - суть испускаемая атомом при излучении (поглощаемая - в фотоэффекте) энергия фотона, ε - энергия фотоэлектрона, I - так называемая работа выхода фотоэлектрона. С нашей, сегодняшней, точки зрения - почти одно и то же.

Эйнштейн и Бор выучили нас, их научных внуков и правнуков, что это оба эти уравнения выражают закон сохранения энергии, приложенный к двум различным видам спектра электромагнитного излучения - дискретного у Бора и сплошного - у Эйнштейна. В применение к соотношению Бора этот закон утверждает, что энергия возбуждения атома вся передаётся кванту излучения точно такой же энергии. В применение к соотношению Эйнштейна, согласно этому же закону, энергия кванта целиком поглощается электроном, позволяя ему покинуть, скажем, металлическую плёнку и двигаться со строго определённой кинетической энергией ε . Но для Бора здесь были два качественно различных объекта, микроскопический атом и макроскопическая плёнка. Он отрицал доказанность закона сохранения энергии в элементарном акте фотоэффекта. Он полагал, что в микромире закон сохранения энергии выполняется лишь в среднем, а в элементарном акте может нарушаться. Он также отрицал роль идеи квантов как частиц электромагнитного поля.

В своей Нобелевской лекции, Н. Бор писал: «Эйнштейн пришёл к формулированию так называемой "гипотезы квантов света", согласно которой излучаемая энергия, в противоречие с электромагнитной теорией света, предложенной Максвеллом, будет распространяться не как электромагнитные волны. Вместо этого излучаемая энергия будет представлять собой скорее некие световые атомы, каждый с энергией, равной энергии кванта излучения. Эта концепция привела Эйнштейна к его хорошо известной теории фотоэлектрического эффекта. Это явление, которое было совершенно необъяснимо на основе классической теории, рассмотрено в совершенно ином свете. И предсказания теории Эйнштейна получили столь точное экспериментальное

подтверждение в последние годы, что, возможно, наиболее достоверное значение постоянной Планка получается из измерений фотоэффекта.

Однако, несмотря на эвристическое значение, гипотеза световых квантов, которая совершенно несовместима с так называемым явлением интерференции, не способна пролить свет на природу излучения. (выделено мной – МА) Мне следует только напомнить, что эти интерференционные явления представляют собой наш единственный способ исследования свойств излучения, и, таким образом, придание какого-то глубокого смысла частоте, которая в эйнштейновской теории определяет величину кванта света». Зная легендарную вежливость Бора, немислимо представить себе более резкое с его стороны выражение полного неприятия позиции Эйнштейна в этом вопросе, с учётом времени и особенно места его выражения.

Бор полагал, что экспериментальные подтверждения формулы Эйнштейна говорят лишь об её справедливости, в применении к микроскопическому объекту, лишь в среднем, а не в индивидуальном элементарном акте поглощения одного фотона. На эту тему он с сотрудниками, Слетером и Крамерсом¹, опубликовали несколько работ.

Отмечу, что Бор был не первым и не единственным, кто скептически относился к идее квантов. Приведу выдержку из письма от 12 июня 1913 г., которым Планк, Нернст, Рубенс и Варбург выдвигают Эйнштейна в члены Прусской Академии: «Тот факт, что иногда в своих спекуляциях он заходит слишком далеко (например, его гипотеза о световых квантах) не должен использоваться против него, поскольку тот, кто так не рискует, не сможет внести действительно новаторский вклад в науку». Однако критика Бора была наиболее последовательной и резкой.

Справедливость закона сохранения энергии и импульса в элементарном акте поглощения фотона была полностью подтверждена специально поставленными опытами по исследованию эффекта Комптона, в которых одновременно фиксировался испускаемый под действием налетающего фотона электрон и сопровождающий его вторичный фотон. Это было сделано почти сразу после лекции Бора в 1922 г. и его с соавторами статьи 1924 г. в работах В. Боте с Н. Гайгером и А.

¹ Например, N. Bohr, H. Kramers, and J. Slater, *Quantum Theory of Radiation*, Phil. Mag., 47, 785, 1924. Если мне не изменяет память, Слетер не хотел, чтобы его имя было в числе авторов этой работы, но Бор решил иначе.

Комптона с А. Саймоном годом спустя. Но процедура проверок и перепроверок, а вместе с ней и безоговорочное признание правильности эйнштейновской теории фотоэффекта как относящейся не только к макроскопическим объектам, но и к элементарному акту, задержалась почти на три десятилетия. Только в 1950 г опыты В. Гросса и Н. Рамзая (позднее лауреата Нобелевской премии) положили конец сомнениям.

Время берёт своё. Уже давно представление об электромагнитном излучении как о потоке фотонов – основа нашего понимания природы электромагнитного излучения. Оно прекрасно уживается с теорией Максвелла, и стало основой самого выдающегося достижения теоретической физики середины двадцатого века.

В 1931 г. Бор вернулся к идее нарушения закона сохранения энергии в элементарных актах на уровне микрочастиц, в связи с попыткой объяснить сплошной спектр электронов, испускаемых при бета-распаде ядер. Однако правильной оказалась иная идея, высказанная В. Паули в 1930 г. Именно он предположил, что наряду с электроном, в процессе испускается ещё одна, очень лёгкая и незаряженная частица, позднее названная нейтрино. Паули писал в 1930: «Я признаю, что такой выход может показаться на первый взгляд маловероятным... Однако, не рискуя, не выиграешь; серьёзность положения с непрерывным β -спектром хорошо проиллюстрировал мой уважаемый предшественник г-н Дебай, который недавно заявил мне в Брюсселе: “Об этом лучше не думать вовсе, как о новых налогах”».

В моих глазах описанный спор Бора с Эйнштейном, ведшийся хоть и с одной стороны (Эйнштейн, насколько знаю, прямо Бору не возражал), и кончившийся победой Эйнштейна, представляется эдакой Битвой Гигантов – совсем не простой для понимания и крайне поучительной.

Считаю уместным привести здесь некоторые воспоминания, в какой-то мере связанные с темой Нобелевской премии 1922. Лично с Нильсом Бором я знаком не был, но много слышал о нём от моего научного руководителя проф. Л. А. Слива, прошедшего, первым среди советских ученых после второй мировой войны, заметный период времени в Копенгагене. Там, вместе с тремя другими счастливыми он прослушал курс квантовой механики в её, на мой взгляд, сейчас общепринятой среди грамотных физиков, Копенгагенской интерпретации. Читал эти лекции сам Нильс Бор.

Это была середина пятидесятых, когда Н. Бора резко критиковали в СССР как идеалиста. Бессмысленность всех

«обвинений» в адрес Бора Слив разяснял и в публичных выступлениях, и в личных беседах.

Копенгагенская интерпретация выдержала проверку временем и жёсткую критику некоторых компетентных учёных, таких, как Д. Бом, а также нескончаемые яростные атаки, основанные просто на непонимании, со стороны самоуверенных невежд.

Единственная моя прямая и в какой-то мере личная связь с Нильсом Бором – это его приглашение, присланное в 1960 (или 1961 гг.) провести год в его институте в Копенгагене. Разрешения на поездку я, понятное дело, не получил, а само приглашение хранится в недрах архива Физико-технического института или его первого отдела.

Естественен вопрос – почему Н. Бор пригласил именно меня? Ответ сравнительно прост. В ходе визита Слива в Копенгаген, куда тот был приглашён по рекомендации сына Н. Бора, Оге, с которым Слива связывала близость взглядов и интересов в области теории атомных ядер, проявилось обоюдное желание возобновить весьма тесные связи Института Нильса Бора с советскими физиками вообще и теоретиками Ленинградского Физико-технического института в особенности. Эти связи существовали до Второй мировой войны.

Уместно напомнить, что Н. Бор, в соавторстве с Уиллером, разработавший гидродинамическую модель ядра, прекрасно знал и ссылался как на пионерскую, статью Я. И. Френкеля в этой области, крупнейшего теоретика, заведовавшего теоретическим отделом в Физико-техническом институте (ФТИ). Хорошо помнили в Копенгагене и весьма плодотворный визит в начале тридцатых Л. Д. Ландау, тогда сотрудника ФТИ, и пребывание беглеца из СССР, тоже из ФТИ, Дж. Гамова, да и ряда других. Словом, желание крепить связи, вновь возникшие после войны и во многом основанные на визите Л. А. Слива, было налицо.

Для поиска подходящих обещающих молодых учёных в ФТИ приехал Б. Р. Моттelson, получивший позднее, в 1975 г, вместе с Оге Бором², Нобелевскую премию по физике. Молодые выстроились в очередь, и получали пять минут для сообщения о

² Со-лауреатом стал и ядерный физик Л. Д. Рейнвотер. Помню, как подписывая мне разрешение послать поздравительную телеграмму новым лауреатам, тогдашний зам. директора ФТИ Агеев поинтересовался, кто такой этот Рейнуотер. «А то поздравить ещё какого-нибудь Сахарова», - со свойственным ему остроумием заметил Агеев.

том, чем они занимаются, каковы полученные результаты и планы на близкое будущее. По итогам поездки Моттelson представил Н. Бору своего кандидата. Им и оказался я, получивший почти сразу после визита Моттельсона приглашение от Н. Бора. Оно не вызвало понимания в инстанциях, чья объективная глупость соперничала лишь с их собственной некомпетентностью и хорошо развитым «не пущать» рефлексом.

Отмечу, что Слив и Бор активно переписывались, притом иногда О. Бор писал и по-русски³. За приглашением Н. Бора, последовало приглашение от нового директора института, Оге Бора, занявшего этот пост после смерти отца. Оге несколько раз бывал в СССР, и мы были с ним и его женой неплохо знакомы⁴. Он даже намеревался просить Н. Хрущёва, чей визит в Данию, планировавшийся на 1964 г., должен был включать и посещение института Бора, разрешить мне приехать в Копенгаген. Разумно было предполагать, что Хрущёв не откажет, но поездка не состоялась, поскольку Хрущёва сняли с поста руководителя СССР в октябре 1964.

Как честь, я воспринял ссылку на свою с учениками работу в фундаментальном трактате О. Бора и Б. Моттельсона по физике ядра, где среди многих упомянутых авторов советских физиков было совсем мало. Хотя тогда моя поездка сорвалась, безотказно действовало обратное направление. Из Института Бора приезжали Дж. Браун, А. Ланде, К. Петик, позже многолетний директор Института Бора. С этими людьми меня затем связывали многолетние дружеские отношения. Я хорошо запомнил и приезд в ФТИ Л. Розенфельда – многолетнего, с 1930 и до смерти Н. Бора, его сотрудника и научного секретаря. Это было уже в самом начале 70-х. Из-за периода летних отпусков народу было не очень много, и, не слишком разобравшись в том, «кто есть кто»⁵,

³ Для меня эти письма сыграли большую роль. «Если это русский язык, значит, я могу писать на английском», - сказал я себе, и продолжаю это дело, с крайне медленным улучшением, с тех времён. И ничего, сходит с рук!

⁴ Никогда не забуду, как Гаральд, родной брат Оге, переслал в 1965 г., не без значительных трудностей, отсутствовавший в СССР препарат 5-фторурацил для моей тётки, погибавшей от рака. Чуда не произошло, но подобное желание помочь с совсем не дешёвым препаратом, преодолевая значительнейшие трудности пересылки, глубоко тронуло и впечатлило.

⁵ Конечно, я читал некоторые работы Бора и Розенфельда. Однако до недавнего не знал о его попытках защищать принципы

открывая объединённый по такому случаю семинар ядерщиков и специалистов в области элементарных частиц и теории поля, я приветствовал Розенфельда дежурными словами радости по поводу его приезда в ФТИ. Он вежливо поблагодарил меня, вскользь заметив, что уже был в этом институте, правда, ранее, чем я родился!

Приход новых времён позволил, хоть и много позже, в 1991 г., приехать, пусть и не на год, а на пару недель, в Институт Нильса Бора. Оге Бор на семинары тогда уже не ходил⁶, да и Бен Моттельсон появлялся крайне редко. Тем приятнее мне было видеть его среди слушателей на моём докладе.

В заключение, отмечу, что величие человека определяется не только подтверждаемыми временем яркими идеями, результатами и методиками, но и ошибками, участием в спорах, в которых великий человек ошибается. Обычно он и это делает не тривиально, а на основе сложных и глубоких размышлений. Именно на такой очень поучительной ошибке, нашедшей отражение и в Нобелевской лекции Нильса Бора, я сосредоточил своё внимание в данной заметке.

Иерусалим
09.12.12



дополнительности Бора и всю Копенгагенскую интерпретацию квантовой механики, любимые мишени атак советских философов в сороковых-пятидесятых годах прошлого века, с марксистских позиций. Лишь недавно узнал, что в одном письме Паули обратился к нему следующим, несколько необычным образом:

«Dear $\sqrt{\text{Trotsky} \times \text{Bohr}} = \text{Rosenfeld}$ ».

⁶ У этого была печальная причина – депрессия, вызванная смертью жены. Посчитал, что навещать его неудобно, чего стыжусь по сей день.

Евгений Майбурд

Об одной ошибке великого Черчилля, и во что она обошлась

...но Черчилль их не послушал. И оказался неправ.
Б.М. Тененбаум. «Великий Черчилль»

Молодое дарование, или Карьера дилетанта



1923 г. сорокалетний британский публицист, автор статей и записок в правительство на темы экономики, опубликовал «Трактат о денежной реформе».

До того, во время Первой мировой войны, он работал в Казначействе Великобритании и так похвально себя проявил, что был послан полномочным представителем Казначейства на Парижскую мирную конференцию. Прямо во время конференции он подал в отставку из-за несогласия с чрезмерно суровыми, как он считал, условиями мирного договора, который вызревал на конференции (и скоро стал Версальским договором).

Человек не был ни германофилом, ни морализатором. Озабочен он был не столько самой по себе «несправедливостью» мирного договора, сколько возможными экономико-политическими последствиями. Огромные репарации, наложенные на Германию с целью наказать ее и предотвратить возрождение ее мощи, потенциально могут привести к обвалу европейской цивилизации, - написал он в брошюре «Экономические последствия мира», вышедшей в 1919 г.

Еще на конференции, своими усилиями предотвратить голод в Австрии, он обратил на себя внимание европейской прессы. А брошюра безвестного дотоле британского чиновника сделала популярным на континенте его имя: Джон Мейнард Кейнс (1883-1946).

Он действительно не получил систематического экономического образования и никогда не добыл какой-то ученой

степени по экономике. В университете Кембриджа изучал математику. Сдав экзамен и получив степень бакалавра в 1904 г., прочитал ради интереса «Принципы экономики» Альфреда Маршалла¹ и стал писать ему письма, которые неизменно возвращались с ободрительными замечаниями на полях. Переписка длилась восемь недель. В самом деле, можно ли назвать это систематическим образованием экономиста?



Дж. Мейнард Кейнс

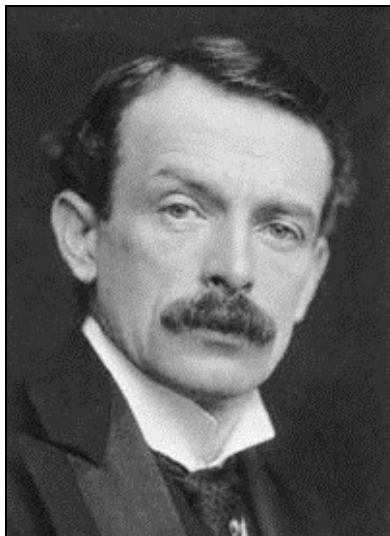
В 1905 г. он сдал экзамены на право служить по гражданской части. Хуже всего были оценки по математике и экономике (!), но по общему итогу он стал вторым из 104 кандидатов. Его комментарий: экзаменаторы сами ничего не знают, я бы мог их поучить!

В 1906 г. Кейнс становится чиновником India Office правительства Британии - Министерства Индии, так сказать. В Индию он как-то не съездил, но через три года работа ему

¹ Альфред Маршалл (1842-1924) - один из величайших экономистов, завкафедрой экономики Кембриджского университета, которую превратил в самую престижную в мире. Книга «Принципы экономики» явилась завершением и наиболее полным изложением так называемой неоклассической теории, заменившей классическую школу Рикардо – Милля.

накучила. Он возвращается в Кембридж с намерением изучать теорию вероятностей.

В 1909 г. вышла его первая экономическая статья - о влиянии мировых экономических событий на экономику Индии. Тут же Маршалл предложил ему читать лекции у себя на кафедре экономики Кембриджа. Зарплату ему Маршалл платил из своего кармана, как он делал не раз и в других случаях.² Кейнс читал лекции по книге Маршалла, а потом стал использовать и другие, почитывая их по ходу дела.



Дэвид Ллойд Джордж, Канцлер Казначейства, а затем премьер-министр Великобритании

Довольно скоро стала расти его репутация глубокого проникновения в предмет и ясности понимания. В 1911 г. он уже был полным профессором в Кембридже. Тогда же он стал соредактором *Economic Journal*, и вскоре, в свои 28, он заменил на посту редактора маститого Эджуорта, ушедшего на пенсию. Еще два года спустя Кейнс уже был секретарем Королевского Экономического Общества. Работы его и мнения воспринимались всерьез как публикой, так и в политических кругах.

² Процесс назначения и официального утверждения преподавателя, как и избрания и утверждения профессора, занимал много месяцев.

С началом войны правительство все чаще запрашивало мнение Кейнса по различным вопросам. Особенную известность получил случай, когда банкиры стали требовать приостановки обмена фунта на золото. Кейнсу удалось убедить Канцлера Казначейства (то есть, министра финансов) Ллойда Джорджа не делать этого. Если валютные операции будут приостановлены без крайней необходимости, говорил он, это подорвет репутацию Банка Англии.

В январе 1915 г. Кейнс принимает предложение должности в Казначействе. В его задачу входили разработка условий кредитования союзников Британии и приобретение редких валют. Одной из таких была испанская песета, и Кейнсу удалось, хоть и с большим трудом, раздобыть некоторое ее количество (что уже было достижением). Но мало того, он не стал держать песету в резерве, а направил ее на валютный рынок. Идея себя оправдала – песета подешевела (то есть, перестала быть редкой валютой). Акции Кейнса на рынке экспертов поднялись еще выше. В 1917 г. король пожаловал его Почетнейшим Орденом Бани (The Most Honourable Order of the Bath).³

Так что назначение Кейнса полномочным представителем Казначейства на конференцию о мирном договоре было закономерным итогом его карьеры.

Золотой стандарт, или Что делать?

Итак, мы начали с того, что в 1923 г. вышел «Трактат о денежной реформе» (далее ТДР) Кейнса. Непосредственным поводом для написания ТДР послужили толки о возвращении Англии и других стран после войны к золотому стандарту валюты.

Когда Британия доминировала в мировой торговле и финансах, золотой стандарт обеспечивал стабильность мирового рынка. Но времена уже не те, указывал Кейнс. Европейские рынки в полном беспорядке. Возникли новые страны. И во всех, новых и старых, за влияние борются теперь социалисты, реакционеры, националистические движения...

Но главное, Британия утратила прежнюю роль мирового банкира, которая перешла к США. Возврат к золотому стандарту (что означает твердый паритет валют) потребует слишком многого от Федерального Резерва США. Роль мирового банкира, поддерживающего устойчивость валют, требует безошибочных

³ Установлен в 1725 г. королем Георгом I как рыцарский орден. Название произошло оттого, что в церемонию посвящения входило омовение (символическое очищение) кандидата.

действий, тогда как *Фед*'у всего десять лет отроду⁴ и у него собственные проблемы по поддержанию устойчивости доллара.

Кейнс считал, что главной задачей послевоенных усилий Британии и США должна быть внутренняя стабильность собственных валют – фунта и доллара. Поэтому он предлагал установить «плавающий курс» обеих валют. Соответствующая координация действий между центральными банками США и Британии может позволить держать более-менее устойчивый обменный курс.

ТДР начинается с изложения отрицательных последствий неустойчивой валюты как для производства, так и для распределения. Кейнс анализирует инфляцию и дефляцию. Его вывод: «Инфляция несправедлива, а дефляция удобна и выгодна. Если отложить в сторону такие эксцессы инфляции, как в Германии, то дефляция хуже. Потому, что в обнищавшем мире провоцировать безработицу хуже, чем разочаровывать рантье».

Логика понятна. Дефляция понижает цены до того, что многие производства становятся невыгодными. Рабочие теряют работу. При инфляции цены растут, и это стимулирует производство. Инфляция, правда, снижает покупательную силу валюты, отчего страдают прежде всего лица, живущие на фиксированные доходы. Это не только рантье, но и, скажем, пенсионеры (о чем Кейнс не упоминает).

Важнее всего, доказывал Кейнс, добиться стабильности внутренних цен, чтобы избежать дефляционных тенденций. Ради этого стоит даже пойти на девальвацию валюты.

Кейнс высказывался категорически против возвращения к золотому стандарту, этому «варварскому пережитку». Золотой стандарт потребует от стран-участников поддержания курса своих валют, тогда как в нынешних экономических условиях необходимо иметь возможность маневрировать ценностью валюты, чтобы поддерживать производство. Все это может обернуться дефляцией цен, тогда как безработица растет и без того.

Но если уж вводить золотой стандарт, писал Кейнс, то нужно, по крайней мере, подождать и посмотреть, как сложится курс валюты по отношению к золоту. Возможно, он должен быть ниже довоенного. В любом случае, главная задача – стабильность валюты страны. Банк Англии и Казначейство придерживались иной точки зрения.

17 марта 1925 года Канцлер Казначейства устроил званый обед, который вошел в историю. За два месяца до того, он

⁴ Федеральная Резервная Система США была создана в 1913 г.

распространил меморандум с доводами в пользу возврата к золоту, и теперь устроил обсуждение. Кейнс и бывший Канцлер Реджинальд Маккенна спорили с двумя высокими чинами Казначейства. Сам Канцлер внимательно слушал, изредка вставляя свои замечания. В итоге он принял решение вернуться к золотому стандарту с довоенным курсом 1 фунт = 4, 86 американского доллара.

Канцлера Казначейства теперь звали Уинстон Черчилль. Это решение было, возможно, самой грубой ошибкой за всю его карьеру. В защиту Черчилля можно сказать, что он положился на мнение верхушки Банка Англии – учреждения солидного и многоопытного. Но это слабое утешение. Ошибка оказалась для Великобритании роковой и дорого ей обошлась. Золотой стандарт был отменен в 1931 г., но ущерб уже был причинен. Он был огромным и необратимым.



Уинстон Черчилль – предположительно 20-30-е годы

Последствия, или Закон Мэрфи в действии

Если дела идут плохо, значит дальше они пойдут еще хуже.

Закон Мэрфи

В течение 20-х годов все страны - участники войны - с огромными трудностями переживали перестройку военной экономики на мирные рельсы. Главной причиной финансовой нестабильности были долги, которые накопились у стран за время войны.

Британия удержалась от больших долгов за счет продажи зарубежных активов. Всего она потеряла на этом не так много – около 300 млн. фунтов (менее чем двухгодичный объем инвестиций до 1914 г.). Но она понесла огромные потери своего торгового флота (40%) от подводной войны. Всего страна потеряла из-за войны около 20% своих зарубежных инвестиций.

Потеря источников зарубежных валют сделала экономику страны очень зависимой от экспорта и более уязвимой при перипетиях мирового рынка. А срыв морской торговли и потери во флоте подорвали позиции Британии на мировых рынках. Ко всему прочему, страна потеряла заморских потребителей продукции своего традиционного экспорта, особенно тканей, стали и угля.

На протяжении 20-х гг. объем промышленной продукции Британии составлял от 80 до 100% довоенного уровня, а ее экспорт – 80%. Это не позволяло набрать достаточно капитала, чтобы восстановить прежние заморские позиции страны.

Экономика восстанавливалась с большим трудом и крайне медленно. И тут в дело вмешался завышенный золотой паритет фунта. Экспортная продукция Британии стала более дорогой на международных рынках. Процесс восстановления экономики тут же замедлился. Экспортные отрасли были вынуждены снижать издержки производства за счет понижения зарплаты рабочих или их сокращения. Промышленные области страны – северная Англия, Шотландия, южный Уэльс – пребывали в застое в течение всего десятилетия 20-х годов. Там почти не было новых инвестиций и модернизации.

Установленный паритет фунта, заведомо превышавший истинную ценность валюты, вызвал рост спроса на деньги, которые, однако, не инвестировались. Очевидно, что люди спешили обратить их в доллары или в золото. Соответственно, значительно повысилась цена денег – норма процента. В свою очередь, последнее привело к сокращению инвестиций. Безработица не сокращалась, она росла.

До конца десятилетия уровень безработицы в Великобритании не опустился ниже 10% рабочей силы. Но с наступлением 30-х годов положение лучше не стало. Оно стало еще хуже. Гораздо хуже.

Эволюция героя, или судьба *laissez faire*

Кейнс много пишет и выступает в эти годы, его взгляды во многом изменяются. В 1924 г. выходит его работа «Нужно ли безработице радикальное лекарство?». В нормальных

(«классических») условиях такая безработица не должна была длиться долго. Высокая безработица должна была бы вызвать снижение издержек и цен, и таким образом постепенно экономика страны пришла бы в норму. Этого, однако, не происходило. Безработица, по выражению Кейнса, «застряла в колее высокой нормы». Механизм восстановления равновесия не срабатывал. Стагнация (она же – депрессия) продолжалась.

Здесь обнаружилась принципиально новая проблема. Возросшая политическая сила профсоюзов делала все труднее снижать оплату труда и, соответственно, издержки производства. Долгие споры между шахтерами и шахтовладельцами закончились ничем и привели к Всеобщей Забастовке 1926 г. Прибегнуть к инфляции, чтобы понизить реальную зарплату, было бы возможно, если бы не твердый золотой стандарт. Обесценение фунта без формальной девальвации еще усугубило бы проблемы, созданные его завышенным курсом.

Размышляя над всем этим, Кейнс приходит к радикальному выводу: *в экономической системе капитализма произошли фундаментальные изменения, и требуется в корне пересмотреть принцип laissez faire как панацеи*. Координацию сбережений и инвестиций должно взять в свои руки государство. Широкие программы общественных работ (строительство дорог, жилищ, электростанций и пр.) создадут рабочие места, понизив безработицу. Это развернет отток капиталов вспять, увеличит капитальные запасы страны. Процветание, однажды начавшись, станет расти кумулятивно (первый намек на идею мультипликатора!).

В следующие годы Кейнс развивает и пропагандирует свои новые идеи в статьях и лекциях. В 1928 г. идеи Кейнса составили ядро предвыборной программы Либеральной партии (Ллойд Джордж). Их манифест назывался «Мы можем победить безработицу».

Наиболее резкая критика идей Кейнса прозвучала, однако, не со стороны других партий, и не из академической среды. Ее озвучил Черчилль в своей бюджетной речи «Взгляд Казначейства». Вот его слова: «Казначейство твердо придерживается ортодоксальной догмы – что, какими бы ни были политические или социальные преимущества, займы и траты государства, как факт и как правило, могут создать весьма малый прирост занятости и никакую постоянную занятость».

Так был установлен прецедент всех последующих столкновений «кейнсианства» и «анти-кейнсианства».

На выборах в 1929 г. Либеральная партия заняла третье место. Победили лейбористы. Их экономические взгляды, однако, были целиком маршаллианскими, так что идеи Кейнса они проигнорировали.

Великое Сжатие, или кризис

Сегодня мы впутались в колоссальную неразбериху, не сумев управиться с деликатным механизмом, работу которого мы не понимаем.

Дж. М. Кейнс. «Великий обвал». 1930.



1929-30 гг. разразился всемирный кризис, известный теперь как Великая Депрессия. Он начался в США внезапным и страшным спадом экономики. ВВП сократился вдвое, безработица достигла двузначных показателей. Данное явление получило особое название: Великое Сжатие (The Great Contraction), или Великий Обвал (The Great Slump). Первое точнее теоретически – имеется в виду сжатие спроса и глубокая дефляция. Второе точнее как картина происшедшего.

Почти до самого кризиса экономики США, Канады, Австралии и даже Германии были на подъеме («процветание 20-х годов»). Поэтому последствия обвала были там не столь суровы, как в Британии. Она не переживала «процветания 20-х годов». С 1918 по 1921 гг. общий объем производства упал на 25% и практически не поднялся до начала 30-х.⁵ Поэтому некоторые говорят, что Британия переживала Великую Депрессию длительностью в 21 год, считая с 1918 года.⁶

В экономике не бывает, чтобы крупные исторические события явились следствием одной какой-то причины. Всегда есть множество политических сил, тянущих каждая в свою сторону, и всегда в предыстории можно задним числом найти целый ряд экономических факторов, повлиявших на известный исход

⁵ Это сообщение противоречит некоторым другим – о медленном росте производства.

⁶ Подчас цифры в разных источниках друг другу противоречат. И мнение о «великой депрессии» в Британии с 1918 г. также нуждается в перепроверке (см. прим. 13).

событий. Однако, подчас все же можно выделить некое единичное событие, которое было решающим, определившим дальнейшее развитие событий. В данном случае, именно таким событием оказалось решение Черчилля в вопросе о золотом стандарте. Завышенный паритет фунта стерлингов вызвал практически все последующие процессы в экономике, следствием которых, вместо подъема экономики Британии, имела место стагнация 20-х годов.

Великий Обвал означал для Британии еще большее углубление ямы, в которой она уже сидела. Притом, без ясных перспектив на выход из нее. Спрос на британскую продукцию резко упал. Экспорт сократился на 50% в денежном выражении. В 1931 г. уровень безработицы в стране уже составил 20%. Доходы государства также упали, тогда как издержки на помощь безработным росли.

Не только пришлось отменить золотой стандарт. Резко усилилось давление на правительство со стороны промышленных кругов, требующих защитить множество отраслей промышленности от иностранной конкуренции уже у себя дома. Так был введен Tariff - запретительные пошлины на ввоз. И пришел конец свободе торговли.



Освальд Мосли (в черной рубашке а ля Муссолини)

Те страны, которые еще не пошли по пути протекционизма, тут же сделали это в ответ на действия Британии. Ее экспорту это никак не помогло – скорее, навредило изрядно. Заметим, что в США правительство Рузвельта сделало то же самое – и с такими же последствиями.

В январе 1930 г. один молодой министр правительства лейбористов опубликовал меморандум. Он предлагал государственный контроль над банками и экспортом, одновременно повысив пенсии, чтобы дать толчок покупательскому спросу. Его предложение не было принято, и он ушел в отставку, а вскоре покинул лейбористов и в 1931 г. сформировал новую партию. Его звали Освальд Мосли, а партия называлась Британский союз фашистов.

Нелишне напомнить, что в те годы это был, так сказать, фашизм по-итальянски. Еще не пришло время, когда немецких нацистов стали называть фашистами. Как и в случае Муссолини, случай Мосли подтверждает то, что было очевидно с самого начала, а именно – в отношении политического спектра, фашизм был явлением *левым*.

На той же стороне спектра располагались и социалисты. В Англии самым влиятельным был *фабианский социализм*. Члены Фабианского Общества отвергали упор Маркса на насильственную революцию с гражданской войной. Конечной целью их тоже был социализм, но прийти к нему предполагалось путем реформ – через всеобщие выборы.



Сидни и Беатрис Вебб

Кризисная экономическая ситуация весьма благоприятствовала социалистической пропаганде и реформистским попыткам. В это время сильно выросло влияние таких известных лидеров фабианцев, как лорд Пассфилд (Сидни Вебб) и жена его Беатрис. Наряду с ними выступали пропагандисты «гильдейского социализма» (Джордж Д. Х. Коул),

а также Дж. Гобсон – экономист, публицист и политик левого толка. Между прочим, его книга «Империализм» (1902) пришлось очень кстати Владимиру Ленину, который встретил ее как последний крик мировой науки.

И вот теперь все социалисты стали твердить, что капитализм загибается. В тогдашней обстановке численность их аудитории стала расти. В 1935 г. был основан Клуб Левого Книги, который ежемесячно выпускал что-то вроде «бюллетеня о состоянии здоровья капитализма», находя все новые признаки ухудшения и приближения неминуемой смерти.

Одновременно Клуб пропагандировал «успехи» Советского Союза. Тогда же, в 1935 г. вышла книга Веббов «Советский коммунизм: Новая цивилизация?» Несмотря на вопросительный знак, содержание книги было вполне утвердительным – там давалась безусловно положительная оценка режиму Сталина.

Супруги Вебб представляли публике сталинский социализм как здоровую альтернативу капитализму. Другая их книга, «Правда о Советской России» вышла в 1942 г. Естественно, правды в ней было ровно столько же, сколько в газете «Правда». Они восхваляли Сталинский режим до конца своих дней (Беатрис -1943, Сидни – 1947).

Подчеркнем еще раз, что пропагандистский успех фабианцев и распространение идей социализма – все это пришлось на период кризиса 30-х годов, когда Британии пришлось особенно тяжело. С этого времени, вероятно, можно отсчитывать ход событий, который увенчался полной победой лейбористов на выборах 1945 г., после чего они начали строить свой социализм в Британии. То, что стали называть «государством благосостояния» (welfare state). Стержнем этой разновидности социализма была национализация всей крупной промышленности и здравоохранения.

За каких-то пять лет были произведены такие преобразования, что Черчиллю не удалось повернуть процесс вспять. В 1951 г., когда он снова стал премьером, его попытки провести денационализацию стальной промышленности встретили серьезное сопротивление.⁷ Денационализировать здравоохранение он даже не пытался. Патология социализации оказалась необратимой, и к 60-м годам привела Британию в состояние «больного человека Европы». Но это уже другая тема.

⁷ По сообщению Б. Тененбаума в указанной книге.

Спасение капитализма, или «Тратить нужно, господа!»

“Я защищаю [рост государства]... и как единственно практическое средство избежать разрушения существующих экономических фирм как целого, и как условие успешного функционирования личной инициативы», - писал Кейнс в своей знаменитой книге «Общая теория занятости, процента и денег», вышедшей в 1936 году.

Мы видели, однако, что идеи его – в частности, направление расходов государства на общественные работы - вызревали еще в 20-е годы. «Общая теория» есть итог его размышлений и метаний. Депрессия длилась повсеместно. В США с 1929 по 1933 г. безработица выросла с 3% до 25%, а национальный доход упал вдвое. Множество людей теряли свои бизнесы и дома. Неоклассическая экономическая теория не могла предложить ничего для выхода из депрессии. По ней, равновесие должно восстановиться само. Правда, для этого было необходимо устранить все препятствия для работы свободного рынка и прежде всего – любые ограничения на ценообразование и свободу передвижения ресурсов, включая труд.

Вплоть до выхода «Общей теории», статьи Кейнса следовали непрерывным потоком. Еще за несколько лет до того вышла его статья «Может ли Америка прийти к оживлению через траты?»⁸ И сам ответил: “Очевидно, да!» Его не поняли.

Вскоре, уже в другом журнале, он писал: «Если где-то сокращаются расходы – индивидом, городским советом или министерством страны, - наутро кто-нибудь наверняка узнает, что сократился его доход. И это еще не конец. Тот, кто узнал, что доход его уменьшился или что его уволили с работы, вынужден, в свою очередь, сокращать свои расходы – хочет он того или нет... Однажды начавшееся гниение трудно остановить». И его снова не поняли.

У классиков⁹ разумелось само собой: все, что сберегается, идет на инвестиции.¹⁰ Кейнс справедливо подчеркнул: сберегают (кладут деньги в банк) одни люди, а инвестируют (берут в банке ссуду под проценты) - другие. Поэтому инвестиции совсем не обязательно равны сбережениям. Когда сберегается больше, чем

⁸ По-английски это звучит короче: “Can America Spend Its Way into Recovery?”

⁹ Кейнс не делал различия между классиками и неоклассиками, все у него были «классики» - от Рикардо до Пигу.

¹⁰ Упрощение, как и многие другие ссылки Кейнса на классиков.

тратится, инвестиции снижаются. Отсюда начинается спад производства.

По этому поводу экономист Тодд Бакхолз высказался так: «Если до того критики капитализма свой костлявый обвинительный перст направляли на злых акул капитализма или грязных спекулянтов, то Кейнс спокойно заявляет, что благонамеренные вкладчики сбережений, включая безобидных старушек, могут причинить больше вреда, чем самый нечестивый промышленник».¹¹

И все же, почему случился Великий Обвал? И почему он перешел в Великую Депрессию?

Возможно, как предполагают некоторые, в США, в какой-то момент времени после бума 20-х, иссякли возможности инвестиций, и потребители решили в массе выплачивать кредиты, сокращая расходы. Теоретически это не исключено. Правда, гипотеза предполагает, что миллионы индивидуальных агентов рынка одновременно, как по команде, развернулись на 180 градусов. Правда, если указанное явление обозначилось только как тенденция, это может дать импульс к спаду экономической активности. Но эта гипотеза не отвечает на вопрос, почему спад превратился в обвал.

США и другие страны уже не раз переживали периоды спадов и подъемов. Что-то должно быть еще, что превратило обычную рецессию в беспрецедентный кошмар.

За истекшие годы события того времени хорошо исследованы. И выявлено, что перед лицом внезапно начавшегося спада, Федеральный Резерв не нашел ничего лучшего, как проводить жесткую денежную политику как раз тогда, когда нужна была гибкая.¹² Собственно, это и превратило обычный экономический спад в Великий Обвал.

Наконец, следует вспомнить, как все страны дружно ударились в протекционизм. В мире столь развитого международного разделения труда, эта отрывка политики меркантилизма не могла дать ничего, кроме дезорганизации мировой торговли и угнетения отраслей, работающих на экспорт, а отсюда – и спада всей экономики.

Вряд ли все сказанное допустимо приписать работе свободного рынка. То, что видим мы - это неадекватные действия государственных властей.

¹¹ Todd Buchholz. *New Ideas from Dead Economists*. Plum Books. 1999.

¹² Выявил это обстоятельство не кто иной, как Милтон Фридмен.

Фактически, государство деформировало рынок. А политика Рузвельта, с его всеохватывающим контролем над ценами и зарплатой, практически буквально парализовала рыночные силы.

Историю, сказал кто-то, пишут победители. В данном случае «победителями» оказалась новая прослойка левых интеллектуалов, включая кейнсианцев и других этактистов разного толка – профессоров в университетах. Они выросли за десятилетие Рузвельта. И они-то объявили Великую Депрессию результатом «провалов рынка», каковое мнение успешно внедрилось в массовое сознание. Однако все говорит о том, что это был подлинный *провал государства*.

Основы кейнсианства

Главное понятие у Кейнса – *эффективный спрос*. Когда растет спрос, растут цены, и рождается предложение – то есть, растет производство. Эффективный спрос это такой, который дает полную занятость. Спрос падает – начинается дефляционный процесс - производство сокращается - растет безработица. Потеря заработков ведет к дальнейшему сокращению спроса. Возникает снежная лавина экономического спада - то самое «гниение», которое трудно остановить.

Описанная картина приводит к знаменитому понятию *мультипликатора*. Идея в том, что любое изменение в расходах одного человека приводит к эффекту цепной реакции. Конечное изменение расходов по всей стране намного превосходит то, с чего все началось.

Мультипликатор работает в обе стороны. Если некто однажды тратит больше обычного, это создает прибавку к доходу у кого-то еще. Тот второй также тратит свою прибавку, создавая уже прибавку к доходу у кого-то третьего. И так далее. Множество лиц получает приращение дохода как результат одной лишней траты. Суммарно в масштабе страны это означает прирост спроса на продукцию производства, которое начинает расти, нанимать работников и так далее.

А что если кто-то тратит не всю свою прибавку? Некто внезапно получил денежный перевод из-за границы в 1200 «денег». Лишний доход. Наконец-то он может позволить себе вызвать техника, чтобы починить телевизор! Он отдает технику за работу 900 этих денег. А остальное? Остальное нужно поберечь - мало ли что будет завтра? Ладно, техник получил неожиданный доход в 900 денег. Очень кстати – теперь он может вернуть 650 денег долга своему другу. А остальное? Там поглядим, а пока отложим. Друг

его тоже что-то потратит, а что-то сбережет. Цепочка доходов и трат продолжается. Не так уж трудно представить, что довольно скоро «снежный ком» - суммарный доход всех лиц этой цепочки – достигнет, скажем, около 3600. Итак, первоначальное вливание дохода было 1200, а по описанной цепочкеросло втрое больше. Значит, мультипликатор дохода равен 3.

Чем больше мультипликатор, тем лучше для экономики, верно? От чего же он зависит? Допустим, на каждом этапе цепочки расходуется примерно $\frac{3}{4}$ полученного дохода и сберегается $\frac{1}{4}$. Долю дохода, которая тратится на потребление, Кейнс назвал: *предельная склонность к потреблению* (ПСП). По нашему допущению, это $\frac{3}{4}$, или 0,75. Величина же $\frac{1}{4}$ называется, соответственно, *предельной склонностью к сбережению* (ПСС).

Очевидно, чем больше ПСП, тем больше будет мультипликатор. Но какова эта зависимость? Кейнс замечает, что с ростом доходов люди склонны увеличивать свое потребление, но не в той мере, в какой растет доход. То есть, ПСП снижается, а ПСС растет.

Здесь следует довольно простая математика, которую мы все же опустим. В итоге, получается: Мультипликатор = $1 / (1 - \text{ПСП})$. А поскольку выражение в скобках (знаменатель дроби) есть ПСС, то мультипликатор = $1 / \text{ПСС}$. Если ПСС равна $\frac{1}{4}$, мультипликатор равен 4.

Из всех этих рассуждений следуют выводы, далеко идущие. Например, небольшое снижение инвестиций в каком-то месте может обернуться серьезным спадом экономики. В этом смысл выражения «прийти к оживлению через траты». Тратьте, тратьте, уважаемые граждане! Пожалуйста, тратьте по возможности больше.

Говорят, даже президент Эйзенхауэр... Кстати, почему «даже»? Потому что граждане настолько редко слышали слово от прославленного генерала, что стали говорить: сейчас у нас Белый Дом – это могила всем известного солдата (the tomb of the well-known soldier)... Так вот, даже президент Эйзенхауэр, когда началась рецессия 1958 года, неожиданно явился перед гражданами, чтобы призвать их: покупайте больше, пожалуйста...

Если начинает расти безработица, значит спрос недостаточен. Нужно наращивать расходы, а остальное сделает мультипликатор. Как это сделать, если народ не хочет тратить больше? Увеличивать расходы государства. Но ведь спад ведет, между прочим, и к снижению государственных доходов. Ибо, если доходы частных лиц становятся меньше, снижаются и поступления в казну от налогов. Это неважно, говорит Кейнс.

Пусть будет дефицит госбюджета, лишь бы повысить совокупный спрос. Глупо заботиться о сбалансированном бюджете, когда земля горит под ногами.

Дальше начинаются еще более интересные вещи. В 1958 г. английский экономист А. Филлипс опубликовал статью, которая прославила его имя. Он собрал фактические данные о безработице и денежной зарплате в Великобритании с 1861 по 1957 гг. Обработав эти данные методами математической статистики, Филлипс нашел связь между двумя показателями: *просто* номинальной (денежной) заработной платы и *уровнем безработицы*. Коротко говоря, получилась обратная зависимость – по форме, кривая отдаленно напоминает гиперболу. Чем меньше одно, тем больше другое.

В руках кейнсианцев Кривая Филлипса превратилась в инструмент теории и практики борьбы с безработицей посредством инфляции. К тому времени кейнсианцы (главным образом, Джон Хикс) разработали изощренный математический аппарат. К нему привязали Кривую Филлипса. Вычисляли уровень безработицы, затем денежную зарплату, цены и, наконец, намечали предстоящие темпы развития преднамеренной инфляции.

Кейнсианская революция

«Общая теория» Кейнса увидела свет в 1936 г. В течение трех лет перед тем Кейнс непрерывно выступал с лекциями, популяризировал свои новые идеи в статьях. Свежеиспеченная книга продавалась по заниженной цене. Еще до того, как книга поступила в продажу, студенты Кембриджа заказывали ее ящиками.

Так или иначе, за какие-то лет десять теория и само имя Джона Мейнарда Кейнса завоевали в Британии, Европе и Америке умы и сердца огромного большинства экономистов (и не-экономистов тоже, включая Гитлера, что, впрочем, не следует переоценивать). Даже I том «Капитала» Маркса, имевший огромный успех по выходе в свет, не завоевал ученый мир так скоро (и никогда – до такой степени).

Есть много попыток в литературе объяснить столь феноменальный успех. Мы к этому вернемся в другом месте. Коротко: теория Кейнса была скроена *ad hoc* - для вмешательства государства в экономику в обстановке кризиса.

Довольно скоро кейнсианство заняло в науке господствующее положение. До того, что иному ученому могло быть стыдно признаться, что он в чем-то не согласен с

мэйнстримом. А если такие вещи случались (а они случались), никто всерьез не принимал «диссидентов»

Абсолютное господство кейнсианства продолжалось тридцать лет.

Обвал кейнсианства, или немножко катастрофа

Есть свидетельство, что Хайек как-то спросил Кейнса, не опасается ли он, что его ретивые адепты станут злоупотреблять его советами о необходимости государственных расходов. Ну, я всегда смогу их одернуть, ответил Кейнс.

И умер в следующем году.

В середине 70-х гг. в США стали происходить странные вещи. Начался обычный спад, сокращалось производство, росла безработица. Необычным было то, что при этом стала расти инфляция. Появился термин *стагфляция*. Господствующая теория (кейнсианство, разумеется) не могла ни предвидеть такого оборота событий, ни объяснить его. Рухнула теория, которую накрутили вокруг Кривой Филлипса.

Оправдались худшие предсказания Хайека еще в 30-е годы, сказал Марк Блауг. Дж. Шэкл сказал, что теория Хайека оказалась «грозыным предупреждением, на 40 лет опередившим свое время».

Гибель «Титаника»? Не тут-то было! Дыру тут же стали затыкать: это было не настоящее кейнсианство! Оказывается, это было «хиксо-кейнсианство». Знаменитый экономист женского полу Джоан Робинсон даже сказала, что это было «ублюдок-кейнсианство» (Bastard Keynesianism).

Возможно, возможно. Только где вы были раньше, господа хорошие? Почему-то до сих пор вас все устраивало, не так ли?

Стали вспоминать тогда, что еще раньше некоторые развивающиеся страны столкнулись с подобным явлением одновременного роста безработицы и инфляции. Советники же из кейнсианцев не хотели замечать вещей, которые не укладывались в их теорию. Вместо того чтобы честно сказать «я не знаю, что делать», упрямо советовали меры фискальной политики, исходящие из противоположности между безработицей и инфляцией.

Допустим, «Хикс вытеснил Кейнса», как стали вдруг говорить. Допустим, идеи самого Кейнса не доходили до использования Кривой Филлипса (она и на свет явилась, когда Кейнс его уже покинул). Но тогда: что это такое – «идеи самого Кейнса»?

То ли книга Кейнса содержит слишком много всякого (отчего в ней можно найти и то, и это), то ли слишком мало (отчего в ней не всегда можно найти ответ на новые вопросы). По всему выходит, что эта книга необходимо предполагает толкования. И потому нужны некоторого типа признанные экзегеты. Или, скорее, авгуры?

Один экономист в своей книжке, уже в 1997 г., даже употребил выражение «так называемый кризис Кривой Филлипса». То есть, что? Не было такого?

Короче, перед нами непотопляемая теория. Не возникает ли у читателя ощущения дежавю? Мы уже знали одно «вечно живое учение». Теперь, похоже, имеем еще одно.

Совсем свежий пример. Проф. Лоуренс («Ларри») Саммерс из Гарварда, глава группы экономических советников президента Обамы, на голубом глазу советовал наращивать государственные расходы ради создания «эффективного спроса». Когда из этого ничего не вышло, Саммерс покинул группу советников и вернулся в науку. Но взглядов своих не изменил.

Подкопы под мультипликатор

В Америке первым приветствовал кейнсианство Гарвард, который стал, и по сей день остается, твердокаменным его оплотом. В той же упряжке идут все (кроме Йельского, кажется) университеты Лиги Плюща.

Тем временем, давно уже существует целая традиция критики теории Кейнса. Здесь даже не стоит к этому подступаться. Расскажем только о критике в адрес мультипликатора.

Кейнс считал, что в США он, в среднем, равен 2,5. Нашлись ученые, которые стали вычислять мультипликатор для разных видов расходов на основе статистических данных. Такие попытки делает, в частности авторитетный макроэкономист (Гарвардского разлива!) Роберт Барро. К примеру, он оценил оборонные расходы страны на их пике в 1943-44 гг. величиной 540 млрд. долл. (в ценах 1996 г.). Это составило 44% от ВВП. За те же годы прирост ВВП составил 430 млрд. долл. Так что мультипликатор составил: 430/540, или 0,8.

Что это значит? Что оборонные расходы не увеличивали богатство страны, (как должно было быть при мультипликаторе больше единицы), а уменьшали. Барро объясняет, что оборонные расходы вызвали снижение других, не военных, слагаемых ВВП. Главным образом, понизились частные инвестиции, а также невоенные покупки государства и чистый экспорт. «Военное производство откачивало ресурсы от другого возможного

использования, - заключает Барро. – Это был не мультипликатор, а, скорее, глушитель»¹³.

Барро также измерял мультипликатор в зависимости от уровня безработицы. Он нашел, что с ростом безработицы этот показатель тоже растет и становится единицей при уровне безработицы в 12%.

Таким же образом Барро измеряет мультипликатор для других периодов и других видов расходов государства. В другой статье от 2009 г. (специально посвященной стимул-пакету Обамы) он изложил свои результаты так: «Доступные эмпирические свидетельства не подтверждают идею, что мультипликатор затрат типично превышает единицу. Так что программы-стимулы, скорее всего, увеличат ВВП на величину, меньшую, чем расходы государства. Мультипликаторы оборонных расходов превышают единицу только при очень высоком уровне безработицы, а невоенные мультипликаторы, вероятно, меньше. Однако, есть эмпирическое подтверждение того, что снижение налогов увеличивает ВВП»¹⁴.

Это эмпирика. Но объяснить теоретически, почему такое происходит, пишущий эти строки пока не берется. Могу только предположить, что, в основном, цепочка доходов (как она описана выше), не есть увеличение реального дохода, а просто *трансферт* (transfer). Богатство страны не прирастает, только перемещается из рук в руки. Например, денежный перевод от *A* к *B* есть трансферт. *B* стал богаче, на сумму перевода, но *A* стал беднее на ту же сумму. Если *A* купил машину и подарил ее *B*, это тоже трансферт. Другие примеры трансферта – операции по обмену валюты, а также многие виды перечисления денег с одного счета на другой. Такие операции не увеличивают реальное богатство страны. При расчетах ВВП трансфертные расходы-доходы исключаются.

Повторяю, это пока только моя догадка. Как считать, если житель России получает от американского дядюшки перевод в сумме 1000 долл.? По-видимому, реальный ВВП России увеличится на 1000 долл. Но дальнейшая цепочка денежных перемещений (если не пойдет на инвестиции), видимо, будет трансфертом.

В заключение упомянем о монетаризме. Здесь сразу вспоминается имя Милтона Фридмена. Еще с 50-х годов началась

¹³ ROBERT J. BARRO. Government Spending Is No Free Lunch. *Wall Street Journal*. January 2009.

¹⁴ ROBERT J. BARRO. Stimulus Spending Doesn't Work. *Wall Street Journal*. October 1, 2009.

титаническая борьба монетаристов против кейнсианства. Их никто не слушал. Понадобилась самодискредитация кейнсианства в 70-е годы, чтобы идеи монетаристов стали приниматься всерьез. Но это – уже совсем другая тема.

Не будь в Британии столь серьезного экономического кризиса в 20-30 гг., возможно, теория Кейнса выглядела бы несколько иначе. Особенно в той части, где она настаивает на необходимости расходов государства ради стимулирования совокупного спроса. А одной из главных причин того кризиса несомненно явилась ошибка, с которой мы начали статью. Можно ли сказать, что кейнсианством, какое оно есть, мы обязаны Уинстону Черчиллю? Ну, в известной степени...

Послесловие: а была ли ошибка?

Итак, мы знаем, что в процессе исторического обеда у Черчилля спорили две стороны. Условно: Кейнс против чиновников Казначейства. Последние руководствовались мнением Банка Англии. Это немаловажно, так как Банк Англии – учреждение старинное и весьма солидное, а руководят им, как правило (или даже без исключения), люди очень знающие и очень опытные. Они вполне могли понять доводы Кейнса, но не сочли их убедительными.

Понятно, что решение свое Черчилль принял не экспромтом за обеденным столом. Через несколько дней, 28 апреля 1925 года, он выступил в Парламенте с бюджетной речью, где, в том числе, объявил о возврате к золотому стандарту. На следующий день «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что речь Черчилля была принята на ура, в кулуарах называли ее «прекрасной» и говорили, что она подтвердила его репутацию великолепного оратора.

В частности, Черчилль сказал, что самоуправляющиеся доминионы Империи (Австралия, Новая Зеландия...) уже возвращаются или собираются вернуться к золотому стандарту. Поэтому вся Британская Империя будет действовать заодно. Федеральный Резерв США выделяет 200 млн. долл. и еще 100 млн. обещает банк Дж. П. Моргана. Успех предлагаемых мероприятий оживит международную торговлю и т.д. Кстати, военные потери торгового флота Великобритании были возмещены довольно скоро после войны.

В 1920 г. паритет фунта составлял 3,40 долл. С тех пор фунт немного поднялся и продолжал подниматься. То есть,

динамика была обнадеживающей.¹⁵ Но было еще далеко до предвоенного уровня 4,87 долл. за фунт. При таком разрыве ценности официальной и рыночной, британцам было бы выгодно обменивать фунты на доллары или золото¹⁶ и покупать у британских конкурентов за границей. А тем, у кого было золото или доллары, также было бы выгодно покупать товары у заграничных конкурентов. Собственно, все это и произошло в жизни.

Потому что цены в Британии были слишком высоки. Предметами британского экспорта, который имел важнейшее значение для британской экономики, были уголь, текстиль и иные продукты обрабатывающей промышленности. По некоторым оценкам, британские цены должны были снизиться не менее чем на 10%, чтобы их товары стали конкурентоспособными.

Но почему было так важно вернуться именно к довоенному паритету фунта стерлингов? Наверное, у тех, кто отстаивал такое решение, были какие-то свои соображения? Мы знаем доводы *contra*, но не знаем еще о доводах *pro*.

Почему?

Здесь два вопроса: почему нужен золотой стандарт вообще и почему важен был довоенный уровень.

Исторически (чтобы не углубляться слишком далеко в прошлое), деньгами были золотая, серебряная и медная (мелкая) монета. Частные банки могли выпускать свои денежные заменители – бумажные банкноты. Их принимали при условии, что всегда можно обменять их на золото-серебро.

В 1694 г. правительство короля Вильгельма III одобрило создание Банка Англии (в следующем году – Банка Шотландии) с правом выпуска банкнот. Оба банка были частными. Так сложилось, что основной золотой монетой была *гинея*, равная 21 шиллингу (название произошло от Гвинеи, откуда ввозили в Англию золото).

Во время Наполеоновских войн банкноты Банка Англии стали законным платежным средством с плавающим курсом относительно золота. В 1817 г. гинею заменил *соверен*, равный 20

¹⁵ Поэтому нужно осторожно подходить к сообщению, что Британская экономика переживала стагнацию с 1918 г. Я воспроизвел это сообщение выше с оговоркой (см. прим. 5). По-видимому, рост имел место, но был медленным.

¹⁶ Реформа 1925 г. не предусматривала чеканку и хождение золотых монет, но купля-продажа золотых слитков разрешалась.

шиллингам. В 1844 г. известным Актом Роберта Пиля был установлен «классический» британский золотой стандарт, сохранивший хождение золотых и серебряных монет. К концу века золотые монеты стали недоступны публике, оставаясь в хранилищах банков. В обращении оставались мелкие (не золотые) монеты, но основой денежного обращения стали банкноты. Такой тип золотого стандарта называют золотовалютным стандартом (gold-exchange standard). С началом войны 1914 г. золотой стандарт фунта был приостановлен.

Перед войной Британия владела 40% всех заморских инвестиций, а к концу войны страна была должна 850 млн. фунтов, в основном, США. При этом на выплату процентов уходило 40% всех государственных расходов. В такой обстановке, возврат к золотому стандарту представлялся средством восстановить стабильность британской валюты (к последнему призывал и Кейнс).

Институт золотого стандарта имеет чрезвычайное значение. В эпоху бумажных денег он служит средством контроля бумажной эмиссии и, следовательно, предохранителем от инфляции. Поэтому в условиях войны, когда требуется слишком много денег, его приостанавливали. Но для восстановления экономики, особенно такой, которая столь сильно зависит от международной торговли, необходима устойчивость валюты и доверие к ней как в стране, так и за границей.

Мир доверял британской денежной политике и денежной системе в начале 20-х, как привык доверять веками. Такое доверие дорогого стоит, когда речь идет о займах и кредитах. Для успешных операций на мировом рынке британскому бизнесу необходимы были зарубежные кредиты. Ожидалось довольно быстро, в течение двух-трех лет, сделать довоенный паритет реальным. А с этим – будет расти экспорт, и пойдет оживление экономики.

Совершенно необходимо было снизить внутренние цены. Для этого нужно снизить издержки производства, что могло быть сделано путем приведения оплаты рабочих к уровню спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. А для этого нужна была решимость государственных деятелей. И последнее стало критическим моментом. В условиях всеобщего избирательного права не просто пойти на «непопулярные меры».

К 1925 г., благодаря профсоюзам, зарплата рабочих была уже завышена. Отсюда высокий показатель безработицы. Когда хозяева вынуждены повышать зарплату выше уровня спроса и предложения рабочей силы, они вынуждены также увольнять

часть рабочих. Везде, и в США, в том числе, завышение оплаты труда (даже законодательное повышение только минимальной зарплаты) увеличивает размер безработицы. Профсоюзы это не заботит. Кстати, речь идет именно о номинальной – денежной – зарплате.



Шахтовладелец. Рисунок из профсоюзной газеты

И тут важна была решимость государства. Нужно было официально объявить о намерении восстановить свободный рынок труда. Эта мера позволила бы снизить цены во множестве отраслей, повысить конкурентоспособность множества производств, занять определенное число безработных (которым пока нужно давать пособие), увеличить производство, повысить уровень налоговых поступлений. В таких условиях (утверждают специалисты) даже валютные спекуляции частных лиц оказывают благотворное и сильное воздействие.¹⁷

Приходится говорить обо всем в сослагательном наклонении, потому что в жизни все произошло не так. Уже в следующем году ударили профсоюзы шахтеров.

Шахтовладельцы хотели понизить зарплату шахтеров. В ответ, профсоюз рабочих угольной промышленности объявил стачку.

¹⁷ См. W. H. Hutt. *The Keynesian Episode. A Reassessment*. 1979, стр. 60 и дальше.

Всеобщая забастовка 1926 года



В дни всеобщей стачки

Когда переговоры профсоюза с хозяевами окончились ничем, Генеральный Совет профсоюзов объявил всеобщую стачку 3 мая 1926 г. Бастовали водители автобусов, докеры, железнодорожники, печатники, строители, электрики, рабочие химической промышленности... Встали транспорт и энергоснабжение. Снабжение продовольствием обеспечивали воинские части.

В эти дни усилилась антикапиталистическая и откровенно революционная пропаганда. От Лондона до Глазго происходили стычки рабочих с полицией. Случались акты насилия против добровольцев, которые откликнулись на призыв правительства ради организации снабжения населения едой и предметами первой необходимости. Обстановка в стране накалялась.

Была создана правительственная «Бритиш газет», редактором которой стал Черчилль. Он решительно осудил действия профсоюзов, заключив: «Накормить нацию гораздо труднее, чем угробить ее». Но он был всего только министром финансов.

Всеобщая забастовка длилась девять дней. Считается, что она ничего не добилась. Но это лишь то, что касалось поддержки шахтеров. Они еще бастовали до осени, а потом приняли понижение зарплаты на 10-13% и удлинение рабочего дня с семи до восьми часов.

Однако правительство было напугано ростом революционных настроений. Словами Черчилля: «Если этому

конфликту позволить продолжаться, все может кончиться ниспровержением парламентского правления». Был принят закон, запрещающий всеобщую забастовку и «забастовки сочувствия». Это было все, что ограничивало разрушительные возможности профсоюзов.¹⁸ Критический вопрос – о возврате к рыночному установлению цены труда – решен не был.



Танки на улицах Лондона во время всеобщей стачки 1926 г.

Следствием завышенных производственных расходов становятся рост цен и усиление проблем с конкурентоспособностью за границей, а значит, ущерб экспорту. Каким бы медленным ни был рост Британской экономики, он был вообще приостановлен. Началась реальная стагнация. Безработица в 20% возникла к 1931 году не из-под земли.

И конечно, профсоюзная и социалистическая пропаганда во всех бедах обвиняла капитализм.

Такого государственного деятеля, который мог бы решиться на укрощение профсоюзов, в Британии не нашлось. Не было тогда Маргарет Тэтчер. Вся идея восстановления довоенной ценности фунта и скорого подъема экономики страны, как говорится, накрылась медным тазом.

Опубликованные позже дневники Беатрис Вебб говорят, что в эти дни даже Сидни Вебб кричал по адресу Генерального совета профсоюзов: «Свиньи! Свиньи! Свиньи!». Правда, кричал у себя дома.

В итоге началось то, что началось. И что продолжалось.

Понимали ли эксперты Банка Англии, что происходит на рынке труда? Наверняка Кейнс акцентировал этот момент во

¹⁸ Закон был отменен в 1946 г. и восстановлен правительством Маргарет Тэтчер.

время того обеда - это был одним из главных его доводов против золотого стандарта. Каковы были их резоны к тому, чтобы пренебречь зловещими признаками?



Великий Черчилль

Ответы на такие вопросы требуют отдельного исследования. Едва ли велись протоколы обсуждения за обедом у Черчилля. Существовал документ – меморандум Казначейства, о котором мы упоминали. Там, видимо, все было сказано. Наверное, этот документ где-то существует.

А перед судом истории не очень важно, почему просчитались эксперты. Все сводится к вопросу: кто принял решение? Лет шестнадцать спустя, Черчилль назвал решение от 1925 года «своей самой большой ошибкой». Он не привык прятаться за чужие спины.



Василий Демидович

Р.В. Гамкрелидзе

Из сборника «Мехматяне вспоминают: 3»¹

Предисловие к сборнику



Книга является третьим выпуском из серии воспоминаний о механико-математическом факультете Московского государственного университета - предыдущие два выпуска из этой серии были опубликованы Издательством Мехмата МГУ, соответственно, в 2008 и 2009 годах. Как и предыдущие выпуски, данный сборник подготовлен Василием Борисовичем Демидовичем.

Считаю своим долгом выразить благодарность Василию Борисовичу за проведенные им интервью с Ревазом Валериановичем Гамкрелидзе и Юрием Ивановичем Журавлёвым, а также за обработку включённых в книгу фрагментов дневника Андрея Борисовича Шидловского и проведенного в 2002 году Сергеем Сергеевичем Демидовым интервью с Константином Алексеевичем Рыбниковым. Благодарю Игоря Андреевича Чубарова за предоставление к публикации в данном выпуске проведенных им в 2008 году интервью с Виктором Николаевичем Латышевым и Эрнестом Борисовичем Винбергом.

Благодарю также Андрея Валерьевича Чеглакова за неоценимую помощь в издании данного сборника.

Отдельной благодарности заслуживают Олег Владимирович Попов, его жена Наталия Юрьевна, их дочь Александра и сын Павел, за подготовку этого сборника к печати.

И.О. декана Мехмата МГУ, профессор В.Н. Чубариков
15 сентября 2012 года

¹ Выпуск подготовлен В.Б Демидовичем, Москва 2012 год. Выпуск содержит воспоминания известных математиков, обучавшихся на механико-математическом факультете МГУ. Для студентов, аспирантов и сотрудников факультета. © Механико-математический факультет МГУ, 2012 г. © Демидович Василий Борисович, 2012 г.

ВВЕДЕНИЕ

Третий выпуск из серии «Мехматяне вспоминают» мне удалось подготовить лишь спустя три года после выхода второго выпуска данной серии. Во многом столь долгая задержка объясняется тем обстоятельством, что некоторые из математиков, намеченные мною для проведения интервью, не отказывая мне в этом, так и не смогли провести со мной беседу, ссылаясь на огромную занятость или на состояние здоровья. Лишь один только Андрей Александрович Гончар мне сразу прямо сказал: «Вам не повезло – я не публичный человек и никому интервью не даю».

Поскольку «тянуть» с третьим выпуском стало уже просто «неудобно», то я решил включить в него, наряду с проведенными мною двумя интервью (с Ревазом Валериановичем Гамкрелидзе и Юрием Ивановичем Журавлёвым), два интервью, проведенные в 2008 году Игорем Андреевичем Чубаровым (с Виктором Николаевичем Латышевым и Эрнестом Борисовичем Винбергом), а также проведенное в 2002 году интервью Сергея Сергеевича Демидова с Константином Алексеевичем Рыбниковым (1913-2004), и фрагменты из дневника Андрея Борисовича Шидловского (1915-2007), любезно предоставленного мне его семьёй. Тем не менее, я не оставляю надежду провести, в дальнейшем, интервью и с теми, с кем беседа у меня пока не состоялась, и кто отказа от неё мне прямо не высказал.

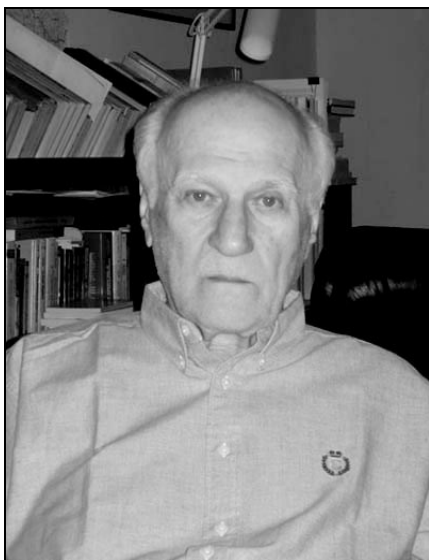
Как обычно, вопросы интервью сообщались собеседникам заранее. Многие из них получились уже традиционными (о своей семье, о том, как происходило их поступление на Мехмат МГУ, о первых их факультетских лекторах, о том, как они выбирали своего научного руководителя и др.), но, по ходу беседы, возникали и небезыңтересные их «уточнения». Все ответы на вопросы для этого сборника были только «устными на диктофон» – пожелания «отвечать письменно» никто из собеседников не изъявил. В «Приложении» к сборнику я привожу сводный список математиков и механиков (упомянутых интервьюируемыми) с указанием годов их рождения или прожитой жизни (в некоторых случаях соответствующие годы мне не известны или, возможно, указаны неправильно, и я буду благодарен читателям за любые уточнения по этому поводу).

Перевод диктофонных записей на компьютер мне помог осуществить мой сын Константин, а расшифровкой этих записей занималась, под руководством Олега Владимировича Попова, вся его семья: жена Наталия Юрьевна, дочь Александра и сын Павел. После редактирования расшифровок интервью и внесения в них полезных (по моему мнению) примечаний, я передавал их

распечатки самим интервьюированным (или членам их семей) для окончательного согласования текста.

Этими усилиями и был создан третий выпуск из серии «Мехматяне вспоминают».

В.Б.Демидович
10 сентября 2012 года



Р.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Об интервью с академиком РАН Ревазом Валериановичем Гамкрелидзе я затеял разговор ещё весной 2010 года при нашей встрече в Московском Доме Учёных, где он выступал на вечере памяти Льва Семёновича Понтрягина. Реваз Валерианович попросил меня подготовить свои вопросы и пообещал дать ответ после знакомства с ними.

В июне я позвонил Ревазу Валериановичу и сообщил, что вопросы у меня готовы. Он любезно пригласил меня приехать к нему домой. Я приехал. Бегло взглянув на подготовленные вопросы, Реваз Валерианович сразу же согласился на них отвечать. Тут же, в исключительно дружелюбной обстановке, «под диктофон», и состоялась наша беседа.

Ниже приводится текст расшифровки диктофонной записи этого разговора.

ИНТЕРВЬЮ С Р.В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Д.: Прежде всего позвольте поблагодарить Вас, Реваз Валерианович, за Ваше согласие ответить на мои вопросы.

Расскажите, пожалуйста, сначала немного о себе и о своей семье.

Я знаю, что Вы родились в 1927 году в Грузии, в городе Кутаиси. Знаю, что в 1929 году там же родился Ваш брат – Тамаз Валерианович Гамкрелидзе – выдающийся языковед, ставший, как и Вы, «дважды академиком» - Грузии и России. Но хотелось бы знать:

а) как звали Ваших родителей и чем они занимались, в частности, был ли кто-нибудь из них связан с математикой;

б) были ли у Вас ещё братья и сёстры и если да, то кем они стали по профессии;

в) рано ли у Вас пробудился интерес к математике?

Г.: Ну что я могу сказать? Я начну с моих родителей. Они, как и я, родились в Кутаиси. Дед мой, по отцу, был довольно известным юристом – теперь, по-моему, это так называется. Точнее, он был адвокатом по гражданским делам. Так что в Кутаиси, например, на все большие гражданские дела, которые происходили, в той или иной степени приглашали и его – это я помню...

Итак, я родился в Кутаиси и лет до пяти мы всей семьёй жили там. В основном, я воспитывался у моего деда-юриста. У него был свой собственный дом в Кутаиси... Правда, там у многих были свои дома...

Д.: А Кутаиси был большим городом?

Г.: Тогда, наверное, там было тысяч 100-120.

Дом деда был с садом, с роскошным большим садом. В еврейском районе. Там была и синагога. И я вообще среди них вырос! Поэтому я никогда их не различал...

Вот что я Вам должен сказать. Когда я впервые приехал в Москву, молодым совершенно человеком - а я с первого курса перевёлся, значит, мне было лет восемнадцать-девятнадцать – то сразу попал в такие интеллигентные семьи!

Был, например, такой актёр Алексеев-Месхиев. Он и его мать во время войны жили в Грузии беженцами, где мы с ними и познакомились. Так вот, его мать некоторое время меня в Москве опекала. А сам он умер от воспаления лёгких.

(Примеч. Д.: Здесь имеется в виду Юрий Константинович Алексеев-Месхиев (1917-1946), бывший в довоенную пору мужем своей сокурсницы по Щукинскому театральному училищу Людмилы Васильевны Целиковской (1919-1992). Он происходил из

рода знаменитого грузинского артиста, режиссёра и педагога Владимира Сардионовича Алексева-Мехиева (1857-1920))

Или вот Рамзин. Был такой знаменитый инженер, может быть Вы помните «процесс Рамзина». У них в семье я также потом жил, поскольку у меня не было своего жилья. Конечно, мои родители, сколько могли, присылали мне деньги, чтобы оплачивать мою учебу в Москве. Но это было на пределе их возможностей. Поэтому я и жил у Рамзиных.

(Примеч. Д.: Речь идёт об известном теплотехнике, изобретателе «прямоточного котла», Леониде Константиновиче Рамзине (1887-1948), репрессированном в 1930 году по сфабрикованному «делу Промпартии». Над конструкцией прямоточного котла Рамзин работал в «шарашке». За это изобретение в 1936 году он был освобождён по амнистии, а в 1943 году даже стал лауреатом Сталинской премии).

А к чему я это говорю? А к тому чтобы пояснить, каков был уровень, куда я попал в начале моего пребывания в Москве. Но меня поразила одна вещь: даже в культурных семьях, где никогда не было антисемитизма и так далее, всегда был этот вопрос «для обсуждения».

Есть такое английское, или американское, выражение: «It was an issue» – вопрос для обсуждения. Я-то этого никогда не понимал. Потому что я был из Грузии, где вообще никогда не было «национального вопроса». Дети ведь очень восприимчивы, всё новое они воспринимают, и это на них действует. Впрочем, как и на молодых людей.

Итак, в Грузии я жил в еврейском районе, и вокруг меня было много еврейских детей. Обычная картина моего детства: я сижу на подоконнике в доме своего деда, смотрю вниз на тротуар, а там без конца идут утки – их даже не резали. Все они шли вниз по нашей улице. А внизу была синагога. То есть живность никто сам не резал. Её несли в синагогу. И лишь там раввин, или его помощники, за определённую плату, её резал.

(Примеч. Д. в традиции иудаизма забой животных (для кошерной пищи) должен производиться по специальным канонам)...

Д.: Сам раввин резал?

Г.: Конечно! ...Так вот, в основном там были утки. Грузинские евреи даже острили тогда, что утку и кормить не надо – она сама траву пощиплет и всё. Очень экономно. А курицу ещё надо зерном кормить! ...Одним словом это – картина из моего раннего детства...

Дом деда был большой, огромный и весь наш. В нём мы и жили: отец с матерью, мой брат – он немногим меня младше, на два с половиной года – и я.

Отца звали Валериан Самсонович. Он был экономистом, но потом стал издателем. В 1937 году его арестовали: тогда были репрессии. Арестовали его в Тбилиси, куда мы переехали в 1934 году. Причём отец никогда не был членом большевистской партии.

А первый раз его посадили в 1924 году – он был членом какой-то партии, я никогда не вникал какой. Отец не любил об этом рассказывать, но в какой-то не большевистской партии он состоял. Ведь в 1921 году в Грузию вошли войска с севера. И было не то чтобы «Сопrotивление», а просто протест молодых людей...

Отец закончил экономический факультет Тбилисского университета. Его родной старший брат – мой дядя – тоже был экономистом. И даже довольно известным экономистом: он работал в Тбилисском университете сначала доцентом, потом профессором.

По материнской же линии у нас все были большевиками. А её родной брат – другой мой дядя – был заместителем генерального прокурора Грузии. Это был довольно большой пост, и потому дядя был кем-то вроде главы нашего семейного клана. Всего же у моей матери было четыре брата, и он был у нас «как старший Форсайт». Когда я впервые прочёл этот роман Джона Голсуорси, то вполне оценил всю эту картину, что действительно в большой семье так всё и происходит. И он всегда всем давал советы, указания, и все должны были им следовать.

В школу меня отдали в тридцать... четвертом году. Да, в 1934 году, причём в немецкую школу. Ещё с детства мой отец нанял мне учительницу немецкого языка. И эта «немка» ко мне ходила. Для меня она была *Tante Klara*. (*Примеч. Д.: то есть «тётя Клара» (нем.)*). Так вот, меня и отдали в первый класс в немецкую школу.

Мой же дядя (*примеч. Д.: видимо тот, который был в доме «старшим Форсайтом»*) рассердился. Он вызвал отца и ему говорит: «Валериан, почему ты отдал Резо в немецкую школу? И вообще учишь его немецкому языку, когда немцы наши враги, а американцы наши друзья? Его надо английскому учить!» На что мой отец ответил, что пока он выучит немецкий язык, наши враги и друзья много раз поменяются... А в 1937 году эту школу просто закрыли...

Д.: Ведь как раз в 1937 году Вашего отца забрали.

Г.: Да, забрали. Но просидел он недолго.

Д.: Этот же дядя помог?

Г.: Нет, нет. Помогли другие родственники. Они были в близком родстве со сводными братьями Сталина – Эгнаташвили.

(Примеч. Д.: В Грузии широко распространена версия, что «биологическим» отцом Сталина был богатый владелец виноградников, виноградовец, купец 2-й гильдии (а по одной из версий даже «князь»), вдовец Яков (Коба) Георгиевич Эгнаташвили (1840 годы – 1930 годы), у которого некоторое время работала прачкой мать Сталина – Екатерина (Кеке) Георгиевна Геладзе (1858-1937). У Якова Георгиевича Эгнаташвили было два сына: Александр Яковлевич Эгнаташвили (1887-1948) – заместитель начальника охраны Сталина, его личный повар-дегустатор, и Васо Яковлевич Эгнаташвили (1888 – конец 1950 годов) – в 1939-1953 годы секретарь Президиума Верховного Совета Грузинской ССР. В этом случае получается, что А.Я. Эгнаташвили и В.Я. Эгнаташвили являются сводными братьями Сталина).

И один из этих братьев был, что теперь называется, секретарём парламента *(примеч. Д.: речь идёт, конечно, о Васо Яковлевиче Эгнаташвили)*. Вот он очень сильно в этом деле нам помог - отца освободили. Иначе, естественно, его бы сослали.

Так вот, в 1937 году немецкую школу закрыли, а отец ещё сидел. Нас опекал дед. Мы уже жили в Тбилиси, он - в Кутаиси. И дед регулярно приезжал к нам, привозил деньги и ещё что-то, иначе бы нам было совсем плохо ...Но меня перевели в русскую школу.

Д.: А русский язык Вы конечно знали?

Г.: Русский язык там знали все! Правда, смотря как, но тем не менее! Русский язык был второй, да даже и не второй язык. Я, например, по-русски читал, когда отец ездил в командировки в Москву.

Я помню, что в 1937 году вышел знаменитый том Пушкина к 100-летию, в белом переплете – вот это была моя настольная книга. Я любил её читать сидя на подоконниках – там дома были старинные, с большими окнами и широкими подоконниками. И я всю эту книгу прямо изучил от «А» до «Я». Она и иллюстрирована была замечательно. При этом я был типичным представителем такой средней, очень средней, интеллигенции, никакого отношения не имеющей к верхушке. Естественно, там была своя элита – а я был самым обычным школьником. И у нас семейство тоже было самое обычное. Но мои родители старались! В Грузии всегда так было.

Д.: А Ваша мама кто была по профессии?

Г.: Моя мама закончила литературный факультет Тбилисского университета, но лишь когда стала уже взрослой, и без отрыва от домашних дел. Потом она была просто домохозяйкой.

Д.: Значит, «филологическое продолжение» у Вашего брата идёт от мамы?



Г.: Нет. «Филологическое продолжение» у моего брата пошло от друга моего отца, его школьного друга по Кутаиси.

Вообще, очень большая часть тбилисской интеллигенции периода тридцатых годов XX столетия – из Кутаиси. Точнее, из западной Грузии. В частности, там было несколько выдающихся деятелей, которые учились вместе с моим отцом, за одной партией сидели.

Так вот, был там такой Георгий Церетели...

Д.: К Акакию Церетели, известному Грузинскому поэту, никакого отношения он не имеет?

Г.: Вообще это очень знаменитая фамилия, они все там как-то связаны. Но непосредственной связи нет.

Георгий Церетели был одним из ведущих востоковедов Грузии. Не только Грузии, но и всего Советского Союза. Он и с Пиотровским учился... Нет, Пиотровского он уже сам обучал (*примеч. Д.: имеется в виду Борис Борисович Пиотровский (1908-1990) – археолог и египтолог, в течение многих лет возглавлявший Государственный Эрмитаж*). А учился он, по-моему, со Струве (*примеч. Д.: речь идёт о востоковеде Василии Васильевиче Струве (1889-1965)*).

Вот этот Георгий Церетели с моим отцом были школьными друзьями. А мой брат с детства обладал естественной способностью к языкам – он очень быстро их усваивал.

Он, например, прогуливал в школе уроки, чтобы выучить немецкий язык. Вместо школы он ходил к немецким пленным, которые работали на стройках. Причём он у мамы забирал большие бутерброды и там их раздавал. Его к пленным пускали – в Грузии всё было не так сурово, как в Москве, где более строго относились к таким делам.

Так вот, брат там даже завёл себе друзей. И в какой-то мере он получил тогда от немцев первые намёки на образование. Они говорили с ним о Германии, обсуждали музыку, беседовали о поэзии. И он блестяще научился говорить по-немецки. Немцы даже шутили, что невозможно его акцент определить.

Брат хотел поступить на филологический факультет Тбилисского университета, чтобы изучать и там немецкий язык. Но когда мой отец взял его показать Георгию Церетели, то тот сказал: «Вы что, хотите этот талант погубить? Зачем ему немецкий язык изучать? Ему надо обязательно поступать на факультет востоковедения, и он будет настоящим ученым!» И он сам взялся обучать моего брата. А после окончания факультета востоковедения Тбилисского университета брат поехал к Дьяконову в аспирантуру. Дьяконов был известный востоковед, и брат прошел эту знаменитую Петербургскую школу (*примеч. Д.: речь идёт о востоковедческой школе Игоря Михайловича Дьяконова (1915-1999)*).

Д.: Математикой никто кроме Вас в семье не интересовался?

Г.: Нет. Наоборот, и меня хотели определить в консерваторию. Я играл, и довольно хорошо, на фортепиано. А на выпускном вечере мы с братом выступали с оркестром. Я играл ре-минорный концерт Сен-Санса, что не так просто. Это теперь я так соображаю, а тогда мне это казалось очень естественным. Но под конец меня, почему-то, очень заинтересовали астрономические книжки.

Д.: Перед окончанием школы?

Г.: Да, где-то в 8-9-м классе. И все постепенно-постепенно... Но потом я хотел стать физиком...

Д.: А астрономом уже не захотели?

Г.: Нет, не захотел. Я читал, читал, но астрономия меня всё меньше и меньше интересовала. Меня физика стала интересовать. Но физику я не понимал, хотя я довольно хорошо понимал, что такое производная, не прочитав никаких книг.

В нашем дворе жил такой Карцивадзе Иотам Николаевич, который был очень хорошим математиком. Он был старше меня и уже учился в университете на физмате. Его все звали Биби. Отца

его расстреляли в 1937-м. Я помню, как пришли за ним ночью, и его взяли – он был министром Временного правительства Грузии. Мать Биби – бедную, замечательную женщину – потом тоже взяли, и тоже ночью за ней приехали. И остались два брата, очень талантливые: старший был инженером, а Биби стал математиком.

(Примеч. Д.: Напомню, что в 1918-1921 годы существовала независимая Грузинская демократическая республика. В феврале 1921 года, с вводом войск Красной Армии на территорию Грузии, эта независимость была утрачена. В Грузии была установлена Советская власть. Однако на протяжении трёх лет там ещё продолжалось, по существу, «партизанское сопротивление» этой власти, во главе которого были «Комитет независимости Грузии» и «Грузинский военный центр», сформировавшие даже подпольное «Временное правительство Грузии», просуществовавшее, правда, всего девять дней – с 28.08.1924 по 5.09.1924.

Так вот отец Биби, Николай (Николоз) Иотамович Карцивадзе (? - 1937), видимо, был членом «Комитета независимости Грузии», а потом входил во «Временное правительство Грузии». После полного подавления этого «партизанского сопротивления» в 1924 году состоялся суд над его лидерами, в результате которого некоторые из них были приговорены к расстрелу, а некоторые (в том числе и Николай Карцивадзе) – к 10 годам тюремного заключения. Он тогда выжил, но в кампании репрессий 1937-1938 годов пуля его уже не миновала).

К Биби я и обратился: «Биби, физика меня интересует, но мне нужно что-нибудь выучить». Я был уже в 8-м или 9-м классе, по математике все эти формулы, интегралы, производные я понимал. Касательная там. Но мне нужно было что-то ещё. И Биби взял шефство надо мной. Это постепенно и затягивало меня в математику.

Но у меня возникли и большие трудности, когда он стал давать мне книжки... Сначала он мне дал книгу Куранта «Дифференциальное и интегральное исчисление». Но мне эта книга совершенно не подошла...

Д.: Она была на немецком языке?

Г.: Нет, она была уже на русском языке. В синем переплёте, первое издание.

Я к нему пришёл и сказал, что не понимаю. Тогда он дал мне одну грузинскую книжку, где это всё доказывалось. Но я не понимал там метод «кси-среднего значения», и зачем это всё нужно. Там, например, доказывалось, что если во внутренней

точке функция максимальна, то её производная в этой точке равна нулю. Но мне это казалось очевидным, потому что там касательная горизонтальна. А само доказательство формально я воспринимал, но я понимал, что я его, всё-таки, не понимаю. И тогда Биби начал регулярно со мной заниматься.

Мы взяли книжку Мусхелишвили по аналитической геометрии, я помню, и начали с приложений. Он мне сказал, мол, ты – настоящий математик, раз ты такие вещи говоришь, что ты не понимаешь. Значит, тебя надо по-настоящему обучать. Одним словом он меня понял. И мы начали с Мусхелишвили.

Я был в 10-м классе и начал основательно учить введение в анализ. И таким образом в 10-м классе я уже знал, что пойду в математику.

Д.: Правильно ли я понимаю, что после школы Вы поступили в Тбилисский университет?

Г.: Да, я поступил на первый курс.

Д.: И в каком году это произошло?

Г.: В 1945-м.

Д.: Война уже окончилась?

Г.: Вот она кончилась, а я поступил.

Д.: А был ли конкурс при поступлении? Или в 1945 году конкурса не было?

Г.: Нет, я помню, что был! Но на физмат конкурс был небольшой.

Вот, я помню, со мной поступал один провинциал. Он был старше меня чуть-чуть: я был ещё ребенок, а он уже был опытный. Как-то мы с ним сошлись, подружились. Он поступил на физмат. Его взяли к нам с тем, чтобы потом перевести на юридический, как он хотел. И я помню, что он поступил к нам бесплатно...

Д.: Теперь насчет Тбилисского университета: а кто читал Вам лекции по математическому анализу, алгебре и геометрии?

Г.: Ну, алгебра меня удручала. Алгебру я уже знал немножко. Её нам читал Харадзе Арчил Кириллович. Он, я помню, доказывал теорему об инерции квадратичных форм три или четыре лекции, причём «провирался» каждый раз. Но он сам отмечал это, надо отдать ему должное. И говорил, что это дополнит в следующий раз. А в следующий раз он опять что-то неточно говорил.

А в дополнении Мусхелишвили всё это было. Причём, очень хорошо изложено. Я считаю, что эта книга – одна из лучших по аналитической геометрии.

Д.: Я тоже по ней учился. Лекции Павла Сергеевича Александрова я плохо понимал, и к экзамену готовился по книжке Мухелишвили...

Г.: У Александрова плохая книжка!

Д.: А в моё время её и не было!

Г.: Нет, я потом смотрел. Книжка Делоне – это тоже не то. А между прочим я вам скажу, поскольку речь зашла о книгах: в России были роскошные учебники по аналитической геометрии. Например, «андреевский» курс. Если не видели – посмотрите!

Д.: Это, кажется, была книга 1920 годов?

Г.: Нет, более ранних: в 1915-16 году было её последнее издание.

Ну, правда, это серьёзный курс. А по уровню для 1915 года это просто роскошный учебник! Он у меня есть, я эту книгу храню. Эта традиция как-то была утрачена.

Вообще, геометрическая традиция на Мехмате МГУ была утрачена с засильем ТФДП, которое там было, начиная с Лузина. И если бы не блестящая плеяда – Колмогоров и Понтрягин прежде всего – то Московский университет, Мехмат МГУ стали бы такими провинциальными, как итальянские высшие школы некоторые... Сейчас, правда, поросль пошла там хорошая, но они до сих пор живут «по Тонелли». Правда, у них в Италии это был гений, я считаю, но всё-таки...

Я это знаю, потому что мои бывшие студенты, ученики сейчас подвизаются в Италии. И хорошо там устроены. Я к ним ездил...

Д.: В частности, Андрей Александрович Аграчёв там.

Г.: Да, Аграчёв там. Он сейчас заведует СИССА.

(Примеч. Д.: то есть руководит «математическим классом» Международной школы высших исследований в городе Триест (Италия) – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati/International School for Advanced Studies (SISSA/ISAS)). Там и Сарычев, во Флорентийском университете. И другие.

Так вот они все – итальянцы-аналитики! И до сих пор они как будто находятся между десятым и двадцатым годом прошлого века. Поразительно! Как может иногда вот такой бум застопорить развитие науки, если не обращать на это внимание!

Я считаю, повторяю, что спасителями Мехмата МГУ были Колмогоров и Понтрягин ...

Возьмите, например, Арнольда *(примеч. Д.: беседа наша шла пару недель спустя кончины Владимира Игоревича Арнольда)*, так? После них пошёл Арнольд... Но он же был топологом! И без Понтрягина он бы не стал бы тем, кем стал... Он официальный

ученик Колмогорова, по суперпозиции очень многое сделал, по КАМ – теории. Он и Колмогоров занимались всеми этими трудными вещами. Но он типичным топологом был! Абсолютно! Он не аналитик. И это любой аналитик вам скажет. Вот как можно на талантливого человека повлиять, когда есть большой источник – это лично моя точка зрения!

Я не знаю, как другие оценивают Арнольда, но для меня он прежде всего тополог. Быть может, прикладной тополог, в том смысле, что в совершенстве владел многими современными топологическими методами и успешно их применял в многочисленных областях математики, которыми он занимался.

Д.: По существу, он же дифференциальные уравнения «переделал в геометрическую теорию». Курс обыкновенных дифференциальных уравнений – знаете, конечно, эту книжку Арнольда.

Г.: Знаю, конечно!

Д.: Книжка совершенно «геометрична», на мой взгляд.

Г.: Геометрична и топологична.... Но, всё-таки, он так и не усвоил всего того, что к тому времени уже сделали французы... Хотя, конечно, он был выдающимся человеком...

С другой стороны, Юра Манин. Вот его я считаю «чистым» математиком, как говорят французы, *par excellence* (примеч. Д.: *то есть «преимущественно» (фр.)*). Хотя он много занимался математической физикой.

В качестве подтверждения своей точки зрения я могу привести такой аргумент. В течение того отрезка времени, когда трое наших выдающихся современных математиков вели свою активную деятельность – Юрий Иванович Манин, Сергей Петрович Новиков, Владимир Игоревич Арнольд – произошло три великих математических события: во-первых, была доказана континуум гипотеза, во-вторых, была доказана теорема Ферма, и, в-третьих, решена проблема Пуанкаре. Ни к одной из этих тем Арнольд не имел ну никакого отношения! В то время как Манин откликался на каждую из них. И был даже в гуще событий, внося в доказательство теоремы Ферма очень существенный свой вклад. Но тем багажом, который у него был, то есть Понтрягинской топологией, это невозможно было полностью всё сделать.

Но мы очень далеко отклонились...

Д.: Да, вернёмся к Тбилисскому университету и поговорим про анализ. Кто читал Вам там математический анализ?

Г.: Анализ? Анализ нам читал... Но сначала я скажу вам про теорию чисел – её читал нам Вальфиш. И алгебру, алгебру читал нам Вальфиш!

Д.: Как? До Харадзе?

Г.: Сейчас я вам поясню. Было так. Когда я поступил в университет, я поступил на русский поток. И там, на русском потоке, алгебру читал Вальфиш. А на грузинском потоке анализ читал Гокиели. Его все хвалили, что он логически строг и так далее. И мне захотелось узнать точно, что значат все эти теоремы анализа. И я попросился перевести меня на грузинский поток. А там уже алгебру читал Харадзе.

Д.: Значит, Харадзе и Гокиели читали по-грузински?

Г.: Да, да. Это грузинский поток был. А Вальфиш читал по-русски. Вальфиш читал по запискам, строго, и было все ясно. Довольно медленно для меня было то, что он читал. Я уже понимал, что будет, и мне хотелось побольше, побыстрее. Но, тем не менее, он читал очень четко. Что очень трудно, как вы понимаете.

Д.: А аналитическую геометрию читал Мухелишвили, так?

Г.: Аналитическую геометрию нам читал... Был такой ученик Мухелишвили... Их было два брата: один был политик, а другой – математик... Квеселава! Он был потом директором Вычислительного центра. Он читал на грузинском потоке, по-грузински. Но читал он строго по книжке Мухелишвили, и мне было не интересно. Потому что я эту книжку более или менее знал.

А упражнения по анализу у нас вёл Вишик.

Д.: Вот это мой следующий вопрос! Мне рассказывал Марко Иосифович Вишик (*примеч. Д.: наша беседа состоялась ещё при жизни Марка Иосифовича, скончавшегося летом 2012 года*), что он, будучи тогда ассистентом Тбилисского университета, вёл у Вас семинарские занятия. Остались ли у Вас какие-нибудь воспоминания о его занятиях?

Г.: О да, да! Очень большие воспоминания у меня остались. Он как-то пришёл в восторг от моего вопроса, и я ему очень был благодарен. «Вот это именно тот вопрос, который для анализа нужен! Да потому что многочлен – это непрерывная функция!» – он ответил.

Сейчас я вам расскажу про свой вопрос. Речь зашла о теореме Безу: если a – корень многочлена $f(x)$, то $x-a$ является его делителем. Как это обычно доказывается? Берём $f(x)$, делим на $x-a$ с предполагаемым остатком, а потом полагаем $x = a$. Получается, что остаток обращается в ноль. Вот я и спросил: «а как же мы делим на $x-a$, а потом полагаем это равным нулю? Я не понимаю». Тогда-то он и пришёл в восторг. И пояснил: это можно потому, что многочлен – функция непрерывная...

И вот это у меня на всю жизнь запомнилось... Запомнился его энтузиазм по отношению к математике. Я понял тогда, что он этим живет. И именно так надо относиться к своей профессии. Это очень важно для молодого человека. Молодой человек ведь очень восприимчив. И такой энтузиазм передается. Это я знаю очень хорошо.

Так что если вы увидите Марко Иосифовича, то можете напомнить ему про мой вопрос... Или Вы у него это спрашивали?

Д.: Конкретно про этот Ваш вопрос мы не говорили.

Г.: Если Вы увидите его, скажите, что я до сих пор помню про его реакцию на мой вопрос!

После, уже в Москве, мы как-то не пересекались. Но у меня осталось самое светлое о нём воспоминание.

Д.: А потом Вы перевелись учиться на Мехмат МГУ. Как это произошло?

Г.: Потом я перевелся, да. В 1946 году, на второй курс. Произошло это очень просто.

Произошло так. Мама моя приехала без меня в Москву. Привезла с собой мои документы, сдала их на Мехмат МГУ, и меня зачислили. Потому что в Тбилиси я всё сдал. И у меня были все пятерки... Ну, может, одна четвёрка – я точно уже не помню. Во всяком случае, всё было сдано.

В Тбилисском университете вместе со мной учился, и мы дружили, племянник Размадзе – был такой известный математик, вы слышали, наверное?

Д.: Да, конечно. По-моему, в Тбилиси есть даже математический институт его имени?

Г.: Вот-вот, Институт математики Академии наук Грузии имени А.М.Размадзе.

Так вот, племянник Размадзе вместе со мной учился, мы вместе поступили в Тбилисский университет. Его там все уже знали, естественно. Ну, мы как-то подружились. Он сам на меня обратил внимание... Это была особая семья, элитарная такая семья. И он поехал вместе со мной в Москву. Взял свои документы и подал их на Мехмат МГУ. Но в Тбилиси он чего-то не сдал, и его тут не приняли.

Тогда он поступил так. Ректором МГУ тогда был историк, я забыл его фамилию. Он был временным – 1946 год.

Д.: Галкин?

Г.: Да-да, Галкин! Галкин был ректором *(примеч. Д.: Илья Саввич Галкин (1898-1990) был ректором МГУ с декабря 1943 года по январь 1948 года)*. И Сосо – так звали племянника Размадзе – сказал: «Я пойду к Лузину». А Размадзе очень дружил

с Лузиным, в Париже они вместе жили. И вот прямо с улицы пришёл молодой человек к Лузину. Его сначала не пускали, спрашивали: «Кто вы такой». Он в ответ: «Я – племянник Размадзе!» Тогда его пустили. Он зашёл и рассказал свою историю. Лузин сел, написал длинное... Нет, длинное письмо было после. Он оделся и сказал: «Идемте в Университет к Галкину!» Привёл его к Галкину. Сказал, что надо его зачислить на Мехмат. Что он племянник Размадзе. Что это был такой выдающийся математик для Грузии, для всех нас. И так далее. Галкин сказал... как же Лузина-то звали, я забыл...

Д.: Николай Николаевич.

Г.: Николай Николаевич? Николай Николаевич Красовский, это я помню... Сейчас я проверю про Лузина... Издали как раз хорошо его книгу «Интеграл и тригонометрический ряд»... Верно, Николай Николаевич!

Так вот, Галкин сказал Николаю Николаевичу: «Раз вы сами пришли, то я не могу не зачислить». И Сосо зачислили на Мехмат МГУ. А Лузин, вернувшись домой, написал длинное благодарственное письмо Галкину. От руки... Или на машинке – я не помню. И Сосо сначала занёс его ко мне показать. Там Николай Николаевич в основном дифирамбы Галкину пел. Что вот вы такой и такой. Что вами учлись великие традиции семейства Размадзе. И так далее...

Вот так я перевелся вместе с моим другом в МГУ. А он, правда, потом уехал обратно в Тбилиси...

Д.: Будучи студентом нашего факультета, Вы сразу же начали посещать спецсеминары и спецкурсы? И чей-нибудь спецкурс или спецсеминар Вам особенно запомнился?

Г.: Вы знаете, сначала со мной случилась очень неприятная история. Я её хочу рассказать. Я никогда никому не рассказывал, но пусть это войдет, раз уж это – история факультета!

Я впервые тогда получил чёрную метку от общественных организаций. Училась у нас на втором курсе некая Валя Михайлова. Она была слепая. В моей группе училась.

У меня в группе были и известные потом люди. Например, Женя Ландис был – мы с ним очень сдружились. Дубовицкий был. Но это была элита. А я был бедный провинциал, который только что приехал, который никого здесь не знает. Они же все друг друга знали. Знали к кому как надо относиться. Были у нас уже и вундеркинды. Я помню, Фридман такой был: он лекции не слушал – играл всё время в шахматы...

Ну так вот, у нас была и эта Валя Михайлова. А с ней вместе была и вторая девочка. Её тоже Валею звали, но фамилию её я уже не помню. Они всегда были вдвоем, вместе – она её водила и так далее. Я же только пришёл на факультет. И только что первые лекции начались – потом я расскажу вам, кто нам читал. У нас в группе был ещё такой очень активный фронтовик, запевала такой – он, бедный, на войне ногу потерял – Лёва Панфилов. Комсоргом нашей группы был. А я вообще не был комсомольцем. В Грузии как-то это... Ну, в общем, не был и всё. Там никто ко мне не подходил по этому поводу, и я сам ни к кому не подходил. Здесь же, когда узнали что я не комсомолец, сразу же сказали: «Надо, Реваз, тебя в комсомол принять!». Я ничего против не имел – надо так надо.

Я всегда со всеми старался быть дружелюбным. И слевой, конечно, тоже... А с этой Валею – ну, мне её было просто жаль, по-человечески. Но вдруг началась кампания, что её надо исключить из университета. Стали собирать за это подписи под коллективным письмом. И ко мне пришли. «В чем, дело? – спрашиваю я. Почему исключить?». Но никто толком не знал. Шли лишь слухи, что она, вроде бы, где-то во время оккупации на рояле играла. Так ведь она работала, чтобы зарабатывать себе на жизнь.

Д.: В письме обвиняли её «в сотрудничестве с немцами»?

Г.: Да, да.

Я и говорю: «Я не подпишу это письмо. Человек, может, умирал с голоду!». И не подписал. Это было что-то страшное! Ну, естественно, не подписала вторая Валя, но к ней и не подходили. А тогда, я помню, Лева меня обозвал ренегатом: Гамкредидзе у нас ренегат, и так далее... После этого все замолкли насчёт комсомола. Для меня эта была и «чёрная метка». А я на это не обращал внимания.

Вот это было мое первое событие на факультете. С тех пор в комсомол я так и не вступил. К сожалению...

Д. А в партии Вы тоже не были?

Г. Нет, в партию я вступил. Но это было уже в начале 1970 годов, в «Стекловке», после того как я лет двадцать там проработал. И, к тому же, был уже академиком Академии наук Грузии.

Произошло это так. У меня были почти семейные отношения с Мжаванадзе (*примеч. Д.: Василий Павлович Мжаванадзе (1902-1988) в 1953-1972 годы был 1-м секретарём ЦК Компартии Грузии*). Как-то раз, когда он приехал в Москву, он вызвал меня к себе и, во время нашего разговора, вдруг спросил:

«А почему вы не в партии?». И, не дожидаясь ответа, настоятельно посоветовал мне в неё вступить. Отказать Мжаванадзе я не мог, и написал соответствующее заявление в партийную организацию «Стекловки». Рекомендации мне дали, во-первых, конечно же, Евгений Фролович Мищенко. Во-вторых, уж точно не помню, но рекомендацию я получил то ли от Сергея Михайловича Никольского, то ли от работавшего в «Стекловке» физика Володи Хозяинова (*примеч. Д.: годы жизни Владимира Тимофеевича Хозяинова мне установить не удалось: я лишь выяснил, что он был фронтовиком, окончил в 1949 году Физфак МГУ, в «Стекловке» работал в 1957-2000 годы*). Ну а третью рекомендацию дать мне, вдруг, сам себя предложил Константин Константинович Марджанишвили: никаких особо дружеских отношений между нами не было, но видимо, ему стало известно про совет Мжаванадзе. Так я стал коммунистом...

Но вас интересует, кто у нас лекции читал на Мехмате МГУ. Линейную алгебру нам читал Гельфанд. Этот курс потом стал основой его книжки. Мне, откровенно говоря, не нравилось, как он нам читал. Заставлял там вставать, ещё что-то...

Понимаете, с Гельфандом общаться было очень не просто... Вроде бы он был весь погружённый в математику и так далее. Но в нём было столько высокомерия! И это чувствовалось, и было всегда неприятно. С первого же раза, как он поднимал с места, выдергивал студентов как кукол. У меня до сих пор этот образ стоит: Гельфанд великий человек, но вроде кукловода.

Да каким бы великим он ни был, всё равно это производило неприятное впечатление. И вызывало чувство протеста у человека, имеющего чувство собственного достоинства!

Д.: Да, эту его манеру я знаю!

Г.: Это все знают! Во всяком случае, Гельфанд читал нам линейную алгебру. Высшую алгебру читал уже Курош... Хотя нет, Курошу я экзамен сдавал. Он меня спросил про жорданову форму матрицы.

А анализ читал Хинчин. У меня было двойственное чувство. Он читал всё ясно-ясно. Но надо идти вперед – а он всё «мусолит».

Д.: Сергей Петрович Новиков тоже мне говорил, что «Хинчин нам очень медленно читал, как будто мы туго соображающие».

Г.: Да, да, да... Медленно можно читать, но надо, всё-таки, продвигаться. А он – с одной стороны, с другой стороны... со всех сторон! Он был, тем не менее, блестящим лектором.

А вот Крейнес мне совсем не нравился. Он тоже читал нам анализ. Но допускал ошибки. И я видел даже неправильное доказательство.

Д.: Но ведь Вы сказали, что анализ читал Хинчин?

Г.: Сначала был Крейнес, потом – Хинчин. Крейнес был на первом семестре второго курса, а на втором семестре – Хинчин...

Кто у меня еще остался в памяти – это я про второй курс вспоминаю. Некрасов нам читал механику. Но это было, может быть, не на втором курсе, а на третьем. Теоретическую механику он нам читал.

(Примеч. Д.: Александр Иванович Некрасов, во время путешествия в США (с Андреем Николаевичем Туполевым), попал в автомобильную катастрофу и сильно пострадал. Позднее он был арестован (в январе 1938 года) по обвинению в "соучастии в антисоветской, вредительски-диверсионной, шпионской организации в ЦАГИ" и осужден на 10 лет лишения свободы. На Мехмате МГУ Александр Иванович вновь появился в 1943 году, после своего досрочного освобождения из заключения.)

Д.: А семинары кто вёл?

Г.: Семинары у нас вели ... Сейчас я вам скажу. А, «диффуры» нам читал Степанов – обыкновенные уравнения. Уравнения в частных производных нам читал будущий ректор...

Д.: Иван Георгиевич Петровский.

Г.: Да, Петровский. Очень плохо читал. Я не понимал ничего... Меня всегда интересовали частные производные, как там что, но у Петровского я их не понимал...

Д.: Ау Вячеслава Васильевича Степанова всё понятно было?

Г.: Да. И я к нему на семинары стал ходить.

Я слышал также, что надо ТФДП учить. И я стал ходить на лекции Бари. Она очень хорошо читала. Я очень многое почерпнул по ТФДП как раз от Бари. Она же порекомендовала изучить книжку Натансона. На моё счастье я её у букиниста купил. И прямо от страницы до страницы я читал эту книгу. Может быть, это единственная книжка, которую я прочел от начала и до конца. То есть не то, что прочёл, а выучил. Ну, плюс еще Понтрягинские книжки. Других, пожалуй, я не помню.

Вот я начал ходить к Бари. И вскоре я очень хорошо «сошёлся» с Плеснером. От Плеснера впервые «повеяло на меня Западом» *(примеч. Д.: напомним, что Абрам Иезекиилович Плеснер, переживший в СССР из Германии в 1930 году, тогда ещё работал на Мехмате МГУ, но в 1949 году, в ходе развернувшейся в*

стране компании «борьбы с космополитизмом», был с факультета уволен). Несмотря на то, что я уже вроде как был тут, в центре Москвы, и так далее – это был представитель других людей! И даже математика у него какая-то другая была... И многие специальные вещи из математики я выучил именно от него. И я даже подружился с ним! Домой к нему я, правда, никогда не ездил, но на Мехмате мы постоянно встречались. Он сам назначал наши встречи...

Д.: А он по-русски уже хорошо говорил? Или Вы по-немецки говорили?

Г.: По-русски он уже говорил, но с колоссальным акцентом. Да и по-немецки я тогда говорил неплохо... Но мы говорили с ним по-русски.

Я вот как раз насчет языка хочу вам сказать. У меня как раз с Плеснером и с семинаром Немыцкого и Степанова есть воспоминание. Мне дали один доклад. Степанов меня похвалил, Немыцкий похвалил. И мне дали второй доклад, уже более трудный. Дали теорему Брауэра о неподвижной точке со степенью отображения. И Немыцкий мне сказал, чтобы я пришел к нему домой за оттиском для подготовки. Тогда оттиски только были... Это сейчас всё можно с интернета скачать, а тогда любой оттиск, любая книга – это было нечто!

Я уже к тому времени – через месяц или два – начал ходить в библиотечный кабинет. Это имело колоссальное значение для меня, для развития... Очень я любил там сидеть, там было много книг, которые я иначе никогда бы не прочел. Я читал и по-английски, и по-немецки. По-французски я потом выучился... Одним словом, взял я этого Брауэра, и когда дома раскрыл – пришёл в ужас! Это было по-голландски! Представляете? Я не знал, что мне делать. Я звоню Плеснеру – слышал, что он жил в Голландии. «А, говорит он, – по-голландски? Не беспокойтесь. Приходите, давайте встретимся». Я пошёл к нему. Вернее, на встречу с ним на Мехмате. И он говорит: «По-английски и по-немецки вы знаете. Так начните это читать просто громко – и всё поймете. Прямо то, что видите – так и читайте». И потом он мне рассказал известную историю. Вы, говорит, не первый, который жалуется, что Брауэр эту статью написал по-голландски. Целое поколение по этой статье училось. И когда кто-то из известных математиков спросил его, почему он её написал по-голландски, а не на общепринятом каком-нибудь языке, то он ответил, что «это же простой голландский!».

Ну и доклад этот я сделал. И вот это был мой второй курс. А с третьего курса я уже попал ко Льву Семёновичу.

Д.: Скажите, первая Ваша курсовая работа была на втором курсе?

Г.: Не было у нас тогда курсовой работы на втором курсе.

Д.: А на третьем? Тоже не было?

Г.: На третьем Колмогоров дал нам задание по анализу-3.

Д.: Это типа практикума?

Г.: Да, это практикум и был. У меня курсовая работа была только одна, на пятом курсе. Я был уже у Понтрягина.

Д.: То есть была только дипломная работа?

Г.: Ну, в общем, да...

Д.: Хорошо. У Льва Семёновича Понтрягина Вы стали заниматься с третьего курса?

Г.: Да.

Д.: И быстро ли Вы вошли в круг его ближайших учеников?

Г.: Ну... да, очень быстро. По-моему, он чувствовал, что я был потрясён увиденным.

Вот он известные мне вещи объяснял – и они принимали совершенно другую форму! Абсолютно другую! Получалось, что я не знал всего этого. То, что я знал – я не знал!

Я сразу понял, что я не знал математики. Я знал теорию функций. Я знал, там, теорему Радона-Никодима уже к концу второго курса – Бари нам читала... Но я понял, что я не знал ничего! И что надо было учиться совсем по-другому!

Д.: И Лев Семенович был терпелив?

Г.: В нём не было ни капли высокомерия! Никакого снобизма! Наоборот, он готов был повторять и повторять...

Правда, к концу жизни ему стало трудно, и он этого уже не делал. Не любил о математике к концу жизни много говорить. Но тогда он был готов объяснять, ну самому тупому из всех, что это такое, и что это не так уж и сложно, и что это есть каждодневная жизнь, и так далее.

Это очень трудно передать. Но можно показать на конкретных примерах, если сопоставить, насколько математический образ, который у вас был по поводу какого-нибудь конкретного предмета, отличается оттого, что о нём говорил Понтрягин.

Как он подходил, допустим, к той же линейной алгебре, которую, как мне казалось, я знал вдоль и поперек. Нет, не знал! Ничего не знал – это я понял сразу. И я понял, что если упущу возможность сойтись с Понтрягиным, то всё – настоящим математиком никогда не стану. Такое было моё впечатление от Понтрягина.

Вот Колмогоров – он по-другому на меня произвёл впечатление. Удручающее впечатление на меня произвёл...

Д.: Понятно почему: Андрея Николаевича иногда трудно было сразу понять...

Г.: Не только поэтому. У него было какое-то скрытое высокомерие! У Гельфанда оно явное, а у Колмогорова – скрытое. Он понимал, что он – гений, а все остальные – идиоты.

И отношения между Колмогоровым и Понтрягиным, поэтому, осложнились на всю жизнь. Тут, я считаю, «нашла коса на камень». Ведь Лев Семенович всегда мгновенно понимал и чувствовал любую интонацию вашу. Прямо как будто вы излучали какую-то волну, и эту волну он ловил.

Д.: После окончания Мехмата МГУ, кажется, в 1950 году, Вы стали аспирантом нашего факультета. Как проходили Ваши вступительные экзамены в аспирантуру? Кто Вас экзаменовал?



Г.: Экзаменовал меня Немыцкий Виктор Владимирович. Он меня знал. Спросил лишь про первые интегралы. Это я знал хорошо.

Лев Семенович сидел рядом. Немыцкий знал, что Лев Семенович меня хочет обязательно взять в аспирантуру. Вот Виктор Владимирович и говорит, что я, мол, знаю Гамкрелидзе, но, всё же, надо спросить у него что-нибудь. Например, что такое первый интеграл? Он и спросил это. И это был весь мой экзамен.

Д.: На кафедре дифференциальных уравнений Мехмата МГУ Вы проработали с 1952 года по 1959 год ... Или, извините, Вы не работали на кафедре дифференциальных уравнений?

Г.: По кафедре дифференциальных уравнений я вёл упражнения. Не помню точно, в какие годы... По Понтрягинскому курсу. Он читал лекции, а я упражнения вёл. Я был совместителем.

Д.: На кафедре дифференциальных уравнений в те годы работал приглашённый Иваном Георгиевичем Петровским из Тбилиси Илья Нестерович Векуа...

Г.: Да, он был профессором. Он и деканом был.

Д.: Так это же в Новосибирске!

Г.: И, кажется, на Мехмате МГУ.

Д.: Нет, нет! На Мехмате МГУ Векуа никогда не был деканом. Он был профессором. А ходили ли Вы на его семинар?

Г.: Нет, не ходил. Он совсем другой был.

Д.: Другой в смысле «отвлечённый» от Ваших интересов? Но Вы с ним, конечно, были знакомы?

Г.: Да, мы с ним очень хорошо были знакомы. И довольно близко. Но «математически» у нас ничего общего не было.

Д.: Понятно. С написанием кандидатской диссертации Вы уложились в срок? За три года написали диссертацию?

Г.: Да, да. Даже раньше. И я лично считаю, что моя кандидатская диссертация – лучшая моя работа.

Д.: Она была посвящена топологии, да?

Г.: Да. Я нашёл все циклы Черна комплексных алгебраических многообразий. Это очень трудная была задача! Очень трудная и очень важная в то время.

Д.: А постановка была от Льва Семёновича?

Г.: Да, конечно! Лев Семёнович мне говорил, что не верил, что это получится. Там надо было... Ну, ладно уж, что сейчас подробно говорить.

Но фактически передо мной были две задачи. С одной стороны, надо было для некоего многообразия - обобщенного многообразия Грассмана – все эти гомологии вычислить. Уже одна эта задача была трудной, вычисления там надо было проводить очень большие. И это была лишь вспомогательная часть. А с другой стороны, потом, надо было строить на них векторные поля, индексы вычислять и так далее. И вот это было уже очень трудно.

Но как-то со всем этим мне удалось справиться. Я сейчас сам удивляюсь, что я всё это проделал. До таких трудных вычислений я, после этого, никогда не доходил. Правда, в оптимальных процессах немножечко было.

Д.: А где происходила защита? В «Стекловке»? Или на Мехмате МГУ?

Г.: На Мехмате.

Д.: И кто были оппоненты?

Г.: Оппонентами были Евгений Борисович Дынкин и Павел Сергеевич Александров.

Тогда Лев Семенович решил, что он оставляет меня в Москве навсегда. Ему очень эта работа понравилась. Я знаю, что он сам хотел это сделать. Но поскольку там вычисления были очень большие, то решил эту проблему отдать кому-нибудь из своих учеников.

Итак, Павел Сергеевич Александров и Евгений Борисович Дынкин были моими оппонентами.

Евгений Борисович всё очень подробно посмотрел, очень меня хвалил. Я был более всего рад, что Евгений Борисович меня хвалил.

А Павел Сергеевич ... Он не понимал всего этого. Он занимался совсем другими вещами.

Д.: После защиты кандидатской диссертации Вы не выбрали в качестве основного места работы Мехмат МГУ, а ушли работать в «Стекловку». Преподавательская деятельность Вас просто не прельщала?

Г.: А меня Лев Семенович взял сразу в «Стекловку». Я же был под полным влиянием Понтрягина, он был моим ментором. Что он мне предложил, на то я, даже не задумываясь, согласился. А особой тяги преподавать у меня, действительно, не было.

Д.: В 1960 году Вы защитили свою докторскую диссертацию. Кто были по ней оппоненты, и где происходила защита?

Г.: О! В «Стекловке» защита проходила. Ведь я был тогда сотрудником «Стекловки» ... А кто были оппоненты? Никольский был...

Д.: Сергей Михайлович.

Г.: Сергей Михайлович, да... Потом был Гантмахер – его я сам нашёл. И Никольского тоже. А кто был третий? ...Надо же, забыл.

Д.: Ну ладно, двоих вспомнили...

Теперь очень меня интересует такой вопрос. С 1961 года Вы – главный редактор реферативного журнала «Математика», издающегося в ВИНТИ. Там же, как я понимаю, Вы инициировали издание в серии «Итоги науки и техники» подсерии «Современная математика и её приложения». Вас сманили на эту работу или редакторская деятельность Вам всегда была по душе?

Ведь этот труд, безусловно, очень важный и почётный, требует исключительно большого напряжения сил.

Г.: Нет, на работу в ВИНТИ мне очень не хотелось идти!

Сергей Михайлович тогда занимал пост главного редактора Реферативного журнала. У него в то время было разочарование во всём, потому что Бернштейн был против его избрания в академики. Бернштейн всегда его проваливал. И когда в очередной раз его провалили – он решил плюнуть на всё. Такое у него было настроение. И из близких людей – а мы с ним всегда были в хороших отношениях – он решил, что «замдиректорство» в Стекловке можно передать Мищенко Евгению Фроловичу, а мне «главное редакторство» в ВИНТИ. Я говорил: «Нет, Сергей Михайлович, я не смогу». А он в ответ: «Да нет, Реваз Валерианович, у вас это получится хорошо». Одним словом, долго уговаривал. И, в конце концов, я согласился. Я подумал: ну, давай я что-то сделаю, потом будет видно.

Д.: А саму серию «Итоги науки и техники» Вы тоже активизировали?

Г.: Так всё я активизировал, там вообще ничего не было! Правда, в ВИНТИ был Дмитрий Юрьевич Панов - первый его директор, и существовал Отдел математики, в который входили, как раз, Никольский и Панов. Но всё там было на очень примитивном уровне.

А меня всегда интересовало, что происходит в современной математике, какие книги выходят, кто у нас из этих известных авторов. И эта моя тяга мне помогла, когда я создавал «свою» подсерию...

«Общая» серия «Итоги науки и техники» существовала с 1957 года. А вот математическую подсерию «Современная математика и её приложения», которая потом стала знаменитой «энциклопедией», создал я.

Меня как-то осенило, что у нас только на одном Мехмате МГУ сидят десять гениальных математиков! И они простаивают. Их плохо печатают, и они всё время у кого-то что-то кланчат. А у меня, вроде бы, есть возможности.

Директором ВИНТИ был тогда Александр Иванович Михайлов (*примеч. Д.: годы его жизни – (1905-1988), директором ВИНТИ он стал на смену Д.Ю.Панова в 1956 году, и пробыл таковым до своей смерти*). Это был замечательный человек, «открытый» для всех новшеств! Плюс к тому у него был большой авторитет в ЦК КПСС. И в КГБ, без которого у нас никогда ничего не обходилось, у него тоже было большое влияние. И везде его слушались. У него же были большие заслуги во время войны: он

был директором военных авиационных заводов, и так далее. И он мне очень помогал во всём. Он в меня верил: то, что я предлагаю, не будет плохо. Что я понимаю то, что я хочу делать.

Впрочем, сначала я хотел сделать это через Академию Наук или через издательство «Наука». Но на меня «настучали»! И Ивану Матвеевичу, и Льву Семёновичу... Я думаю, там очень плохую роль сыграл покойный Яблонский... Вот тогда-то мы впервые повздорили с Понтрягиным. Один раз в жизни! Правда, ненадолго. Мать его сказала: «Лёвочка, что ты делаешь! Как можно сердиться на Реваза из-за такого пустяка?» Так он начал «топить» за что-то, я уже не помню, за что, Юру Прохорова. Видимо, потому что Владимирова очень не любил Прохорова - они даже не разговаривали.

Д.: И до сих пор у них такие отношения?

Г.: Нет, ну теперь что... Если до сих пор у них такие чувства есть, так это даже хорошо.

Я тогда на «книжной комиссии» проголосовал за Прохорова, причём открыто. Льву Семеновичу сказал – я так считаю, я за Прохорова. И главное, он должен был «в моей энциклопедии» что-то написать. Я говорил – я за то, чтобы и Гельфанд был у меня. И, не спросив никого, пригласил Гельфанда. Гельфанд позвал своих учеников, и так далее.

Я вдруг понял, что вокруг столько выдающихся личностей – и ничего не делается! Ау меня был замысел – я хотел сделать так-то и так-то, и довольно конкретно.

И тогда мы собрались. Были Арнольд, Новиков, Кириллов. Были Семён Гиндикин и Гена Хенкин – их прислал Гельфанд. С Игорем Ростиславовичем Шафаревичем мы тоже всё обговорили до этого... Кто там ещё был?.. А, Юра Прохоров и Юра Манин. Кострикин тоже: хотя тогда он ещё не был мэтром, но я с ним был дружен...

Д.: А Яков Григорьевич Синай тоже был?

Г.: Нет. Синай не был. Да, по поводу Манина и Арнольда. Мне, например, Манина всегда было интересно читать. А Арнольд, со своими полемическими статьями, я считаю, просто эпатировал читателей! Нет, он на самом деле так думал, что математика – это физика, и так далее. Он там что-то утверждал, не понимая, что говорит не столько о математике, сколько о творчестве в математике. А творчество, действительно, одно и то же – что в физике, что в музыке, что в математике.

Вот когда Бетховен писал свою девятую симфонию, он этого не слышал, а просто видел – хороший музыкант по партитуре музыку ценит. Есть даже знаменитый анекдот по этому

поводу, как Прокофьев и... американский наш, русский, композитор...

Д.: Стравинский?

Г.: Да, Стравинский! Так вот, Прокофьев и Стравинский сели, открыли партитуру Пуччини и начали смеяться-смеяться!

И действительно это так! ... Вот когда я учился музыке, на сольфеджио мы ходили. Там есть всякие правила. И по ним задачки решают.

Д.: Я немного занимался сольфеджио.

Г.: Ну вот! Тут же наш педагог перечёркивал и ставил двойку, если видел параллельные движения или унисон! Нельзя! Нельзя так партитуру писать!

А в «Тоске», в финале первого действия, есть знаменитое место, где Скарпиа и хор поют «а капелла». И поют в унисон и параллельно. И это – одно из самых потрясающих мест во всей опере! Но ведь это – разные вещи.

Так вот, Манин – думающий математик!

Д.: Я интервьюировал Игоря Ростиславовича Шафаревича, и спросил его про Юрия Ивановича Манина. Он сказал так: «Ранний Манин мне очень нравился, а позднего я не очень понимаю».

Г.: Правильно, математика – это ранняя наука. Позднее – это потом, когда идут уже наслоения, и так далее. И заумные какие-то вещи, опирающиеся на ранние свои результаты.

Ведь в математике уже много чего создано. И схемы, и пучковые когомологии. Вот это – современная математика! Понимаете, это имеет будущее. Через это будет идти будущая математика. Но это, конечно, моё восприятие.

Вот сейчас Лоувэра книжка вышла. Есть такой новый, поднимающийся сейчас американский математик... Он уже довольно известный... по категориям, и так далее... Так он написал книжку «Концептуальная математика» (*примеч. Д.: имеется в виду книга Francis William Lawvere, Stephen Schanuel «Conceptual Mathematics»*). Я её купил в Германии. Она там только что появилась, а я там как раз был. Вот она! Очень интересная книга (*примеч. Д.: Реваз Валерианович показывает книгу*). Она вообще абсолютно элементарная как будто. Это теория категорий, больше ничего. И немножечко теория множеств. Но если бы я был сейчас помоложе, я бы тут же пригласил бы его написать в мою серию что-нибудь!

Ну так вот, собрались мы все вместе. И сразу же поднялась против меня кампания. Иван Матвеевич сказал, что «я и не думал, что Гамкрелидзе, не спросясь нас, что-то сделает». Даже

эмоциональный Лев Семенович выступил против моей затеи... Было целое заседание в Отделении. Там Колмогоров был... А Боголюбов председательствовал! Представляете!? Тогда Боголюбов был вообще недосыгаем. Но он понимал, что это просто мышьяная возня, и молчал. А остальные выступали...

Вот тогда-то Александр Иванович Михайлов сказал: «Реваз Валерианович, раз математики такие строптивные, то давайте у нас это сделаем». Ну и вопреки всему я это сделал в ВИНТИ.

Д.: И, кстати, очень хорошо всё получилось - ведь у Вас появилась некоторая независимость. В «Стекловке» Вы многое не смогли бы...

Г.: Да, я хотел независимости! Я вам скажу: самое трудное для меня тут было бы не находить авторов, а отвергать их.

Я помню, что когда я пригласил Мишу Шубина и Юру Егорова написать обзор по частным производным, то «Тихоновская группа» это восприняла как...

Д.: Контрреволюцию?

Г.: Да, да, как какое-то оскорбление страшное! Мне позвонил... Самарский. «Реваз Валерианович – говорит - что вы делаете? Как их можно приглашать!». Даже сказал мне: «Как же вы себя плохо ведёте! Вот я был в Тбилиси тогда же, когда и вы там были ...». А у нас, как-то, там одновременно были две разные конференции. Так он припомнил мне, что я его там даже не пригласил ни к себе, ни на вино, понимаете? «Вы – говорит - в Тбилиси ни разу не пригласили меня к себе!» А я ему в ответ: «Александр Андреевич, а вы меня в Москве часто к себе приглашаете?» Тут он, правда, понял, что перегнул палку, и сразу: «Ну давайте не будем ссориться». Я отвечаю: «А я с вами и не ссорюсь!».

Д.: Понятно! Теперь вот такой вопрос: Вы, как и Ваш брат, дважды академик: с 1969 года Вы являетесь академиком АН Грузинской ССР, с 2003 года – академиком РАН. А сейчас, в непростое время взаимоотношений Грузии с Россией, Грузинская академия наук приглашает Вас, живущего в Москве, на свои заседания в Тбилиси?

Г.: Да, конечно! Ведь мой брат сейчас даже президент Грузинской Академии наук. Живет он в Тбилиси. И, естественно, у меня с Грузинской Академией очень тесные связи.

Д.: Ау них, наверное, ежегодные заседания бывают?

Г.: Да, как в обычной советской академии. То же самое продолжается.

Более того, я там издаю математический журнал на русском языке. Этот журнал переводится на английский от начала до конца – и он в мире очень ценится.

Вот мехматский журнал Михалёва переводится «Шпрингером» на английский язык. А я в Грузии издаю журнал на русском языке. Но за ним сейчас нужен глаз да глаз: русские тексты грузинским авторам трудно писать, они уже всё позабыли.

Д.: Вашим соавтором был окончивший в 1956 году Мехмат МГУ и работающий ныне в Тбилиси Гурам Леванович Харатишвили.

Г.: Он, бедный, уже погиб! Погиб несколько месяцев назад, нелепо: он спустился в гараж починить там машину, представляете, и упал в яму! Там у него была автомобильная яма.

Д.: А он был Вашим учеником?

Г.: Да, он у меня защищался. И его результат я даже внёс в нашу совместную книгу.

Д.: Печально, что он уже погиб!

Ну, у меня вопросы уже идут к концу. Разрешите ещё личный вопрос: кто по профессии Ваша супруга – если можно, её имя и отчество? Есть ли у Вас дети, и чем они предпочли заниматься?

Г.: У меня супруга Екатерина Федоровна Семерджиева. Она скульптор. Я вам покажу, как она сделала мою скульптуру – небольшую, бронзовую.

Мы очень дружили с главой «Шпрингера» – так она сделала и его скульптуру. Он уже умер, а скульптура его стоит у входа в «Шпрингер».

Там все основатели стоят. Скульптуру его предшественника, например, сделала сестра Германа Вейля. И ему самому страшно хотелось найти математика, супруга которого скульптор... Когда же он узнал, что моя жена – скульптор, то он был просто счастлив. И она, действительно, сделала его скульптуру. Получилось ничего – сейчас я вам покажу фотографии, которые я сделал, когда там был последний раз. Вот они. Вот это там стоит у «Шпрингера». Вот посмотрите, вот. Очень похож! *(примеч. Д.: Реваз Валерианович показывает снимок на мобильном телефоне).*

Д.: Да, здорово! Ну а дети?

Г.: Дети ... У жены есть дочь от её первого брака. Ау нас совместных нет...

А это чтобы вы оценили, похож я тут или нет *(примеч. Д.: Реваз Валерианович приносит скульптуру, изображающую его сидящим в кресле).*

Д.: О-о! Это её работа, да?

Г.: Да, её. Это когда мы жили ещё в однокомнатной квартире. Я занимался в кресле, и она как-то подглядела...

Д.: Да-а! Хорошо! Похож!

И последний мой традиционный вопрос: довольны ли Вы как сложилась у Вас судьба и ни о чём ли Вы не жалеете?

Г.: Судьба? Философский очень вопрос... Нет, конечно, я вам скажу, что жизнь – это, вообще-то говоря, цепь утраченных возможностей. Но одну возможность я, к счастью, не упустил, когда встретился со Львом Семёновичем.

Д.: Да и в целом-то у Вас всё здорово «сложилось».

Г.: Это со стороны так кажется. А утраченные возможности – жизненная закономерность. Я так считаю. Если бы мне пришлось повторить свою жизнь сначала, то, примерно, то же самое получилось бы. У меня такое впечатление.

Д.: Скажем, Вы бы всё равно стали бы математиком, а не музыкантом?

Г.: Теоретически стать музыкантом для меня было бы не исключено. Но если в жизни человека нет явных катаклизмов, то отклонения от намеченного ему пути, при последующем «усреднении по индивидуумам», будут очень маленькими. Я так думаю. Поэтому сам Ваш вопрос – это чисто статистический вопрос. К отдельному человеку он большого смысла не несёт.

Д.: Большое спасибо, Реваз Валерианович, что Вы согласились на это интервью. В заключение позвольте мне от души пожелать Вам доброго здоровья и исполнение всех Ваших дальнейших замыслов.

Г.: Вам спасибо, Василий Борисович, что столько времени на меня потратили. А я, наверное, ничего вам не рассказал особо интересного.

Но подождите-ка! Поскольку у меня есть ученики, которые сейчас живут в Италии, а я их, в своё время, приучил к хорошему вину, то они мне всегда присылают, или сами привозят, отборное итальянское сухое красное вино. А в Италии, после Франции, лучшие в мире вина. Так вот, одну из таких бутылок я и хочу вам предложить попробовать.

Д.: Итальянское сухое красное вино? С большим удовольствием!...

Июнь 2010 года



Шуламит Шалит
Писать стихи –
чувство сладкое
(Авот Иешурун, 1904-1992)



умы современного города. В Тель-Авиве, как и повсюду, сносят дома, а возводят небоскребы. Но некоторые все-таки додумались сохранить, хотя бы для истории, такие ставят на капитальный ремонт.

Авот Иешурун жил в доме № 8 по улице Бердичевского, когда бульдозер установили перед № 4. Сам писатель Миха Йосеф Бердичевский умер в Германии в 1921 году, до Израиля, как это сделала через 15 лет его семья, жена и сын, так и не добрался, но после его кончины одну из тихих и уютных улочек недалеко от театра "Габима" назвали его именем. Иешурун тут знал каждый камень, все двory, дома и людей. И это знание стало темой не одного его сочинения, о чем мы еще расскажем.

Поэт видит, чувствует острее, чем мы. Может, ему больнее. "Пришёл бульдозер. Сначала разбили карниз. Потом входную дверь. Здесь жила и Дворэле, та, что ненавидела соседей. "Включая тебя", – говорила она. И ещё женщина. Муж бросил её и пошёл кочевать в Америку, будто бы кантором стать захотел. Всё рассыпалось – со штукатуркой, сажей и пылью. Дом номер 4 – скелет – он без внутренних органов. Проёмы вместо дверей. И дыры вместо окон. Дом как мужчина с длинными ногами. Белыми, в трусах. Вышел подышать воздухом..."

Грохот бульдозера сменяют удары пореже. Иешурун просыпается рано. К редким ударам привыкнуть легче. Они перемежаются возникшими ниоткуда странными звуками музыки. Прислушивается. Надо записать, что музыка больше стихов, ибо музыка рождается сама по себе. Без слов. А поэт начинает со слова.

"С моего – тоже". Это тяжело. Почти каждое поколение привносит что-то новое, другое, непохожее. Многие брюзжат. Он – нет. У него душа не старится. Ему всё интересно. А вот Иешурун вслушивается в новые ритмы.

Когда он родился, и имя у него было другое, и музыка звучала другая. А теперь он слушает музыку конца XX века. Да, скоро XXI. Хочется узнать – что потом. Последние годы стал прибаливать. Опирается теперь на палку. Был высок, с густой чёрной шевелюрой. Но никто его таким больше не помнит. Всех он пережил. Сейчас седой как лунь. Черты лица крупные. И люди не всегда могут понять, куда он смотрит, на мир или в себя. Задумчив. Отрешён.



Всегда один. А. Иешурун в кафе "Касит"

Рассказывают, да и не раз описано, что в литературном кафе "Касит" у Альтермана и Шлионского был свой стол – у каждого в отдельности. Один со своими друзьями и почитателями. Другой – со своими. Шлионский много говорил. Альтерман много молчал. Входили новые посетители. Здоровались. Садились. Звучало старое танго "Утомлённое солнце". Иногда все-таки сидели за общим столом. Всегда за отдельным столиком, тоже своим, сидел Иешурун. Рядом с ними, но не вместе. Он сам по себе. Не принадлежал и не приставал ни к какой школе, ни к какому течению. Не старался слыть оригинальным. Оригиналом был. В одном интервью, которое взяла у него дочь, Хелит, тоже литератор, переводчик, издатель журнала "Хадарим" (выходил более двадцати лет, до 2004 г.), она говорит: "Прости меня за прямоту, но мне кажется, что смерть Альтермана раскрепостила

тебя, освободила". Сам же он заявил как-то, что из современников выделяет Ури Цви Гринберга, считая, что его "подлинность (он использует слово «аутентичность») – сама душа нации, все, чего поэт опасался в своих стихах, все, о чем знал и что предсказывал заранее, случилось с нами!"

Мы говорили, что он всегда был одинок, но на склоне лет его муза обрела вдруг второе дыхание. Возможно, это было связано с тем, что его вдруг и как поэта и как личность открыла молодежь. Как когда-то в Москве вокруг Павла Антокольского, горячего, доброго, буйного, бродили толпы молодых поэтов, так и тут вокруг седого льва Иешуруна появилась поросль не сыновей, а внуков, лоящих каждое слово, дышащих его стихами, обожающих, страстных почитателей его таланта. Ему можно было позвонить. Номер его дома не был засекречен. Адрес можно выбросить из телефонной книги, но в стихах он остался навсегда.



Поэт Авот Иешурун

При рождении его звали Иехиэль Перельмутер. Во втором томе трёхтомной работы Исраэля Зморя "Литература на перекрёстке поколений", изданной в 1949 году, есть небольшая глава, которая так и называется "Иехиэль Перельмутер". Уже тогда критик отмечал оригинальность манеры письма, необычность не только содержания, но и языковых средств, которыми это содержание передано.

Мать его происходила из религиозной семьи, жившей в местечке Нескиж, недалеко от Ровно, но там он только родился, а родиной своей считал Красновостав (по-польски Krasnystaw – на

полдороге между Люблином и Белгораем, памятным по Башевису-Зингеру). Здесь семья поселилась, когда ему исполнилось пять лет. Именно и только Красностав жил в его поэтическом видении более полувека, став некой вполне реальной точкой на геолитературной карте Израиля. Он подробно описывал этот городок не только потому, что сам жил в нем, – вся его семья там погибла в Катастрофу. Чувство вины не оставляло его уже никогда. Он спасся, они нет. Они писали ему, он почти не отвечал. Много лет он не мог заставить себя коснуться этой темы вообще. Но однажды собрал пожелтевшие листочки писем, в основном, на идише – от матери, сестры Леи, двух братьев, сложил все в ящик стола, понемногу стал доставать их, читать, перечитывать, потом переписывать фразы, кое-что почти дословно переносил в стихи... Страдал. Сказал, пока страдает, чувствует, что у него есть семья, есть дом. За десять лет до кончины отдал все письма в литературный архив. Но до этого издал книжку "Тридцать писем" (на самом деле их было раза в два больше), где писал: "Возвратись, душа, к месту дома твоего, чтобы проститься".

Откуда ты идешь
и куда ты приходишь. –
я не прибуду
никуда.

Ибо все хождение мое
туда в это оттуда.
Ибо небытие бытует.
Несуществующее существует.

И в этом бытийном отсутствии ты напиши
продуманно.
Ясно. Точно.
Все то, чего нету в том, что есть.
В том, чего нету,
есть все то, что есть.

Каждый, кто приходит оттуда, оттуда.
Я, словно пес, вбираю запахи одежд.
Это отец мой, это моя мать, и братья и сестры
прямо перед глазами
и весь КРАСНОСТАВ – в окнах стоят.

(Пер. Савелия Гринберга, "Ариэль, №13, 1992)

И мать с отцом, и братья, и сестра – все ушли. Он оставил их. И все погибли. А в душе все живы. Их образы бережат ему душу. А поэту в нем благодаря – они живы и останутся навечно в его книгах.

Послушайте, как причудлив ход его поэтической мысли. Он сравнивает судьбу матери и его самого с судьбой Ешу-Иисуса и его матери Мирьям-Марии: "вот они на стене рядом, Он не расстался с матерью. А сын моей матери оставил ее и не быть им на стене рядом. Сын Марии не покинул ее и заплатил за это своей жизнью. А он, Иехиль, спас свою жизнь от нацистов, но заплатила за это его мать".

Затем он видит своего отца. Он помнит, как "отец, большой и сильный, крепким шпагатом завязывал мешки с зерном, с мукой". Ах, если бы ему сегодня быть в этом мешке, и чтоб отец завязал его шпагатом и положил к себе на спину. Лечь на отцовскую спину... Коснуться родных людей, сказать какие-то слова, просто увидеть их...

Тема гибели европейского еврейства заполонит мысли, сердце, творчество. Но все это произойдет потом.

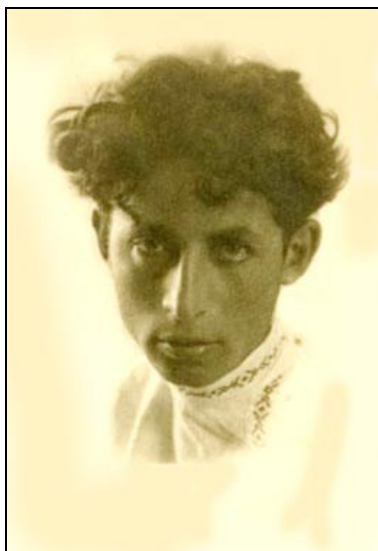
В двадцать лет, когда он приехал в страну Израиля (1925), все здесь ошеломило – иврит, море, бесконечные пески, цитрусовые плантации, новые люди, и свои и чужие – в бедуинах он видел чуть ли не библейских евреев. Зарабатывал свой хлеб нелегко: корчевал камни, осушал болота, трудился и на цитрусовых плантациях и на строительстве, узнал и сельскую жизнь и городскую. Собственной крыши над головой долго не было. И при этом он жил полной, невыразимо яркой жизнью, где не оставалось места прошлому. В те годы он не упрекал себя за душевную черствость по отношению к самым дорогим людям, беззаветно его любившим. Нежность ютилась где-то внутри, но, видно, слишком глубоко, чтобы как-то проявляться. Пытался объяснить себя потом, но не оправдывал, казнил...

Он много читал еще до приезда в Израиль.

"В Люблине, где я рос, в нашем местечке Красностав, и в семьях и в общине все вопросы решались привычно, рутинно – на все имелся религиозный постулат, притча или пословица на идише – они являлись инструментами мышления. Иной способ мышления, индивидуальный, воспринимался как нарушение нормы" (из монолога А. Иешуруна, записанного писательницей Рахель Эйтан в далеком 1965 году для газеты "Ха-Арец" и перепечатанного в том же издании 25.10.2012).

Он рассказывает, что уже в ранней юности жаждал знаний. Кроме еврейской литературы, религиозной и светской,

интересовался и польской, читал в подлиннике Юлиуша Словацкого и Адама Мицкевича, чтение их стихов наполняло и его желанием обрести, как писал Словацкий, "неземную силу, расправить крылья, взмыть в высоту". От этих слов все привычное становилось в тягость, хотя он признается: когда начинала мучить зависть к этим поэтам, он успокаивал себя тем, что "Свиток о пламени" Бялика "посильнее"... Да, и сионизм стал для него тогда "источником национальной гордости". Это сионизм спас их, еврейскую молодежь, "от стремления к ассимиляции". Они "взяли на вооружение" иврит (интересно, что сефардское звучание он и его друзья считали певучим, ашкеназский иврит резал им слух!), а это было трудно – принять новый язык вместо родного идиша, на котором "плакал, любил, ругался и еще долго видел на нем сны".



Авот Иешурун (тогда Иехиэль Перельмутер) в юности

Из того же монолога: "Как во мне рождается желание писать стихи? Так, как рождается к чему-то любовь. Я хожу, вижу, чувствую нечто, и это чувство такое сладкое, что я никак не могу его успокоить – и тогда начинаю писать. Представьте себе верблюда. Я ведь должен любить коней и писать о них. Что мне в том верблюде? Горбат, со слабым хребтом, никакого в нем величия. Но почему-то при встрече с ним я чувствую, как мое сердце окутывают тепло и глубокая нежность".

Первый цикл стихотворений Авота Иешуруна опубликовал в 1934 году один из журналов. Сестра Лея писала, что эта публикация дошла до Красностава, и что его семья очень гордится им. Как обычно – не ответил. Он пишет много, экспериментирует. Вызывает споры. Он создаёт свой мир, своё физически осязаемое пространство, организует этот мир посредством особых норм стихо-творения, стихо-сложения, органически использует идишские слова и сочетания слов. Это похоже на то, как в однотонную ткань вдруг вплетается цветная нитка, и ткань начинает играть и переливаться новыми оттенками. "Я принёс в иврит слово от моей мамы". Для него обязательны не только огласовка, но и указание полной даты написания стихотворения, и еврейской и григорианской, а иногда и время дня – утро или вечер, он употребляет и сленг, у него есть нарочитые грамматические ошибки, искажения. Классической строфики, как в его же стихах, типа: "Рожденья миг святой. И смерти миг святой. / Святое есть в отдать. Святое в слове – взять" - у него очень мало.

Придумал название языка: "Тель-авивритский язык". Гали Дана-Зингер переводит иначе, оспаривать не буду, приведу все стихотворение "Да будет в кайф" в ее переводе:

- Я сержусь на тебя и люблю тебя.
- Я сержусь на тебя и хвалю тебя.
- Почему ты сердишься на меня?
- Ты сказал.

- Я сказал, чтобы быть причастным,
не быть фраером и чевихой не быть.
Да будет тебе в кайф природа,
сотворившая тебя.

я оставил страну. я оставил язык. я оставил народ.
я оставил город. я оставил перельмутеров евреев.
оставил их язык.
я оставил отца, я оставил мать, я оставил братьев
и сестру.
пошел я в землю страны израиля тель-авивскую и
взял язык
еврейский тель-авиврейский.

Сам уход – это точка.
Уход не вернуть.
После ухода всегда следует почто
меня оставил. И нет конца словам.

Они возвращаются ко мне словно росы пчел,
сверкают словно капли ос на восходе над
простором реки.

Разве я взял чью-то землю?

И кто вернет мне землю Краснистава?

(с сайта: <http://m.booknik.ru/publications>)

На русском языке об Авоте Иешуруне, когда я решила сделать о нем радиопередачу, а он еще был тогда жив, не было ничего. И я рада, что сегодня с его творчеством можно познакомиться и на русском языке. Не скажу, что он близок мне как поэт, но своей необычностью и непохожестью на других, точно так же, как Эльза Ласкер-Шюлер, бесконечно интересен.

Ури Цви Гринберг был старше Иешуруна на 8 лет. В стихах Гринберга пустыня – только переход от европейского пейзажа, оставшегося в памяти детства, к утопическому пейзажу возрождённого Царства Израиля. Может, поэтому у его пустыни нет голоса. У Иешуруна пустыня иная. Один приехал в страну Израиля в 1924-м, другой, Иешурун, всего годом позже, но чувствует он и пустыню и песок иначе – для него они живые, он описывает пустыню, как будто слыша её голос. Европейец, он с интересом вникает в арабскую речь, дивится тому, как спокойно ступают по раскаленному от солнца песку бедуины, ему нравится соотносить себя с незнакомым ему миром. "Песок земли шершав. На ощупь – пергаментное письмо. Ступня научена песочному ожогу".

Ступня как орган осязания этой земли... Как для народа Библии обязательно знание письма, письменности, так для народа пустыни важно приспособиться к жизни в этой пустыне, к ходьбе по горячей земле. Впрочем, когда поколение поэта прибыло на эту землю, то и она еще почти вся была пустыней. Иешурун записывает: "как опытный глаз скользит по письму, так опытная нога одолевает пустыню – и тому и другому надо учиться". Он готов исходить его, новое отечество, вдоль и поперёк, ногами, отдаваясь жаре и безбрежности пустыни, которую Иешурун с удивлением для самого себя чувствует почти экзотически.

Это тема ранних стихов. Но и в более поздних он может написать, что Тель-Авив начинают заселять "бедуины из Польши", то есть новый тип кочевника, оставившего дом, чтобы построить новый. Он уточняет: "покинули местечко, чтобы строить город".

После всех своих скитаний и переездов он выбрал для обитания Тель-Авив, причем, и здесь домом для него могла быть сначала и скамейка на бульваре. Не наличием стен создаётся домашний уют, – рассуждал он, – любое место может ощущаться

как дом, если материал, камень, доска, воздух вокруг прочувствованны тобой. Из книги "Капелла голосов" (1981): "Не быть в четырёх стенах. Иди к деревьям, камням. Иди в открытое пространство..." И еще: "Музыка – росток полевой. Камень – росток полевой. Даже замурованный в стену, Он – росток полевой..."

Даже замурованный, пригнанный к другому, камень у поэта сохраняет живую душу, голос поля. Поле не русское и не польское, а израильское, каменистое, где каждый метр надо отвоевать. Что значит любить свой город? "Я исходил тебя пешком, ногами, как лошадь, что ест прямо с земли, порою я отдаю свою душу... за каждый кран, что забыли закрыть". Каждый незакрытый кран, неубранный мусор – безобразие, а форма выражения может быть разная, у него – заземленность высоких чувств, чтобы скрыть пафос беззаветной любви к городу. И эта искренность граничит с отдаванием души. Мне это нравится.

Как передать обаяние поэтического мира Авота Иешуруна? Он вспоминает, как они с другом из соседнего местечка Пинхасом Лерером бродили по улицам уже родного им Тель-Авива. Заходили в разные дворы, в тишине которых их голоса отдавались эхом. Помнит эхо их беседы. Иногда хотелось пить, и губы приникали к губам кранов. В одном дворе стояла бочка с известью, в другом – пустая, а в третьем – грудка кирпича. Поздней ночью их сопровождали фамилии людей в названиях улиц. Людей не слышно, слышны лишь их имена. На каждом шагу – имя. Ещё шаг – и ещё имя. "Когда я пил воду во дворе, будто бы пил воду на своей кухне. Просто зашёл в дом и выпил стакан воды". Не тоска по ушедшему миру, а память, любовь к нему.

Тут и ритм прогулки, и беседа, и память о знакомых людях, сохранившихся в названиях улиц, и просто вкус соучастия, узнавания, ибо у каждого из нас были и есть улицы, и знакомые переходы, проходы, дворы, и история каждого фонаря... Время живёт в стихах. Поэт ввёл нас в интимный мир своей памяти, а возродил в нас память – нашу.

Иешурун – человек, для которого необыкновенно важны знаки, меты, символика и, как мы уже говорили, имя, место, дата. Он родился в миг начала последней молитвы в Йом Кипур, Судный день. Твой приговор уже подписан, ты надеешься, что твои просьбы вознеслись к Небу, и они приняты. Пост, смирение души, напряжение духа предшествовали мигу, когда он появился на свет. Родиться при звуках молитвы Нэила – и не поэт поразился бы такому совпадению. Для него этот факт был важным.

Иногда читаешь у него стихотворение, которое кажется скучным. Идёт подробное описание, как строится город, как красят и белят, вбивают гвозди. Читаешь и будто не за что душе уцепиться. Но вдруг ошарашит: "Раньше улица стояла на месте, а мы приходили к ней. Теперь дома идут на нас. Надвигаются". Ты это видишь, осязаешь. Или вдруг скажет, что нашел удачное определение: "Тель-Авив – святой город". Почему? Потому что всякого примет, и каждый находит в нем что-то свое, родной, знакомый уголок.

Он сам, к примеру, помнит, какие деревья росли когда-то во дворе и на бульваре, и сколько кошек бездомных бродило, и как собаки собирались перед мясными лавками в Яффо, и ведь его рыжая Хуми тоже сбежала с ними... И как сам он бежал, разыскивая ее, через весь город...

Веришь, что тётушку, названную им Шамешет, он не придумал, или не совсем придумал, а вот слова такого "шамешет" до Иешуруна не было. Шамаш – слуга, служка, женский род – шамашит, однако ни в речи, ни в литературе не употребляется. И вдруг соседка, которая всё знает, сообщает, что пришли двое и уволокли куда-то тётку. И собака ее исчезла. Идёт рассказ о псе, любившем свою хозяйку, и очень не любившем сумасшедшего, который изо дня в день приходил на их улицу. Он закрывал в домах ставни, трогал дверные ручки у легковых автомашин, и если ему мешали в этом занятии, проделывал ещё всякие гадости, чтобы отпугнуть прохожих, и они действительно разбежались. И только Шамешет тихонечко, как бы тайком от всех, оставляла в цветочном горшке, стоявшем в ящике с землёй, бумажный сверток. Иешурун пишет: "Никто не видел, как кошки уходят умирать. Никто не видел, когда Шамешет кладёт свой сверток с едой для сумасшедшего, но когда он приходил, собака лаяла, прогоняя его. И он дрался с собакой.

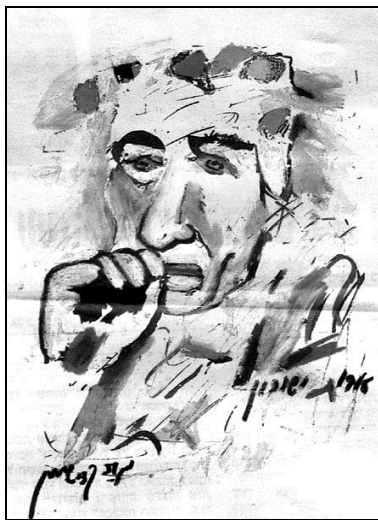
Мы видим, как они дрались – сумасшедший и собака. Происходило это во дворе. Рассказано, как выглядит двор. Вот ящик с землёй. Ящик зелёного цвета, одна доска отбита, валяется. В нем – старый засохший корень с землёй. "Смешно, – пишет Иешурун, – раньше земля держала корни, сейчас корни держат землю, да и дерево цело, когда корень питал его соками земли. Старый обрубленный корень с сухой землёй похож на паука. Листья высохли без материнского корня". *Алим ябишу бли мамэ шореш*. Использование этого словосочетания – *мамэ шореш* – по аналогии с *мамэ лоин* – материнский язык, идиш, в более широком понятии – родной язык... Поэт соединяет идишское

мамэ и ивритское слово *шореш* – корень, и это неожиданное словосочетание тонко расцветчивает рассказ...

Но еще несколько слов о Шамешет. Иешурун помнит, как "по утрам на бульваре, вон в том конце, старая Шамешет садилась на землю и кормила птиц. Сама походила на птицу под деревом. Прохожие видели: сидит птица. А как-то ночью и сам я видел сумасшедшего, он закрывал ставни. Это он закрыл ей глаза. Улица-то равнодушна. Изменить улицу как изменить время. Иногда человек остаётся в памяти тротуара. Остальное всё увезли. Всё – и старое барахло, и саму жиличку, и дерево, и вообще двор, запахи, мусор. Мусор. Вот он, может, ещё помнит её".

В этой поэме об одной улице – тысячи рассказов из тысячи городов – со своими кварталами, своими чудачками и своими бедами и надеждами. А его улица Бердичевского – вот она, в пяти минутах ходу от театра "Габима".

Бытовые сценки, рассказы из жизни дома, двора, улицы, – и возникает непередаваемое ощущение, как при чтении Фолкнера, будто знаешь тут всех – весь этот квартал, его утренний воздух и свет, особенный свет, если выйти на балкон вместе с господином таким-то, ах, он умер, но стала выходить его жена. И, значит, мы можем продолжать писать этот пейзаж...



Авот Иешурун. Худ. М. Кадишман

Авот Иешурун – редчайший случай, уникам. Как он вообще обрел свое имя, первой, кажется, рассказала писательница

и его друг Юдит Гендель. За многие годы знакомства с ним она почему-то никак не отваживалась спросить, почему у него такое странное имя. Но, представьте, он ответил. А потом и записал. Передаю своими словами, но близко к тексту: "Всё во мне происходило на переломе, сломе, изломе. Вот есть же такое понятие: сирийско-африканский излом. Я сменил имя, сменил язык, сменил город, разбил сердце отца и матери, разрушил их дом, их ночи, их покой, их праздники, их субботы... То же произошло и с моим именем".

Во время Войны за независимость он оказался в разведке, и была у него одна гимнастёрка – ни сменить, ни постирать. И вдруг объявляют, что наутро будут принимать присягу. Что же делать? Не только парадной гимнастёрки, не было даже обычной майки. Как отметить этот день? Что-то важное надо сделать. Идея – надо сменить имя! Он лежал в палатке, усталый, а завтра – такой день. И как всегда – картины детства перед глазами. И мать, там, в его Красностае, укачивает его в колыбели и поёт. Мать пела на всех языках – на русском, украинском, идише, иврите, польском, и весь мир был в ней, в его матери, которую и бог покинул и сын оставил... И вот она поёт, и называет его почему-то во множественном числе – таталех, то есть отцы, предки, будто он, её сын – все души их вобрал, а когда она доходила до таталех, знал он, что больше песен не будет. Сейчас – спать. И вот пришло это слово – таталех, что на иврите *авот*, отец – аба-ав, отцы – авот. Так пришло личное имя.

О фамилии он тогда не подумал. Откуда же Иешуру́н? Новый виток истории. Издатель журнала, получив стихи с фронта, от солдата, подписавшегося только именем Авот, ждал его прихода в редакцию, но не дождался и придумал ему фамилию словом из Танаха – Иешурун это аллегорическое название еврейского народа... Так и появился поэт Авот Иешуру́н, в переводе – "предки Израиля".

Странное имя, неординарная личность. Иешурун немного не дожил до 90-летия. Редкость, не правда ли, что он в столь преклонном возрасте сумел сохранить свежесть поэтического мышления, что ему не изменяла любовь к почти хулиганской ломке слов, к сочинению неожиданных словосочетаний. Он оказался понятным молодёжи, новому поколению.

Помню ту ночь и то утро. Я уже придумала, что начало радиопередачи о поэте, когда он наблюдает, как рушится соседний дом №4, дам на музыку английской рок-группы "Pink Floyd". Дописывала и правила текст всю ночь. А до того проговорила с ним много ночей, но он, больной, всё больше дремал. Под утро я

заснула. В шесть часов вечера, в новостях, сообщили, что поэт Авот Иешурун скончался. Это было 22 февраля 1992 года, он бы добавил: "йод-хет бэ-адар ришон, ташнаб", что означает 18-го дня в месяце адаре-первом, в году 5752. В том году было два адара. В том же году Авоту Иешуруну присудили Государственную премию Израиля. Ее принято вручать торжественно в наш великий праздник – День Независимости. Но объявляют о ней загодя, и он уже о премии знал. Поклонники его таланта восприняли это событие как возврат давнего долга старейшему израильскому поэту. Государственную премию принимала его дочь Хелит. Йом Кипур в 1904 году, когда родился Авот Иешурун, пришелся на 19 сентября. Но в датах жизни поэта часто пишут: Йом Кипур 1904 – 22.2.1992. Такого написания мне больше никогда не доводилось видеть. Думаю, он сам так хотел.



Надпись на мемориальной доске:
В этом доме жил и творил поэт Авот Иешурун...

"Иногда, – он говорил, – я слышу музыку. И целый мир – в ней! И целый мир добр. И целый мир – дом. Расстаётся с миром и музыка. Она возвращается к себе самой. Музыка возвращается к себе домой".



Игорь Ефимов

Опять о Толстом



ущая эротическая сцена, написанная когда-нибудь мужем Софьи Андреевны, – отсечение собственного пальца отцом Сергием.

Даже Толстой смог стать страстно верующим христианином лишь с того момента, когда обнаружил, каким именно образом он может служить делу Христа «всем своим разумением». Это и естественно – иначе куда бы он дел все гигантские силы своего разума, способные взорвать мозг, если оставить их без применения?

Только очень прочное государственное устройство могло себе позволить терпеть внутри себя таких разрушителей, как Толстой и Достоевский.

Нравственный суд, который автор всегда творит над персонажами, взваливает на него сразу все роли. Он и судья, но избавленный от необходимости выносить приговор и наказывать; он адвокат, не получающий деньги с подсудимых; он прокурор, не требующий казни; он следователь, которому не нужно далеко ездить за уликами – не дальше собственной души. Он – бог в четырёх лицах, он самое главное, что потрясает нас в любом произведении, как бы он ни пытался там прятаться и растворяться. Он важнее всех персонажей, важнее всех событий, даже исторических, потому что, что же они, это события? – они были и прошли, как Бородинская битва, а Толстой остался интересным для нас и сегодняшних – хотя бы своим переживанием этой битвы.

Если правда, что художник всегда стремится восполнить духовные утраты в окружающем его мире, то Пушкин, занявшийся политической историей, Гоголь – нравственным поучением, Толстой – религиозной проповедью и теологией, не указывают ли нам на главнейшие провалы, пустоты в русской духовности XIX века?

Если бы литература могла оказывать положительное воздействие на жизнь общества, то как в стране Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова, Блока могли

воцариться большевики? А в стране Гёте, Шиллера, Гейне, Томаса Манна – нацисты? И, с другой стороны, как это старейшая в мире демократия – Швейцарская – живёт себе уже 400 лет без великих писателей и горя не знает?

Бальзак, разоблачавший пороки общества, так ими упивался в процессе писания, что, когда его герои колеблются между добродетелью и развратом, очень хочется, чтобы они плюнули на скучную и фальшивую добродетель и поскорее ударились в блистательный разврат. А у Толстого разврат, наоборот, и вправду скучен.

Вот какие обороты позволял себе Лев Толстой:

«Напухшие жилы»; «подвязанный чиновник»; «перевязанные ниткой ручки ребёнка».

«Китаева говорила, ныряя головой в шляпе...»

«В первой комнате был молодой чиновник в вицмундире, с чрезвычайно длинной шеей и выпуклым кадыком и необыкновенно лёгкой походкой и две дамы».

«С громкими криками проскакали телеги, видно, в последний раз».

В наши дни всё это легко могло попасть в сатирический раздел «из корзины редактора»

В ненависти к искусительной силе искусства – как много общего у Толстого и Платона! Недаром же Толстой дал своему любимому герою имя греческого философа.

Марамзин читал сказку Льва Толстого, очень хвалил, говорил: «Ну, чем не Голявкин?».

Лев Толстой всю жизнь проповедовал и исповедовал святость брака и оставил нам самые убедительные доказательства недостижимости моногамного идеала: «Анна Каренина», «Отец Сергий», «Крейцерова соната», «Живой труп», письма, дневники.

Ни Льву Николаевичу Мышкину, ни Льву Николаевичу Толстому мы не рассказываем всей правды о себе, о жизни, о людях. Оберегаем блаженных. Но откуда-то они всё равно знают заранее, что Рогожин зарежет Настасью Филипповну, а герой «Крейцеровой сонаты» – свою жену.

Не верю, что смелый князь Андрей мог вырасти у такого отца, как старый Болконский. Толстой сам был отцом-тираном и не желал замечать, как сильная отцовская воля, любя, ломает волю сыновнюю.

В русской классической литературе полным-полно славных капитанов: капитан Белогорской крепости Миронов – у Пушкина, капитан Копейкин – у Гоголя, Максим Максимыч – у Лермонтова, штабс-капитан Снегирёв – у Достоевского, капитан

Тушин – у Толстого. А начиная с майора в «Записках из Мёртвого дома» идут персонажи довольно мрачные и противные выше чином: полковник Скалозуб, безымянный полковник в «После бала», генерал Епанчин.

Только большевики покончили с этой несправедливостью, уравнив в подвалах ЧК все чины русской армии в высоком звании «офицера».

Мужчины воображают, что близкая смерть освобождает их от обязанности соблюдать приличия. Пушкин зовёт к смертному ложу Карамзину, Франклин Делано Рузвельт – Люси Мерсер. Толстой, наоборот, умоляет не пускать к нему жену.

Неужели трудно было хотя бы для потомков потерпеть ещё несколько часов?

Толстой воображал, что, не имея в своём распоряжении виселиц, костров и гильотин, он получает моральное право объявлять законенными преступниками всех правителей, генералов, судей, попов. Но точно так же рассуждал и Блаженный Августин, заявлявший, что еретикам лучше сгореть в пламени земном, чем гореть в вечном огне. Костры в честь Льва Толстого – вполне реальная черта российского будущего.

Державин и Карамзин ведут свой род от татар, Пушкин – от арапа, Жуковский – от турок, Лермонтов – от шотландцев, Гоголь и Чехов – от хохлов, Дельвиг и Кюхельбекер – от немцев, Достоевский – от поляков, Фет и Пастернак – от евреев. Один Толстой – чистый русак, да и тот объявлен еретиком. Ну, как тут изворачиваться русскому православному патриоту?

Лев Толстой в романе «Война и мир» приписал Сперанскому самонадеянность ума, а князю Андрею – готовность усомниться даже в самой любимой своей мысли. Но какой самонадеянностью должен был обладать ум, решившийся переписать Евангелие как свод правил?

Когда мы отыщем, наконец, универсальные принципы добра и правды, все у нас будут слушаться и ходить по струнке. «В лагере имени Платона Жан-Жаковича Толстого шаг вправо, шаг влево считается побегом. Морально-интеллектуальный конвой открывает огонь без предупреждения!».

Два высоких устремления вечно будут разрывать душу человека: жажда Закона и жажда Свободы.

Толстой – проповедник Закона.

Достоевский – апостол Свободы.

Размахивая косой, Лев Толстой надеялся зарыть свои пять талантов, укрыться от тягостной обязанности «предвидеть и предусматривать», описанной Аристотелем.

Фантазии Руссо, Прудона, Маркса, Толстого, Фрейда имеют огромное *познавательное* значение: фактом своей популярности они открывают нам самые сильные, самые массовые мечты-надежды в душе человека.

В философии царит полный феодализм: каждый отчаянно защищает свой замок, свой лён, свою вотчину. Но время от времени на поверхность всплывает этакий Чингисхан и идёт опустошительной войной на всех остальных. Таковы Руссо, Прудон, Маркс, Ницше, Толстой.

Нет и не может быть мира и дружбы в царстве философии. Аристотель отшатнулся от Платона, Кант – от Сведенборга, Шеллинг – от Гегеля, Маркс – от Прудона, Соловьёв – от Толстого, Юнг – от Фрейда.

Толстого можно уподобить бывалому мореплавателю, которого пригласили бы на совет Колумб, Магеллан, Васко де Гама, Америго Веспуччи, Шамплейн, а он вдруг начал бы их убеждать, что пора кончать бороздить волны и заняться прокладкой самого прямого пути в Америку – путём сверления земной толщи. Выполнимо это или нет, такого мореплавателя, конечно, не интересовало.

Похоть, вожделение легче уживутся с Добром, чем Любовь, ибо они неразборчивы и готовы удовлетвориться хоть той, хоть этим – кто согласится, кто подвернётся. Не потому ли величайший поборник Добра – Лев Толстой – так снисходителен к амурным похождениям Стивы Облонского, а Анну Каренину и Вронского, опалённых настоящей любовью, «приговаривает» к самоубийству?

Христианские аскеты пытались подавить порывы собственной плоти. Толстой пошёл ещё дальше: пытался подавить порывы собственного сердца – любовь к музыке, к дочерям, к друзьям, к последователям.

Толстой призывал Александра Третьего не казнить убийц его отца, Бертран Рассел уговаривал англичан не воевать с кайзером, Ганди призывал евреев не противиться Гитлеру, английские интеллектуалы уговаривают израильтян сдаться на милость арабов. И слёзы умиления на самих себя льются по щекам добрых непротивленцев.

Преобразившийся после «Исповеди» Толстой оказался в таком же положении, как преображённый герой романа «Механический апельсин». В того идея непротivления злу насилем была впрыснута искусственным психиатрическим приёмом, Толстой пришёл к ней добровольно. Но в обоих гнев не исчез, и оба мучились им несказанно.

Холодный пот начинает струиться по позвонкам, когда – в какой-то момент – осознаёшь, что Руссо и Робеспьер, Толстой и Ленин, Гитлер и Ганди, Мать Тереза и Осам Бин Ладен хотели по сути одного и того же: улучшить мир, спасти человечество.

«Много званных, но мало избранных», говорит Христос.

Казалось бы, это и есть весь наш выбор: остаться званным или сделаться избранным.

Но Толстой не подчиняется и здесь: пытается стать Зовущим.

Толстой и Софья Андреевна – это как на смерть перессорившиеся Мария и Марта.

Как много ненужных страданий успел принести Лев Толстой себе и своим близким только потому, что не умел – не хотел – отличать Зов Господень от Его повелений.

Когда человеку становится невыносима мирская жизнь, он удаляется в монастырь. «Еретику» Толстому в православном монастыре места не было, и он попытался заставить – уговорить – весь мир жить по монастырским законам: без собственности, без семьи, без оружия, без дружбы, без любви.

Главный инстинкт Толстого – возненавидеть и преодолеть всё, что имеет какую-нибудь власть над его душой. Любовь к близким, к дочерям? Преодолеть. Сила искусства? Проклясть. Логика? «Долой науку! Я подчиняюсь только Богу!» Но при этом его Бог – послушный идол в кармашке, ибо только он, Толстой, знает, что Он требует от людей.

Лев Толстой в первую половину своей жизни служил важнейшим нервным стволom русской культуры. Во вторую уподобился нерву воспалённому, способному только вызывать боль в себе и других.

Холостяк Сведенборг учил людей тайнам семейной жизни. Руссо, отдававший всех своих детей в приюты, писал трактаты о воспитании. Сексуальный гигант Толстой воспевал радости воздержания. Не пора ли психиатрам выделить под отдельный ярлык эту болезнь: синдром теоретизирования?

Секрет колдовства Толстовской прозы кажется таким простым: нужно всего лишь вести ежесекундную нежную хронику душевных движений героя – и всё оживёт, засверкает.

Великое свершение невозможно без великого порыва. Но не всем дано свершить великое. Свершившие же умеют ценить великий порыв, даже не принеся плодов. Отсюда дружба Пушкина с Кюхельбекером, Герцена – с Огарёвым, Толстого – с Чертковым, и так далее.

Набоков никогда не был шахматистом, готовым встретить неукротимую волю противника, – только составителем задач, всесильным одиноким манипулятором.

И он никогда не был охотником, готовым встретить неукротимого зверя или рыбу, как Толстой или Хемингуэй, – только ловил беспомощных бабочек.

И мы никогда не ждём от его героев полной неукротимой свободы – такой, которая могла бы ошеломить самого пишущего.

Стыдиться написанного, отвергать его, зачёркивать было свойственно Гоголю, Толстому, Кафке, Сэлинджеру, даже в какой-то мере Бродскому. Это даёт нам право не слушать их мнения о других писателях. Что взять с Толстого, ругающего пьесы Шекспира и Чехова? Он ведь даже «Войну и мир» и «Анну Каренину» объявлял пустяками.

Скрытая мечта Толстого – страстного педагога: превратить весь мир в классную комнату с тысячами углов, носом в которые можно будет поставить всех прошлых и нынешних королей, министров, генералов, прокуроров, а заодно и Шекспиров, Бальзаков, Стриндбергов, Ницше и прочих.

Все свои произведения Толстой создавал приёмом стремительного спонтанного словоизлияния, как велосипедист, знающий, что остановка чревата для него непременно падением. Потом следовали двадцати- тридцатикратные исправления ценой труда безответных переписчиков (обычно – родных) и наборщиков. Чтобы не чувствовать себя безжалостным эксплуататором, он затем сам убирал свою комнату и выносил свой горшок.

Толстому было шестьдесят лет, а Софье Андреевне – сорок четыре, когда у них родился последний ребёнок, сын Ванечка. Супруги к тому времени уже часто ссорились. Ванечка умер от скарлатины в семь лет. Не про это ли пел Окуджава: «А от любви бедной сыночек будет бледный?»

Толстой восставал против человеческой науки, против искусства, против власти, против церкви. Но даже он не посмел восстать против идола моногамии и прожил последние 30 лет своей жизни, мучительно изогнувшись перед ним.

Оказывается, Магомет – как и Лев Толстой – незадолго до смерти убежал из дома, от всех своих жён и наложниц. Сел на крыше мечети и не поддавался никаким мольбам перепуганных единоверцев. Моногамия, конечно, тяжёлое бремя; но, видимо, и полигамия не спасает.

Толстой превратил свою жизнь и жизнь своей семьи в полигон для испытания несбыточной мечты о любви всех ко всем.

Поразительно, как много общих черт в мировоззрении, в жизненном пути, в характере у Толстого и Солженицына. Оба в молодости участвовали в войне, даже служили в одном и том же роде войск – в артиллерии. Оба преподавали в школе математику. Оба достигли в расцвете сил мировой литературной славы. Оба вступили в острый конфликт с властью имущими в своей стране. Оба к концу жизни уединились в свои поместья и отдавали все силы гигантскому труду, задачей которого было открыть людям глаза.

Но, может быть, важнейшей совпавшей деталью в их судьбе было то, что оба они созревали в атмосфере политической несвободы, оба были окружены миллионами соотечественников, находящихся в состоянии рабства. Раб предельно несвободен, поэтому наше нравственное чувство инстинктивно избегает возлагать на него какую бы то ни было ответственность за ужасы жизни. Мы ищем причины этих ужасов где-то вовне и, как правило, возлагаем ответственность на жестоких правителей, на привилегированный слой. Отсюда вырастает – и в Толстом, и в Солженицыне – патологическая ненависть к интеллигенции. Хуже интеллигенции лишь те, кто защищает господствующую идеологию, поддерживает существующий порядок. Для Толстого – попы, для Солженицына – проповедники коммунизма. Оба закрывают глаза на то, что и попы, и коммунисты тоже почему-то не жалуют интеллигенцию.

Итак: человек изначально добр, хорош, справедлив. Все зверства, которые мы видим – от политико-социальных обстоятельств, от коварных интеллигентных искуателей. Эта вера в них – святая святых, абсолютная аксиома, которую они никогда не поставят под сомнение. Все свидетельства истории – ничто перед этой верой. Поэтому оба садятся переписывать историю на свой лад. Все свидетельства великих поэтов, от Шекспира до Пушкина, описавших кипение человеческих страстей и пороков, – обман. Для обоих все правители, все политики – слепые поводыри слепых. Обоих ужасает Запад, где все мерзости делаются свободными людьми без всякого принуждения. Оба шлют проклятья тем деятельным противникам мирового зла – Столыпину (Толстой), Рузвельту, Черчиллю (Солженицын), – которые в своей борьбе исходили из других представлений о человеческой природе.

И здесь снова вспоминается эта, казалась бы, маловажная деталь: совпадение их военной профессии. Ведь артиллерист не видит тех, кого он убивает. Часто не видит, попал он или нет. Часто не очень заботится об этом.

Он просто ведёт огонь.
Ведёт огонь.
Огонь!



Борис Тененбаум

Испанская Партия

(продолжение. Начало в №11/2012)

XI



окончанием Первой мировой войны Сэмюэл Хоар был отозван в Лондон, его миссия подошла к концу. Он вернулся в политику, вскоре вошел в состав кабинета, возглавив новое министерство авиации, и, неизменно двигаясь вверх, к 1935 достиг поста министра иностранных дел Великобритании.

А Бенито Муссолини, радикальный редактор газеты "Il Popolo d'Italia" - "Народ Италии", в 1919 создал организацию "Итальянские Союзы Борьбы". На итальянском это название – "*Fasci Italiani di Combattimento*" - звучало как "*Фаши Итальяни ди Комбаттименто*", и его быстро сократили просто до "Фаши". На волне огромного общего недовольства в Италии движение росло как на дрожжах, в него тысячами вливались бывшие солдаты, повидавшие на фронте всякое, и не больно-то церемонно относившиеся к прямому насилию.

Их называли "фашистами".

В 1922-м вождь фашистов, Муссолини, стал премьер-министром Италии, в 1925-м сменил название своей должности с "главы кабинета министров" на "главу правительства", а к 1927 стал практически неограниченным диктатором страны, с полуофициальными титулами "вождя" - "дуче" - и "национального лидера". В октябре 1935-го, находясь на вершине могущества и международного престижа, Муссолини затеял войну в Африке - итальянские войска атаковали Эфиопию. Ну, поколением назад это могло бы вызвать шум в Европе только в случае каких-то возражений со стороны другого европейского государства. В 1935-м никто другой на итальянскую добычу не посягал - но проблема тем не менее возникла.

Дело было в том, что Эфиопия оказалась членом Лиги Наций.

Теоретически Лига должна была способствовать разрешению конфликтов мирным путем, но с задачей этой не справилась. И вот тогда сэр Сэмюэл Хоар вместе с французским премьером, Пьером Лавалем, выступил с предложением закончить дело компромиссом - Италия получала большие территории Эфиопии и полный контроль над тем, что еще оставалось от этой страны, но зато приличия оказывались соблюденными, и Эфиопия все-таки оставалась на карте как "независимое государство".

Предложение было сделано в тайне, Муссолини на него в принципе согласился - но, увы, тайну сохранить не удалось. Произошла прискорбная утечка информации, сведения о так называемом "Соглашении Хоара-Лавалья"[1] попали в газеты, публика в Великобритании возмутилась - и в итоге предложение было дезавуировано.

Сэру Самюэлу пришлось подать в отставку, итальянцы взяли Аддис-Абебу, во Франции вскоре пало правительство Лавалья, в Италии престиж Муссолини взлетел до небес - тем дело и кончилось.

И вот сейчас, летом 1940-го, Италия колебалась на самой грани объявления войны. Испания могла последовать ее примеру в любую минуту - а на пост посла Англии в Мадриде был назначен сэр Самюэл Хоар.

Тут требовался человек, способный самостоятельно решать трудные проблемы.

ХII

Хоар добирался до места своего назначения воздухом - он торопился. Тем не менее, он сделал остановку в Лиссабоне. 29 мая 1940 немецкие войска в Бельгии вышли к морю, у Остенде, и в результате британский экспедиционный корпус оказался в окружении.

Так что провести консультации с правительством Португалии, страны, которая была союзницей Англии еще со времен наполеоновских войн, было очень желательно. В итоге в Мадрид сэр Сэмюэл попал только 1 июня, и обнаружил, что здание посольства буквально находится в осаде. Толпы народа бесновались у его ворот с криками:

"Gibraltar español!" – *"Гибралтар - испанский!"*.

Полиция особо не вмешивалась.

Что было еще более неприятно, так это то, что с вручением верительных грамот послу пришлось обождать. Испанские власти известили его, что немедленный прием у генерала Франко пока невозможен "... из-за перегруженного расписания ...", и самым доброжелательным образом

посоветовали сэру Сэмюэлу сначала устроиться хорошенько в его новой резиденции.

Расписание генерала и впрямь было перегружено. Он в это время составлял письмо Адольфу Гитлеру, в котором ему следовало обдумать не то что каждое слово, а каждую запятую. Письмо должно было быть доставлено не через дипломатическую почту, а лично, для передачи из рук в руки, а в качестве посланца был избран генерал Хуан Вигон, бывший начальник штаба Северной армией фалангистов в гражданскую войну.

Письмо было датировано 3-м июня, и начиналось оно так:

"...Дорогой фюрер:

В тот момент, когда германские армии под вашим руководством близки к победоносному завершению величайшей в истории битвы, мне хочется выразить глубокое восхищение вашими успехами, разделяемое всем испанским народом, который следит за вашей славной борьбой, считая ее своей собственной..."

Будь у сэра Сэмюэла доступ к этому тексту, такое начало его бы сильно расстроило.

Но, возможно, он приободрился бы, выяснив, что в письме, сразу после теплейших уверений в дружбе, шел пассаж о том, что последствия Гражданской Войны и угроза британской блокады вынуждают генералиссимуса с болью в сердце воздержаться от активных действий в пользу Германии.

Кончалось письмо опять-таки очень любезно:

"...Мне нет нужды, фюрер, уверять Вас в огромности моего желания не оставаться в стороне от происходящего и в готовности предоставить Вам все услуги, которые Вы сочли бы наиболее важными..."

Таким образом, получалось, что в письме Гитлеру содержалось и *"...восхищение..."*, и обещание *"...помочь всем, чем только можно..."*, но вот границы этой помощи оставались совершенно неясны. Это было сделано совершенно намеренно, как и то, что письмо оставалось в Мадриде - генерал Вигон выехал в ставку фюрера не 3 июня, а через неделю. Его миссия, возможно, задержалась бы и на более долгий срок, но оказалось, что медлить и дальше уже нельзя.

10 июня Италия вступила в войну.

XIII

7 апреля 1926 года некая дама по имени Вайолет Гибсон стреляла в Муссолини. Положим, она в него не попала - пуля только оцарапала ему переносицу - но факт покушения британской подданной на главу итальянского правительства был налицо. Великобритания чувствовала себя очень неловко, и с

радостью обнаружила, что оказалось возможным замести дело под ковер. Даму признали сумасшедшей, моментально выслали, и она окончила дни свои в Англии, в клинике для душевнобольных.

Больше всех способствовал этому сам Муссолини.

Он, конечно, покрасовался на страницах газет с наклейкой на носу - это подчеркивало его мужественность и безразличие к опасности. В ту пору Бенито Муссолини охотно участвовал в массовых заплывах и забегах, демонстрировал мускулы и голый торс атлета - но решительно не желал ссориться с Великобританией из-за такой ерунды, как какое-то там покушение.

Тогда, в 20-е годы, мощь английского флота и вес английской валюты внушали ему здоровое уважение.

Время шло. За Бенито Муссолини в Европе очень ухаживали, он считался лидером нового типа, "*...человеком, сплотившим нацию...*". В самой Италии пресса запросто могла опубликовать рассуждение, согласно которому божественное начало, проявившее себя Гомером в мире искусства, и Христом - в мире морали, проявило себя и в сфере политического действия. И имя этого проявления - Муссолини. Такие вещи, когда их повторяют раз за разом и год за годом, конечно же, ударяют в голову.

Как известно, характер испытывается огнем, водой, и медными трубами славы, возносящими хвалу. Третье испытание, возможно, потруднее двух первых, его мало кто выдерживает. Тем не менее, Муссолини все-таки сохранил достаточно реализма - несмотря на свой идеологический союз с Германией, в 1939-ом он в войну не кинулся.

Идея столкнуться с объединенными силами Англии и Франции его совсем не привлекала, и действовать он начал в направлении, для союзника Германии довольно странном: с одной стороны, в Берлин был послан запрос на срочные военные поставки, с другой - в Лондон отправилось конфиденциальное сообщение о "*...нежелании дуче делать рискованные и необратимые шаги...*"[2].

Что же касается вполне официального письма, направленного Гитлеру, то запрос на военные поставки был таким, что даже если бы каким-то чудом сыскались бы все необходимые материалы, то одни только перевозки их требовали выделения 17 тысяч эшелонов.

Это было физически невозможно - и именно поэтому-то и запрашивалось.

К июню 1940-го ситуация, однако, поменялась. Поражение Франции стало явным, следовало действовать, чтобы

не упустить добычу - и 9 июня Муссолини сообщил Франко, что решение принято:

"...Когда вы откроете это письмо, Италия уже вступит в войну на стороне Германии. Я прошу вашей солидарности и поддержки, во всех возможных сферах морального, политического и экономического содействия.

В новом реорганизованном Средиземноморье Гибралтар будет испанским...".

Ответ из Мадрида пришел самый положительный. Франко сообщал, что Испания изменит свой статус, и вместо "... строго нейтральной ..." страны станет страной просто "... вежливой ...".

В середине июня он нашел наконец время принять британского посла. В кабинете Франко, рядом с его письменным столом, оказались подписанные фотографии Гитлера и Муссолини. Так, в качестве небольшой демонстрации симпатий.

Вся обстановка приема была спланирована так, чтобы показать, что поражение союзников - уже свершившийся факт - и что теперь надо самым деловым образом обсудить вопросы, связанные с этим событием.

Сэр Самюэл в своем донесении в Лондон сообщал, что для диктатора каудильо выглядит необычно. Не так, как Муссолини, например - никаких криков, и никакого театра.

Вместо этого из кресла на британского посла смотрел человек небольшого роста, с явно обозначившимся брюшком:

"...с манерами доктора, у которого есть стабильная семейная практика и вполне разумный гарантированный доход...".

Но накануне, 14 июня испанские войска внезапно захватили Танжер, портовый город во французской части Марокко.

XIV

Обставлено это было с большой осторожностью. Испанские войска вошли в Танжер в середине дня, ничуть не прячась, а Франция была проинформирована, что единственной целью Испании является:

"...установление гарантий безопасности города по настоянию султана Марокко...".

Французскому правительству, право же, в тот момент было не до неожиданной "...инициативы султана...".

Как раз в эти дни был оставлен Париж, кабинет министров бежал в Бордо. В полночь 15 июня 1940 года новым премьер-министром Франции был провозглашен маршал Пэтен. 17 июня новое французское правительство обратилось к Испании как к посреднику - Франко просили помочь в деле достижения перемирия с Германией.

Обращение именно к Франко было не импульсивным желанием маршала Пэтена "...уладить дело через знакомых...", а обдуманном политическим ходом.

Маршалу на середине девятого десятка, бразды правления были вручены на основании его незапятнанной репутации и того, что он был, как говорил Франко, "*la espada mas limpia de Europa*" – "... чистейшей шпагой Европы ..." - но понятно, что практическое каждодневное руководство он сам осуществлять не мог.

Эта роль была доверена Пьеру Лавалю[3], а тот давно носился с идеей "...присоединения Франции к борьбе с прогнившими демократиями, коммунизмом, происками масонов и вообще с мировым еврейством...". Борьба эта, по его мнению, возглавлялась Германией, ее союзницей в этом была Италия, и Франции тоже был смысл занять место в строю. Лаваль вне всяких сомнений обратился бы за посредничеством к Муссолини - если бы не вступление Италии в войну неделю назад.

Ну, коли так, то оставалась Испания, а испанский посол во Франции, Лекерика, был другом Лавалья.

Посол получил полную поддержку Франко. Ему поручили даже похлопотать об установлении особых доверительных отношений с Францией в обмен на определенные уступки в Марокко - но дальнейшего развития эта тема не получила.

Франко приходилось играть сразу на нескольких "досках", и как раз 17 июня 1940 у него возникли проблемы не в африканских колониях, а поближе к дому. Ему пришлось срочно поговорить с генералом Ягуэ, совсем недавно назначенным на пост министра авиации.

Как оказалось, решение убрать его из сухопутных сил было на редкость своевременным - генерал затеял заговор.

Он, собственно, уже давно не скрывал своего критического отношения к главе государства, обвиняя его сразу и в излишней мстительности, и в недостатке решимости. С "...нехваткой решимости..." у Франсиско Франко соглашались многие фалангисты - ну что мешало ему немедленно напасть на Гибралтар?

Вот с "...излишней мстительностью..." они не соглашались - генерал Ягуэ требовал широкой амнистии для республиканцев, он полагал, что они свое уже отсидели - а вот в Испанской Фаланге даже заключение в тюрьму считали недопустимой слабостью. Расстрел на месте, совершенно в духе самого Ягуэ во время Гражданской войны, по мнению фалангистов был бы в самый раз.

Однако они, что называется, считали без хозяина...

Фалангу известили, что "...узкопартийные соображения должны уступить место соображениям государственным...", а генерал Ягуэ 27 июня 1940 был приглашен в резиденцию Франко для "...доверительной беседы...". Она вышла довольно эмоциональной, и в результате Ягуэ был смещен со своего министерского поста и получил распоряжение отправиться в свою родную деревню, Сан Леонардо - и не покидать ее без особого разрешения.

Франко тем временем провел в своей резиденции еще один важный разговор. Правда, этого гостя отправить в родную деревню было бы потруднее - это был сэр Сэмюэл Хоар - но поговорить и гостю и его любезному хозяину было о чем.

В испанских газетах в то время прошло сообщение, написанное по совершенно пустой формуле, освященной временем:

"...Глава государства принял посла Великобритании по его просьбе и провел с ним продолжительную беседу...".

Содержание беседы, разумеется, не разглашалось.

XV

Сэр Сэмюэл в Мадриде вел себя подчеркнуто беззаботно. Демонстраций вокруг посольства он как бы "не замечал", находил время для светских мероприятий, вроде конкурса исполнителей танго, и даже поучаствовал в неофициальной части конкурса и сам, заслужив высокую оценку у компетентного человека, посла Аргентины.

Но, конечно, одной только техникой танго его заботы не ограничивались.

Служба MI-6, в которой он состоял когда-то, имела в Испании хорошие связи. Майор Хью Поллард, ведавший там делами, был искренним католиком, в годы Гражданской Войны всей душой сочувствовал испанским националистам, соответственно - знал очень многих людей среди испанских военных. Он даже был знаком с Франко лично, и оказал ему в свое время большую услугу, доставив в июле 1936 английским самолетом в Марокко[4].

Все это сейчас, летом 1940-го, очень пригодилось. Скажем, когда генерал Хосе Лопес Пинто, командующий 4-м военным округом, устроил в Сан Себастьяне военный парад в честь своего гостя, командира немецкой части во Франции, достигшей испанской границы, сэр Самюэл узнал об этом в тот же день. И немедленно подал официальный протест - на том основании, что парад шел под возгласы: "*Да здравствует Гитлер!*".

Одновременно с протестом сэр Сэмюэл сообщил Франко, что британский флот пропускает в испанские порты торговые корабли с зерном из Аргентины и Канады. Он вообще рекомендовал своему правительству придерживаться в отношении Испании политики кнута и пряника. Скажем, разрешение на проход судам с зерном рассматривалось как "пряник", а тот факт, что пропускались они только после досмотра и только с таким количеством груза, который не позволял создавать запасы - ну, это был "кнут", которым собственно, даже и не били.

В Лондоне считали, что намека будет вполне достаточно.

После серьезной дискуссии, попробовали добавить и еще один намек, теперь уже на дополнительный пряник. Министр иностранных дел Англии, лорд Галифакс, настоял на том, чтобы испанцам сообщили, что *"...после окончания войны Великобритания будет готова к переговорам о будущем Гибралтара..."*. Интересно тут то обстоятельство, что премьер-министр Англии, Уинстон Черчилль, был против этой идеи.

Он сказал Галифаксу, что не следует считать Франко дураком.

Ну что толку в обещании поговорить о Гибралтаре после войны? В конце концов, если война окончится для Англии хорошо, то переговоры будут бесплодны, а если плохо - то не нужны. Тогда ведь и говорить будет не о чем?

Но лорд Галифакс стоял на своем, и Черчилль не стал с ним спорить. Дел ему хватало и помимо Испании - падение Франции означало не только полный крах всей английской стратегии на континенте Европы, но и огромные проблемы в делах чисто военно-морских. Война начиналась в 1939-ом с полным преобладанием английского флота в европейских водах. Теперь, летом 1940, падение Франции не только выводило из строя важного союзника, но и ставило под вопрос судьбу французских военных кораблей. Мысли Пьера Лаваля о *"...вступлении Франции в новый европейский союз под руководством Германии..."* могли иметь для Англии самые серьезные практические последствия.

С этим надо было что-то делать.

XVI

3 июля 1940 года английские корабли обстреляли французскую эскадру, стоявшую в порту Мерс-Эль-Кабир в Алжире, неподалеку от Орана. Если сказать, что грохот их пушек отозвался во всем мире, это не будет преувеличением. Обстрел был частью сложной операции под названием "Катапульта" - так британское Адмиралтейство нарекло целый комплекс

мероприятий по предотвращению попадания французского флота в руки Германии.

В ночь на 3 июля французские военные корабли, стоявшие в Портсмуте и Плимуте, были захвачены внезапной высадкой солдат английской морской пехоты. Сопrotивление было минимальным, и только в одном случае его подавили оружием. Командующие военными судами Франции, стоявшими в Александрии, под угрозой пушек решили, что "*...благоразумие - лучшая часть храбрости...*", и согласились на некую неунизительную форму интернирования своих кораблей.

Все это было сделано без выстрела, и обошлось без жертв - но вот в Оране и в Мерс-Эль-Кабире дела пошли в нежелательном направлении. Командовавший там адмирал Женсоль получил сразу два ультиматума - сначала английский, требовавший разоружения на английских условиях - а потом немецкий, грозивший пересмотром условий перемирия между Францией и Германией.

В итоге французский адмирал ответил англичанам, что "*...на силу ответит силой...*". Женсоль, что называется, "*...спасал честь Франции...*" - мысль о том, что ему действительно придется сражаться, почему-то в голову ему не пришла. У английского командующего, однако, был на руках категорический приказ Уинстона Черчилля:

"...Французские корабли должны либо принять наши условия, либо потопить себя или быть потопленными вами до наступления темноты...".

Адмирал подумал - и в 16:54 по местному времени открыл огонь. В итоге французская эскадра оказалась под тяжелым огнем, один линкор потоплен, еще один сильно поврежден. Двум новым линейным крейсерам, "Дюнкерку" и "Страсбургу", удалось выйти из порта и прорваться в море. Англичане их не догнали, корабли добрались до Тулона, хотя потерпели большой ущерб - "Дюнкерк" практически полностью вышел из строя.

Негодование во Франции было огромным - "*...вероломные англичане напали на французский флот, стоявший во французском порту, было убито больше тысячи французских моряков...*" - это нельзя было оставить без ответа, маршал Пэтен немедленно разорвал дипломатические отношения с Великобританией.

В Германии газеты Геббельса всласть поговорили о "*...кровожадном Черчилле, отрицающем само понятие международного права...*", в Италии Муссолини пришел к заключению, что англичане так и не осознали, что война уже

проиграна, в Англии понимающие дело люди говорили, что операцию можно было бы провести и получше - самые ценные французские корабли все-таки сумели уйти - ну, и так далее. Но, наверное, самые глубокие размышления по поводу операции "Катапульта" возникли в Испании.

Во-первых, Франко получил нагляднейшую демонстрацию того, что Англия, несмотря ни на что, не считает себя побитой.

Во-вторых, ему было известно, что удар по алжирским портам нанесли корабли, базировавшиеся на Гибралтар. Английская эскадра, собранная там из кораблей, взятых в Атлантике, называлась "Соединение Н" (англ. "Force H", читается «Эйч»)

XVII

Окончательное решение о создании "Force H", было принято Черчиллем после подписания правительством Пэтена перемирия с Германией.

В соглашении имелась так называемая "VIII статья":

"...Французский военный флот должен был быть демобилизован и помещён в порты под наблюдение оккупационных сил. Со своей стороны, Германия обязалась не использовать его в военных целях..."

Черчилль решил, что пушки английских линкоров будут более надежной гарантией - и генерал Франко сделал из этого свои выводы.

Французский флот был потоплен 3 июля - а 6-го генералу предстояло принимать гостя из Германии. Гость носил чин адмирала, и действительно в свое время служил на флоте. Но сейчас, летом 1940-го года, адмирал Канарис возглавлял Абвер - германскую службу военной разведки - и в Испанию прибыл с *"...дружеским визитом..."*, сопровождаемым *"...небольшим деловым предложением..."*.

Предложение сводилось к тому, что Испания пропустит через свою территорию германские войска - ну, конечно, только в том случае, если понадобится *"...защитить Португалию от высадки англичан..."*.

Франко выслушал своего гостя со всем вниманием, но предложение отклонил. Он сказал, что участие германских войск было бы совершенно излишне, Испания вполне в состоянии сама помочь Португалии.

Франко был человеком осторожным, и тщательно балансировал свои ходы на обеих "шахматных досках" - и германской, и английской. С немцами поддерживались самые

теплые отношения, настолько теплые, что 17 июля Гитлер наградил Франко почти самым высшим орденом Третьего Рейха, который только мог быть дан иностранцу - Большим Золотым Крестом Ордена Германского Орла[5].

С другой стороны, буквально через неделю после награждения, без особых фанфар Франко подписал трехсторонний торговый договор между Испанией, Португалией и Англией. Обмен товарами при этом происходил в так называемой стерлинговой зоне[6].

В Германии тем временем все взвешивали плюсы и минусы возможного участия Испании в войне.

Посольство Германии подготовило подробный отчет, который 8-го августа 1940 года ушел в Берлин. В плюс ставилось следующее: захват собственности английских компаний в Испании – (например, рудников) и установление контроля над Гибралтаром. В минус - несомненный захват англичанами испанских владений на Канарских островах в Атлантике и на Балеарских островах - в Средиземном Море.

Про испанскую армию в отчете говорилось мало.

На эту тему имелся отдельный доклад, подготовленный германским Генштабом. В нем отмечалось, что у испанцев практически нет авиации, им очень не хватает артиллерии, и трудности имеются даже с патронами. Укрепленные позиции, как бы возведенные вокруг Испанией вокруг Гибралтара, по мнению германского военного атташе, были сделаны неквалифицированно и представляли собой просто напрасную трату труда и материалов.

Тем не менее, имелась и почва для оптимизма - под управлением германских экспертов из испанцев можно сделать хороших солдат.

Оставалось только сторговаться с Франко о цене.

XVIII

Герцог Альба, посол Испании в Великобритании был не только отпрыском славнейшего рода, но и бывшим министром иностранных дел. Он занимал этот пост в 1930-1931 годах, еще до Гражданской Войны. В 1936-ом его младший брат был расстрелян республиканцами. А сам герцог чудом уцелел, примкнул к националистам, и с тех пор представлял режим Франко в Лондоне, сначала на неофициальной основе, а потом уже вполне официально, в качестве чрезвычайного и полномочного посла.

Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалко, 17-й герцог Альба был в родстве с королевским родом Стюартов, владел английским, в Испании был известен как англофил, играл когда-то в популярное в Англии поло, и даже получил в этом виде спорта

серебряную медаль олимпийскую медаль - в общем, на пост испанского посла в Великобритании подходил идеально.

Но назначение дона Хакобо в Лондон состоялось не так просто, как могло бы показаться на первый взгляд. Он был известен как монархист, слыл в свое время сторонником короля Альфонсо, и поэтому дальновидному каудильо было желательно держать такого влиятельного человека на важном и почетном посту - но подальше от Мадрида.

Генерал Франко ничего не делал так.

Так вот, 14 сентября 1940 года герцог получил приглашение посетить лорда Ллойда, министра колоний в кабинете Черчилля, и состоялась у них довольно занимательная беседа.

Лорд Ллойд сообщил герцогу, что он не имел бы ничего против перехода французской части Марокко в испанское владение, и что он даже поговорил на эту тему с премьер-министром Англии, Уинстоном Черчиллем. И что лорду кажется, что и премьер-министр тоже был бы не против. Конечно, все разговоры на эту тему следует считать неофициальными...

Но почему бы послу все-таки не сообщить о них в Мадрид?

В шахматах есть такое понятие - тихий ход. Он и угрозы не несет, и позицию не меняет - но, конечно, тут все зависит от того, кто и на каком уровне играет.

Англию в Европе называли "коварным Альбионом", и ее дипломаты имели высокую репутацию. На этом фоне заявление, что у Англии не будет возражений, если Испания решит отнять у Франции ее владения в Марокко, выглядело как-то простовато - оно ничего Англии не стоило, ни к чему ее не обязывало, да и само заявление было сделано в сугубо неофициальной форме, как бы под сурдинку.

Так почему же оно было сделано вообще? Ну, потому, что желание Испании отнять у французов их половину Марокко было общеизвестным, и Англия как бы давала понять, что возражать не будет. А почему щедрое предложение "...*попользоваться чужим добром...*" было сделано именно 14 сентября? А потому, что в Лондоне давали понять - движение испанских войск во французскую часть Марокко Франко может осуществить и без того, чтобы объявить войну Англии - Англия против этого захвата возражать не будет.

И сообщить об этом "...*отсутствии возражений...*" надо было прямо сейчас, без откладывания - Испания как раз посылала в Берлин важного эмиссара, человека с большими полномочиями.

Звали его Серрано Суньер, и он был в Испании вторым человеком после Франко.

Предполагалось, что в Берлине он подпишет союзное соглашение с Германией.

XIX

Серрано Суньер ехал в Германию поездом, и на франко-испанской границе его встречали с большим почетом. Встреча была организована в крошечном городке под названием – “Hendaye” – что на французском произносится “Андай”[7]. По соглашению с правительством Пэтена городок входил в германскую зону оккупации.

Так что хозяевами тут были немцы - и уж они постарались не ударить лицом в грязь. Все было организовано на высшем уровне - и оркестры, и речи, и инспекция образцово вышколенного почетного караула. Испанцами было отмечен и факт отсутствия представителей Франции - с ними считались так мало, что даже не сочли нужным пригласить на встречу.

Германским командованием гостю был предоставлен специальный поезд, в котором и он, и его немалая свита разместились со всеми удобствами.

16 сентября Серрано Суньер прибыл в Берлин.

Принимал его Риббентроп, и вот эта встреча прошла не так бравурно, как первый прием на границе, в Андае. Министр иностранных дел Рейха выразил удивление размерами испанских запросов. Он сказал, что “...понимает необходимость военных поставок...” - но не в таких же количествах?

Запрошенное количество, надо сказать, было действительно огромным - Франко желал получить от Германии 400 тысяч тонн бензина и 700 тысяч тонн зерна. И это не считая требований на поставку угля, дизельного топлива, хлопка - а уж заодно и каучука. Что было чрезвычайно дефицитно в Германии, и ввозилось только транзитом, через СССР.

В ответ Серрано Суньер обратил внимание своего собеседника на то, что на сегодняшний день в Испанию поступило только несколько тонн предметов, связанных с католическим богослужением. Их взяли в Польше, которая, в конце концов, была католической страной.

Но для ведения военных действий нужны все-таки более материальные вещи?

Риббентроп с этим заявлением согласился, и сказал, что необходимый минимум будет испанским властям предоставлен - но не в таких же невыносимых количествах? Полномочный посол, конечно же, понимает, что требования войны накладывают

известные ограничения даже и на огромные ресурсы Германии, и что Англия все еще не хочет понять всю безвыходность своего положения, и не желает принимать разумные предложения о мире.

Этот тезис получил почти немедленное подтверждение - в Берлине была объявлена воздушная тревога. В результате испанской делегации ночью пришлось спускаться в бомбоубежище - совещание пришлось перенести.

Но переговоры и дальше шли отнюдь не гладко.

Выяснилось, что испанские территориальные претензии на французские колонии в Африке так же велики, как и запросы на стратегические материалы вроде каучука или бензина. Франко хотел получить не только все Марокко, но и Тунис. И Суньер упомянул о том, что Португалия, несомненно, должна относиться к испанской зоне влияния, ибо ее право на отдельное существование относится только к сфере морали, а не практической политики.

Риббентроп, в свою очередь, выдвигал германские требования о передаче Германии испанских рудников, принадлежащих британским компаниям, о "долгосрочной аренде" военных баз на территории Испании и ее колоний, о платежах за поставки, сделанные Германией националистам во время Гражданской Войны - в общем, пунктов для разногласий хватало с избытком. Но больше всего министр иностранных дел Германии удивлялся размерам испанских материальных запросов - он думал, что они непомерно велики.

Он не знал, что буквально в день отъезда Серрано Суньера из Мадрида, генерал Франко поговорил по душам с послом США о кредитах на поставки в Испанию зерна, бензина и угля.

Речь шла о сумме в 100 миллионов долларов.

Эту цифру надо оценить по достоинству – когда в 1938 Германия поглотила Австрию в результате "аншлюса", ей достались австрийское золото и государственные валютные запасы этой страны, общей суммой около 200 миллионов долларов. Сейчас, осенью 1940, Испания просила у США кредитов на сумму в половину золотого запаса Австрии.

Не предлагая при этом никакого обеспечения.

XX

25 сентября 1940 года чрезвычайный посол Испании, Серрано Суньер, вручил Адольфу Гитлеру письмо, направленное ему Франциско Франко. Датировано оно было 22 сентября. Таким образом, вручение послания прошло с запозданием в три дня.

И это было отнюдь не случайно.

Дело в том, что между Франко и Серрано Суньером с самого начала "германского визита" шла интенсивная переписка, и при этом обе стороны не доверяли ни радио, ни телеграфу. Они не доверяли даже своим секретарям и стенографистам - письма часто писались от руки, в единственном экземпляре, и доставлялись специальным самолетом, с посылным.

Понятно и без объяснений - письмо к фюреру не могло быть написано от руки.

Отнюдь нет, оно было должным образом отпечатано, подписано генералиссимусом Франко, переведено на немецкий, и перевод был тщательно проверен.

Но доставили письмо все-таки по установившейся схеме – самолетом.

Написано оно было в необыкновенно приятных тонах, пересыпано самыми лестными комплиментами, содержало уверения в дружбе и преданности - "*...в прошлом, в настоящем, и всегда...*".

Дальше, однако, в тексте шли дружеские укоризны. Ну неужели фюрер сомневается в том, что при вступлении в войну все порты и все аэродромы Испании окажутся в распоряжении ее великого союзника? Конечно, Риббентроп беспокоится о предоставлении Германии военных баз на испанских островах и в испанских колониях.

Но разве не ясно как день, что требования тут совершенно излишни?

Испания сама позаботится об укреплении и обороне всех пунктов на своей территории, а вопросы аренды Рейхом военных баз в отношении сроков и стоимости всегда можно обсудить позднее.

Кроме того, хотелось бы оставить наконец позади старые проблемы, связанные с долгами Испании за военные поставки 1936-1939. Разве поля сражений испанской Гражданской Войны не послужили пробным полигоном нового оружия Рейха, показавшего такие блестящие результаты в его титанической борьбе?

И если уж Италия готова снисходительно отнестись к оплате своих военных поставок, то конечно же, Германия, с ее гораздо большими средствами, может посмотреть на этот вопрос в свете широкого сотрудничества с Испанией, без ненужной мелочности?

Что касается германских требований о поставках минерального сырья из будущих испанских колоний, которые должны перейти к ней от Франции, то тут не о чем и говорить. Ну

конечно же, вся добыча этих рудников будет немедленно продана Рейху, и по честной цене - сразу после того, как *“...Испания удовлетворит свои нужды...”*.

Все остальное содержание послания Франко было выдержано в том же духе. Провозглашалась *“...дружба и верность союзу...”* - но все конкретные вопросы, связанные с этой дружбой, тщательно обходились стороной, а вместо них поднимались другие, связанные с платой за союз.

Плату, выражавшуюся в поставках всевозможных материалов в огромных количествах, требовали вперед. Вообще, Испания выражала готовность вступить в войну, но при этом немедленно оговаривалось, что дата этого вступления *“...будет зависеть от развития событий...”*.

В ведомстве Риббентропа говорили, что Испания хочет получить имперские владения в Африке, расплатившись с Германией *“...выражениями дружбы общего характера...”*.

Серрано Суньер уехал из Берлина, задержавшись по пути домой в Риме. Он поговорил о делах и с Чиано, и с Муссолини, и поделился с ними своими впечатлениями. В частности, он назвал Риббентропа *“...бестактным...”*. Чиано, собственно, и сам так думал - но он вряд ли поделился со своим гостем сведениями о впечатлении, которое сам Серрано Суньер и его родственник, генерал Франко, произвели в Берлине.

Оно было нелестным.

Гитлер в доверительной беседе с Чиано сказал ему, что он, как немец,

“...испытывает по отношению к испанцам почти такие же чувства, какие испытывает по отношению к евреям, ибо [Франко] норовит извлечь прибыль из всего самого святого, что только есть у человечества...”.

XXI

Интересно, что содержательную часть мнения фюрера о Франко - *“...жадный торгош, ломающий за свой товар несусветную цену...”* - полностью разделяет английский биограф генералиссимуса.

Пол Престон, автор фундаментальной книги "Франко" общим объемом в 1113 страниц убористо напечатанного текста, тоже уверен, что сделка о вхождении Испании в войну была остановлена только непомерными требованиями главы испанского режима.

Почему-то ему не приходит в голову, что *“...непомерность требований ...”* имела совсем не ту цель, что была

заявлена. Потому что, скорее всего, целью было не достижение соглашения, а затягивание переговоров.

Франциско Франко был очень осторожным человеком.

Это положение можно проиллюстрировать хотя бы на примере хронологии событий. Война между Германией и союзниками по Антанте, Англией и Францией, началась еще в сентябре 1939-го года, но Германия ведет ее поначалу одна, без своих средиземноморских союзников. После краха Франции летом 1940 года ход событий внезапно ускоряется: 10 июня Италия объявила Англии и Франции войну, а 14 июня Испания без всяких особых деклараций захватила французский Танжер.

Но, оказывается, война не закончена - 3 июля 1940 года англичане по приказу Черчилля атаковали французский флот.

И сразу же Франко делает паузу.

Никаких действий против Гибралтара, и даже никаких официальных заявлений. Так, демонстрации с лозунгами: "*Гибралтар - испанский!*" - но с уличных демонстрантов что же и взять?

В середине июля Гитлер издает секретную директиву о подготовке операция "Морской Лев", цель которой - высадка германских войск в Англии. Первым необходимым условием для ее осуществления является господство в воздухе - и в середине августа начинается грандиозное воздушное сражение.

Потом оно войдет в историю как "Битва за Британию" - но это будет только потом.

А сейчас, в конце лета 1940 года, Муссолини предлагает Гитлеру участие своей авиации в налетах на Лондон - он претендует на часть английской добычи, и для подтверждения заявки хочет "... *принять участие в великих событиях* ...".

Франко готов последовать примеру старшего коллеги. Правда, авиации у него нет, но заявки имеются - хотя бы на тот же Гибралтар. Визит Серрано Суньера в Берлин планировался как раз в это время - в конце августа. Дело, казалось бы, неостановимо шло к вступлению Испании в войну.

Но тут наступила операционная пауза.

У Испании не было серьезных средств агентурной разведки, служба радиоперехвата практически отсутствовала, никаких учреждений, сводивших воедино всю сумму имеющейся информации, не было и в заводе. То, что 14 сентября Гитлером было принято решение приостановить операцию "Морской Лев", Франко не знал.

Но к середине сентября 1940-го он был совсем не уверен в том, что "... *война уже окончена* ...". Из испанского посольства в

Лондоне шли самые разнообразные сообщения - в том числе и об американской помощи Англии. Битва в воздухе продолжалась, бомбежки следовали за бомбежками - но англичане белый флаг не выкидывали. Ночной визит английских бомбардировщиков в Берлин, приуроченный к визиту Серрано Суньера, не прошел без внимания. Италия в ее войне с Англией тоже никакими успехами похвастаться не могла.

В холодной трезвой голове генералиссимуса возникли сомнения.

В такой ситуации следовало держать все двери открытыми - поэтому сэра Самюэла Хоара следовало принимать более любезно. Да и отказ американцев в предоставлении не то что запрошенной с них огромной суммы, а вообще во всяких кредитах – “... до тех пор, пока позиция Испании не прояснится...” - тоже следовало принимать хладнокровно.

Больше всего на свете каудильо не хотел “...прояснить позицию Испании...” - позиция эта была неопределенной, и именно такой он хотел ее и держать. С поставками зерна были возможны варианты - скажем, финансирование закупок могло быть сделано по линии американского Красного Креста, на гуманитарной основе и “... в целях предотвращения голода в Испании ...”. Сэр Самюэл был готов поручиться, что британские суда будут пропускать зерновозы в испанские порты.

Ну, конечно, по одному и после должной проверки.

Вариант выглядел приемлемо для Испании, но в Берлине, конечно же, ожидали совершенно другого.

Там-то осталось впечатление, что Франко, конечно, и жаден и упрям, но полностью на стороне Держав Оси - просто вот его посланец оказался несговорчив, и на уступки не шел.

В ведомстве Риббентропа считали, что все легко поправить.

Было, правда, известно, что Франко остался доволен своим родственником и его поведением во время переговоров в Берлине - но одним из итогов "испанского визита" было твердо назначенное свидание Франко и Гитлера на франко-испанской границе, в городке Андай.

А фюрер, как знали все в Европе - от Норвегии и до Сицилии, от Вислы и до Пиренеев - “...обладал редким даром убеждения...”.

За ним, в конце концов, стояла вся мощь Рейха.

Примечания

1. Этот документ в русской версии известен как "*Соглашение Хора – Лавалья*", хотя имя и фамилия английского министра в русской дипломатической литературе передается как "*Сэмюэл Хоар*". Соглашение было достигнуто 8 декабря 1935 года в Париже, и предусматривало уступку Эфиопией Италии части областей Тигре, Данакиль и Огаден, выделение для Италии обширной зоны "экономической экспансии и колонизации" в южной Эфиопии. В обмен Италия должна была уступить лишь узкую полосу территории Южной Эритреи, с выходом к морю.
2. Сообщение было совершенно неофициальным - его передала любовница графа Чиано, которой за сведения платила "MI-6" - учреждение, в котором служил когда-то сэр Сэмюэл Хоар.
3. Пьер Лаваль (фр. *Pierre Laval*) – французский политик-социалист. В период Третьей республики занимал высокие государственные посты, был премьер-министром (1931-1932, 1935-1936). В 1936-1940 годах получил известность как медиамагнат, владелец нескольких газет и радиостанций. Активный деятель правительства маршала Пэтена в Виши.
4. Правительство Испанской Республики в то время генералу Франко уже не доверяло и услало его на Канарские Острова. Испанским самолетом он бы оттуда не выбрался - но британский самолет досматривать не стали. В 1938 Франко наградил своего британского пилота, Сесила Бейба, военным орденом.
5. German: *Goldenes Grosskreuz des Deutschen Adlerordens*. Был еще вариант с добавлением бриллиантов, но им награжден был только Муссолини.
6. Стерлинговая зона сложилась в начале Второй мировой войны с введением Великобританией валютного контроля. Все расчеты шли через Лондон, и обменные курсы всех стран-участниц были привязаны не к золоту, а к английскому фунту стерлингов.
7. По-испански этот же городок именуется "*Endaya*" - "Эндайя".
8. Предложение не без колебаний было принято. Но, как оказалось, ни итальянские самолеты, ни итальянские пилоты для сражений такого накала не подошли.



Надежда Кожевникова

Отступник Коварский, или почему Кейт стала учить русский язык



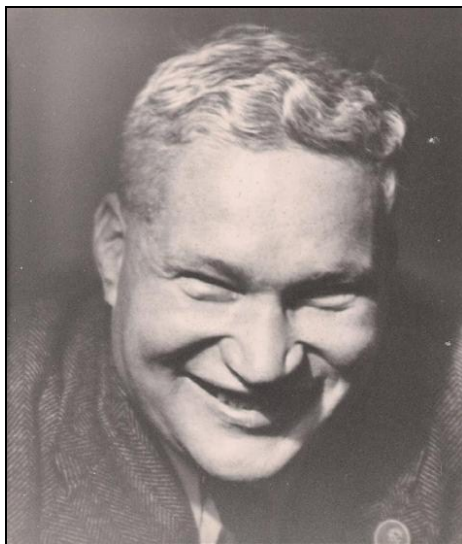
– нет ли у вас ощущения, что вашему мужу, при всём его таланте, не очень везло?

Кейт, не торопится отвечать, глядит на меня внимательно, но без удивления. Хотя, казалось бы, о чем речь? Ее муж - ученый, стоявший у истоков ядерной энергии, работавший с Жолио-Кюри, Кокрофтом, Перреном, построивший первый реактор во Франции, один из старейшин французского Комиссариата по атомной энергии, один из основателей ЦЕРНА - международной организации по фундаментальным исследованиям в области материи, которую еще называют "лабораторией идей". Но Кейт, повторяю, моим вопросом не возмущена, не смущена. Она думает. А с фотографий на столике, на стене, на рояле глядит ее муж: короткие седые волосы, широкое лицо, тяжелый подбородок, во взгляде суровая требовательность. Но когда его губы расплзаются в невольной как бы улыбке, открывается совсем другое...

В квартире Кейт на авеню Фавр, с прекрасным видом на парк де ла Гранж и на Женевское озеро, гуляют сквозняки. В этом доме они с мужем поселились более тридцати лет назад. ЦЕРН, ради которого они и приехали в Швейцарию из Франции, еще был в зародышном состоянии: барачного вида помещения, горстка сотрудников. Старожилов с той поры в ЦЕРНЕ немного осталось, но, например, Люсьен Монтане, сейчас профессор, известный физик, помнит, как, принимая его на работу, муж Кейт спросил: «А с какой фразы начинается роман Толстого "Анна Каренина"? И когда Монтане ответил, муж Кейт поморщился: «Видимо, вы читали роман в очень плохом переводе».

Талантливые люди нередко чудят. И не всегда их чудачества воспринимаются окружающими верно. Вообще только

близкие, любящие знают друг о друге сокровенное. Когда муж Кейт умер, она захотела, чтобы в тот день на его могиле на кладбище Сен-Жорж прозвучало пушкинское: "Брожу ли я вдоль улиц шумных..."



Лев Николаевич Коварский

Кейт знала. А вот наши молодые советские физики, работающие в Женеве по соглашению, заключенному между ЦЕРНом и СССР двадцать лет назад (при активном, кстати, содействии мужа Кейт, ездившем в 1968 году в Дубну, в Серпухов, где у нас запускался ускоритель) - они, как выяснилось, понятия не имели, что тот самый Коварский, о котором до сих пор ходят легенды...

...родился в Петербурге в 1907 году, в семье певицы Ольги Власенко и бизнесмена, выражаясь по-современному, Николая Коварского. Мальчика назвали Львом. (В ту эпоху на Львов Николаевичей была особая мода - Толстой умами владел.) Мать хотела, чтобы сын стал музыкантом, и он уже брал уроки композиции, но в 1918 году супруги расстались, отец забрал сыновей и увез их с собой в Вильно.

Мать осталась в России, занятия музыкой прервались, отец весь в делах, которые между тем идут совсем не так как предполагалось. Сыновья учатся в русской гимназии, но позднее их пути расходятся: старший Николай уезжает продолжать

образование в Бельгии, младший поступает в Лионский Политехнический и заканчивает его по специальности инженера-химика. Потом - Париж. Лев решает поступать в Сорбонну, но отец больше не может поддерживать его материально. Поэтому он устраивается на службу в некое газовое хозяйство, где трудится в первую половину дня, а во вторую спешит в лабораторию по сбору анализов одной из парижских психиатрических лечебниц. Освобождается к вечеру, чтобы засесть за свою диссертацию по образованию кристаллов, которую защищает под руководством Нобелевского лауреата Жана Перрена. А вскоре Перрен знакомит его с другим Нобелевским лауреатом, Жолио-Кюри.

Это начало: Жолио, Коварский и австрийский физик Хальбан заняты тем же, что и группа ученых в Америке во главе с Ферми. Идут, что называется, ноздря в ноздю, а времени и вправду очень мало: уже тридцать девятый год.

Немцы вот-вот войдут в Париж. И так же, как недавно из Норвегии, надо срочно эвакуировать тяжелую воду, необходимую для ядерных исследований, что поручается Хальбану и Коварскому. Но тут неожиданная заминка с документами: у Коварского, оказывается, польский паспорт, к тому же еще и просроченный, вообще он уже довольно долго существует, что называется, между небом и землей. В другое время ему пришлось бы худо, но тут ситуация особая. И он в этой ситуации фигура ключевая. Поэтому то, на что обычно уходят годы, благодаря влиятельности Жолио, связавшегося с Министерством обороны, решается в три дня. Коварский получает французское гражданство и вместе с Хальбаном пускается в путь, через всю Францию, на грузовике, где в специальных баллонах - сокровище, по тем временам, правда, мало кому понятное. Во всяком случае английский таможенник счел за лучшее самому ничего не решать, доложить по начальству: прибыли иностранцы с **тяжелой водой** - что делать?!

Зато в Кембридже и про них самих, и про тяжелую воду знали, ждали. Как потом Коварский говорил, это был самый счастливый период, в его жизни - почти четыре года в той самой лаборатории, где еще недавно работал у Резерфорда Капица.

Жюль Гирон, один из участников кембриджского эксперимента, руководимого Коварским, вспоминает, что хотя они все себя не щадили, Коварский вкалывал, по его выражению, как экскаватор. Перечисляя достоинства Коварского как ученого, Гирон с трогательной почитательностью добавляет, что ещё он **гениально** играл в слова. Такие, невзначай как бы оброненные свидетельства, бывают нередко очень ценными, точно

характеризующими и обстоятельства, и лица. Прямо-таки воочию видишь Коварского, в котором некоторая неповоротливость, внешняя неуклюжесть, поразительно контрастируют со стремительным изяществом мысли, озорным умом. И чувствуешь ту обстановку, грозную, требующую от людей небывалого напряжения всех сил, и где беда, горе, боль так близко соседствуют с предвкушением счастья победы, великого научного открытия - и где именно поэтому способность к безмятежной улыбке, шутке, "игре в слова", действительно можно назвать **гениальной**.

А вот можно ли назвать великим т о открытие? Когда уже знаешь во что оно человечеству обошлось и, что особенно страшно, неизвестно во что ещё обойдётся... Хотя, нельзя не признать, что ядерный век ворвался в нашу жизнь под знаком неизбежности: уклониться было никак нельзя.

Правда, если бы не военная угроза, поток научных знаний не получил бы такого лихорадочного ускорения, гонки, при которой пренебрегалось всеми, так называемыми, "побочными явлениями": осознание, что от них зависит будущее, что будущее-то как раз под угрозой, к сожалению, пришло лишь потом. Вместе с тем, любое суждение о прошлом достаточно поверхностно, и только недалёкие или же недобросовестные люди уверяют, что в прошлом-де разобрались, всё расставили по местам, всем выдали по заслугам. На самом деле, то, что прошло, не меньшая тайна, чем то, что будет. Это касается и истории, и политики, и отдельной человеческой судьбы.

Лев Коварский, как вспоминает Кейт, часто повторял: атом дал нам защиту и энергию. В том же, что помимо защиты, он используется и как угроза, в этом участия его, Коварского, не больше двух процентов... Два процента - мало или много? На склоне лет критерии иные, чем в молодости. А вот почти полвека назад, когда лучшие научные умы трудились над "манхэттенским проектом", Коварского туда не допустили, сочли недостаточно надёжным для столь серьёзного дела, чем он был весьма огорчен. Но власти, за работой над проектом наблюдающие, решили не рисковать: войти в ряды создателей первой американской атомной бомбы Коварскому помешали русские корни.

Правда, он оказался близко, в Канаде, где продолжался кембриджский эксперимент: предстоял запуск реактора. Там он познакомился с Кейт, её брат-электронщик работал с ним в одной группе.

Кейт родилась в семье известного немецкого химика Фрейндлиха, покинувшего Германию в 1933 году после прихода к власти Гитлера. И хотя все, и отец, и брат, и она сама неплохо устроились, имели интересную работу, тоска по дому не заглушалась ничем.

Кейт рассказывает... Ее легкие седые волосы забраны назад, в пучок. Крупные руки, без колец, без маникюра, про которые можно сказать - рабочие, лежат на коленях - Кейт смотрит мне в лицо, и вместе с тем - сквозь, в даль...

Вот она стоит в поезде у окна, и ей очень одиноко, грустно. Брат взял ее с собой на экскурсию в горы, организованную его коллегами, и зря она согласилась. Она боится, что заплачет, и это будет такой стыд! Коварский к ней подошел, заговорил и... - непонятно как это ему удалось - но она просто-таки валится от хохота. Вроде бы ничего особенного, а до того смешно! Она не успевает отсмеяться, как вдруг он произносит очень серьезное: «Знаю, что в отличие от другим немцев-эмигрантов, считающих, что вместе с Гитлером надо ругать и страну, ненавидите фашизм, но не Германию. И вы абсолютно правы».

В сегодняшний день Кейт возвращается с неохотой, не без труда припоминая мой вопрос:

-...везло ли ему или нет? Это трудно сказать. Но сам он действительно чувствовал себя где-то с краю... Относительно Нобелевской премии? Нет, так вопрос не стоял. Наверно могли, но не выдвинули. Он занимал высокие посты, и в Комиссариате по атомной энергии, и в ЦЕРНЕ, но всегда кто-то находился над ним. Его это раздражало, хотя, признаться, он не очень умел ладить с людьми. Даже странно, ведь по натуре был добрый, отзывчивый, но какой-то **другой**. Вы видели фильм "Сталкер"? Вот мой муж на Сталкера похож. Чем? Они оба искали справедливости, правды. И оба казались окружающим **странными**.

- Многое он сам усложнял, - Кейт продолжает. Но иначе наверно не мог. Взрывался мгновенно, никто вокруг себя так не вел. И даже чувство юмора у него было совсем иное, не французское, хотя, можно сказать, всю жизнь во Франции прожил. Вообще он в чем-то очень существенном отличался, не знаю как объяснить... Ему все вещи приходилось шить на заказ, он не подходил ни под какие стандарты, над всеми возвышался, всюду был заметен, высокий, большой. Особенный... Это приносило и ему самому, и тем, кто был с ним рядом, и счастье, но и боль. Да, ему приходилось тяжело, и он рано понял, что значит изгнание.

Русская эмиграция - эта сложная тема. Сказать, что другие народы, другие нации могут переселяться из страны в страну, не испытывая никаких комплексов, а только русские **страдают**? Какая-то получается мистика. Цветаева писала: "...на какой бы точке карты, кроме как на любой - нашей родины, мы бы ни стояли, мы на этой точке - и будь она целыми прериями - непрочны: нога непрочна, земля непрочна..."

А вот Кейт считает, что всё обстоит проще: если ты не рожден в системе, она тебя не поддерживает. Особенно это касается Франции, где, с ее точки зрения, кастовость очень сильна. Чтобы добиться того, чего её муж добился, ему понадобились двойные усилия. И он никогда не забывал времени, когда его держали перед закрытыми дверями: он проник за них, но с опозданием. В науку вошел только после тридцати, тогда как его сверстники куда больше успели. Ему приходилось нагонять, что он тоже не забывал всю жизнь. И это был не просто период безвестности, безденежной молодости, впоследствии порой приобретающий даже некий романтический оттенок - это было безжалостным приговором человеку со стороны. Безродному, иностранцу.

А ведь от родной почвы Коварский не по своей воле отказался, его одиннадцатилетним увезли. Но и то правда, что в ту эпоху родина к таким, как он, ласковости не выказывала. Человек начитанный, интересующийся, он и не питал иллюзий на сей счёт.

В 1936 году он пришёл в советское посольство в Париже за разрешением на визу для поездки в Ленинград, где жила его мать. Ему сказали зайти через месяц. Спустя месяц явился и услышал, что ответа пока нет, надо ещё месяц обождать. Так повторялось трижды. Он понял и больше не приходил. А вскоре от матери пришло письмо с просьбой больше ей не писать - почему, догадаться нетрудно

Его старший брат Николай, и музыкально, и литературно очень одарённый, но так и не сумевший ни к чему приладиться, болезненно переживший разрыв родителей, отъезд, отрыв, к концу войны исчез. Лев не смог найти никаких его следов. Последнее, что он знал о брате: тот был переводчиком в американских войсках в Германии, и была у него мечта вернуться на родину, в Советский Союз.

По словам Кейт, Коварский редко рассуждал на политические темы. Считалось, и без слов ясно как относится их круг, ученые, художники, музыканты, к любой из форм диктатуры. Зато Коварский с наслаждением говорил о русской культуре, русском искусстве, русских людях, которых он очень любил. В

1968 году вместе с Кейт он приехал в Дубну. Тогда как раз возникло соглашение между ЦЕРНом и СССР, на основе которого наши физики уже в течение двадцати лет приезжают работать в Женеву.

Хотя поначалу, наоборот, несколько сот физиков из ЦЕРНа приехали в Серпухов, где у нас запустили ускоритель, тогда самый мощный в мире. Церновцы привезли с собой компьютеры, лазеры, современнейшее оборудование, но приехали они к **нам**: их ускоритель такого же, примерно, класса, ЦЕРН построил только через несколько лет. Мы же за прошедший период не построили ничего: тот ускоритель, что запустили в Серпухове оказался последним.



Николай Николаевич Коварский

Но вернёмся к концу сороковых - началу пятидесятых. Послевоенная Европа. Помимо атомной явилась еще и водородная бомба. И в этой атмосфере как должна была прозвучать идея объединения вокруг совместного исследования все того же атома стран, еще недавно смертельно враждующих, Франции и ФРГ - ведь именно они вошли в пока еще небольшое ядро государств-членов ЦЕРНа? Жена физика Коварского уверяет, что он редко о политике говорил, и вообще мало ею интересовался, но именно физики, в их числе Коварский, создавая ЦЕРН, как раз и внедряли модель **общего европейского дома**, которую нынче приветствуют

прогрессивные государственные умы. В том же ЦЕРНе началось международное научное сотрудничество исключительно в **мирных целях**.

В 1954 году Лев Коварский вышел из Комиссариата по атомной энергии Франции. Тамошние коллеги сочли его поступок неразумным. Ведь оставаясь в Комиссариате, он пользовался бы поддержкой, почётом как один из старейшин. Но Коварский по-своему решил. Дальнейшие его действия, по слухам, дошедшим до Кейт, в Комиссариате определили как "возрастные сдвиги": Коварский начал борьбу против атомных станций, число которых во Франции всё больше возрастало, и конкретно, против той, что собирались строить в Кре-Мальвиле на границе со Швейцарией.

Была создана инициативная группа под названием "Бельрив". В неё вошли общественные деятели, писатели и тот, кто наилучшим образом знал предмет и потому чувствовал особую ответственность, особенно сознавал опасность: ученый Коварский. Группа составляла петиции, выпускала брошюры, а кроме того Коварский просто беседовал с людьми, собирая огромные аудитории: говорил доступно, его понимали. Скажем, приводил такой пример: представьте, что в центре вашего города или деревни поставили колоссальную клетку, наполненную кобрами, уверяя, что запоры на клетке прочнейшие, и змеи никак не смогут выбраться оттуда. Может быть и не смогут, но уютно ли, спокойно ли вы, жители, будете чувствовать себя?

Волна протестов ширилась, что, впрочем, не помешало атомную станцию в Кре-Мальвиле построить. Но и по сей день в Женевском кантоне можно встретить надписи: Кре-Мальвиль - это смерть, НЕТ Кре-Мальвилю. Группа "Бельрив" продолжает действовать, и хотя Коварского уже нет, его портреты, его высказывания включаются в выпускаемые группой брошюры. Он остаётся авторитетом. И именно поэтому с точки зрения, скажем, Комиссариата выказал себя отступником. Впрочем, отступником его можно счесть и перед самим собой, молодым, страстно желающим быть в эпицентре последних открытий, в Лос-Аламосе, куда его не пустили, где возникла первая атомная бомба, и над нашей планетой завис первый атомный гриб.

Впрочем, в таком начале и в таком завершении жизненного пути есть как раз логика, стройность: большой талант предполагает большую ответственность, пример тому Оппенгеймер, Сахаров.

В последние годы у Льва Николаевича Коварского стали слабеть глаза, и вот однажды Кейт по его просьбе впервые взяла в руки книгу, изданную по-русски и, не понимая ни слова, стала

читать вслух. Это был "Фальшивый купон" Толстого. Дочитать мужу повесть до конца ей не удалось.

Тогда Кейт дала самой себе обещание - учить русский. Как она сказала, это тот ее подарок мужу, который она не успела при жизни ему подарить. С русским ей пока трудно приходится, но вот дом - я таких на Западе не видела, зато часто бывала в таких в Москве. В них жили скромно те, кого называют интеллигентами. Но поскольку происходила наша встреча в Швейцарии, в Женеве, я поинтересовалась, хорошо ли они были с мужем обеспечены, скажем, в последние годы, и на что деньги в основном тратились, чем, иными словами, Коварский увлекался?



Лев Николаевич Коварский

– И в Комиссариате, и позднее в ЦЕРНе муж получал высокие ставки, - начала Кейт с немецкой обстоятельностью, - но он часто ездил, и по Европе, и в Америку, куда его приглашали с чтением лекций на тему об ответственности ученых перед общественностью: поездки ему оплачивались, а я его сопровождала уже за свой счет. Это обходилось довольно дорого. Чем он увлекался? Самым большим удовольствием для него были встречи, разговоры с людьми. Вот здесь - она показала на довольно-таки неказистый, местами покоробленный светлого дерева стол - он работал и мы обедали, и принимали гостей. Правда, - Кейт улыбнулась, - больше всего говорил он сам. Сердился, если ему возражали. Порой я ругала его: зачем ты себя так вел! Как ты мог... Но в душе я всегда была с ним согласна, и всё, что он говорил, мне казалось правильным. Когда его не стало,

я поняла, что больше никогда у меня не будет такого чувства, что всё, что человек говорит - так оно и есть.

Кейт улыбнулась и отвела взгляд. Она прекрасно собой владела. Владела всегда, и в самые горькие часы, когда, пыталась, не понимая смысла, на слух определить, найти обязательно то пушкинское стихотворение, что слышала от мужа: "Брожу ли я вдоль улиц шумных..."



Анатолий Абрамов

Человек Альберт Швейцер. Книга первая. Подвиг

*Посвящается моей дорогой сестричке,
доброй и волевой Дитуне, деятельно любившей
людей, моей второй заботливой маме*



то книга о человеке, который сказал, что «личный пример не только лучший способ убеждения, но единственный» и что «моя жизнь – мой аргумент».



Альберт Швейцер в год принятия
решения о служении человечеству

Альберта Швейцера можно безошибочно причислить к великим учителям жизни, к спасителям человечества. Сегодня, когда мир находится в фазе кризиса и стремительных перемен в природе и всех областях социальной жизни, пример Альберта

Швейцера – человека индивидуального действия и независимого мыслителя, гражданина в планетарном масштабе – нужен многим. Он нужен всем, кто хочет сделать себя лучше, человечнее, кто хочет способствовать улучшению жизни и уменьшению страданий в мире.

Слово подвиг так прекрасно! В нём соединены самоусовершенствование, самопожертвование, результатом чего является и сдвиг сознания, не только личного, но и сознания народа и страны...

Творите героев! Пришло время, когда мы все должны стать героями и творить героев.

Елена Рерих

Содержание

Предисловие (вместо пролога)

Введение

Часть I

Европейское начало

Глава 1. 1875 – 1893. От Гюнсбаха до Страсбурга, или
Детство и юность

Глава 2. 1893 – 1898. В университете

Глава 3. 1898 – 1905. От доктора теологии к студенту-
медику

Глава 4. 1905 – 1912. Подготовка к Африке

Часть II

Служение Африке и миру

Глава 5. Африка встречает Швейцеров

Глава 6. 1913 – 1917. Первая больница

Глава 7. 1915. Рождение формулы «Благоговение перед
жизнью»

Глава 8. 1917 – 1918. Семья Швейцер-Бреслау –
военнопленные

Глава 9. 1924. Начало пути к возвращению в Африку. Две
книги. В путь!

Глава 10. 1924 – 1925. Воссоздание больницы

Глава 11. 1925 – 1927. Строить третью больницу!

Глава 12. 1928 – 1929, 1932. Швейцер и Гёте

Глава 13. 1933 – 1938

Глава 14. 1939 – 1948. Трудности Второй мировой

Глава 15. 1948. В США

Глава 16. 1953. Начало строительства деревни для
прокажённых

Глава 17. 1954. Нобелевская премия мира

Глава 18. Будни больницы в 1955 году

Глава 19. 1957 – 1962. В защиту будущего

Глава 20. В последние годы

Глава 21. Полвека больницы

Глава 22. 1965. Уход

Эпилог жизнеописания

Хроника жизни и трудов Альберта Швейцера

Послесловие: внимание к Альберту Швейцеру

Приложения

Об Альберте Швейцере

Из мыслей Альберта Швейцера

Норман Казинс. Побольше смейтесь, и жизнь не будет вам казаться такой грустной

Благодарности

Литература

Предисловие (вместо пролога)

Эта книга родилась из давней увлечённости Человеком, носившим имя Альберт Швейцер. К тому же моя знакомая, мечтающая (прекрасная душа!) об издании небольших и недорогих книжечек о великих, как она говорит, «вдохновенных тружениках», просила оформить для неё материал о Швейцере, который можно было бы использовать в беседах с ищущими знания.



«У старых органов ручной работы отличное звучание»

Всё началось с небольшой статьи, переросшей в очерк, а уже потом – и в книгу.

И вот, когда очерк был уже почти готов, обнаружилось, что граждане 1970 года рождения и младше, а очень часто и более

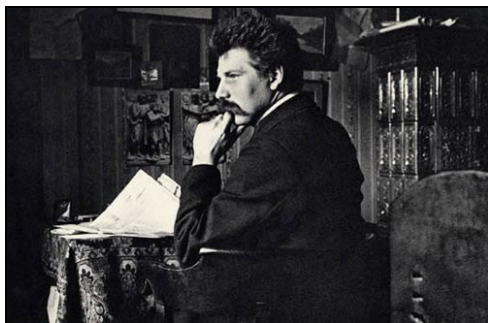
старшие, не знают, кто такой Швейцер. Своевременность предпринятого труда стала очевидной.

«Человек индивидуального действия», как о себе говорил Альберт Швейцер, внутренне восстал против подавления индивида государством и коллективами и продемонстрировал своей жизнью, что может сделать один свободно мыслящий и свободно действующий человек. Он не стремился к такой демонстрации, он просто действовал по внутренней потребности. В своих блестящих по простоте формы, по ясности и глубине высказываниях и опубликованных трудах он подчёркивал, что любой человек, как бы он ни был занят и какими бы способностями ни обладал, может сделать для других людей нечто, что поможет им в их жизни.

Швейцер повторял, что в основе культуры лежит совершенствование человека путём помощи другим людям. Он не был единственным великим подвижником, действовавшим в тяжелейшем XX веке. Всмотревшись сегодня в явление подвижничества в минувшем столетии, уместно вспомнить великую семью подвижников – Н. К. и Е. И. Рерихов и их сыновей Юрия Рериха и Святослава Рериха, а также В.Ф. Войно-Ясенецкого, Махатму Ганди, Индиру Ганди, Мартина Лютера Кинга, Д. С. Лихачёва, Мать Марию (Скобцову), Мать Терезу, Александра Меня, Д. Неру, папу Иоанна Павла II, Р. Я. Рудзитиса, А. Д. Сахарова и ещё и ещё немногих Людей, ушедших и живых (здесь не называемых), своим титаническим трудом противопоставивших мировому злу и давших человечеству надежду, а скорее даже и уверенность, в приходе лучшего, подлинно человеческого, будущего. Этих гуманистов можно, поистине, причислить к Учителям жизни, показавшим человечеству путь спасения. Среди них у Альберта Швейцера была своя особая миссия. Он был одним из тех, кто воплотил в себе идеал гражданина, приближение к которому даст возможность создать новое общество, называемое сегодня гражданским, даст возможность человечеству перейти к новой, духовно ориентированной, цивилизации.

Философ и историк А. А. Гусейнов представил в своей книге «Великие моралисты»[1] ряд этических личностей: Конфуций, Будда, Моисей, Иисус Христос, Мухаммед, Сократ, Эпикур, Л. Н. Толстой, Альберт Швейцер. Уже само включение специалистом-исследователем в такой блистательный ряд Швейцера говорит о том, как высоко поднялся этот человек в общественном сознании. Швейцер принёс человечеству «на вырост» новую религиозную этическую философию. Он был

глубочайшим философом. Он был великим гуманистом, одним из выдающихся гуманистов в известной нам человеческой истории. Он, как и все перечисленные личности, бывшие более чем личностями и более чем просто людьми, учил людей человечности своей жизнью, единой со своей проповедью.



Стать врачом? В раздумьях в 1905 году

Альберт Швейцер был наделён многочисленными талантами, проявившимися в разных областях деятельности. Но его сверхталантом, его гениальностью было служение людям, наиболее ярко раскрывшееся в африканский период его жизни.

Введение

Это книга о Любви. О Любви Человека по имени Альберт Швейцер к людям, ко всему живому, ко всей Большой Природе в её необъятности. О Любви, проявленной в жизни великого труженика, повседневного героя.

По существу, это не книга даже, а большой научно-популярный рассказ об одной очень большой жизни. Большой не столько своей продолжительностью (хотя и это тоже), сколько значительностью свершений и широким диапазоном проявления жизненной энергии – от теории культуры и принципиальных основ мировоззрения до самого разнообразного напряжённого практического труда – от тонких хирургических операций до тяжёлых строительных и земляных работ. Научная сторона повествования выражена в ссылках на источники информации и стремлении к точности, популярная – в стремлении к ясности и краткости изложения, совместимой с полнотой охвата основных событий жизни Швейцера.

Состоит книга из двух частей авторского текста и трёх приложений. Основное внимание уделено жизнеописанию, жизненному подвигу Швейцера. Его взгляды на мир и жизнь, его открытие принципа благоговения перед жизнью человека и всех

других живых существ показаны очень кратко, только как составная часть ткани его жизни после озарения 13 сентября 1915 года.

Подробное рассмотрение мировоззрения Швейцера, его учения о благоговении перед жизнью в сопоставлении с Учением Живой Этики будет представлено во второй посвящённой ему книге: «Человек Альберт Швейцер. Книга вторая. Универсальная живая этика» (подготавливается к изданию).

В послесловии говорится об интересе к его подвигу после ухода Подвижника с земной арены, о продолжении его дел и о его влиянии на современный мир.

Жизнеописание дополняется хроникой жизни и трудов Швейцера. Некоторые события его жизни и творчества указаны только в ней, в основном тексте их нет. «Хроника», по сути, является кратким описанием его жизни и трудов, кратчайшей биографией.



Очередь на приём к Белому Доктору

Части книги состоят из глав, приведенных в сквозной нумерации. Жизнь Швейцера описана в основном в хронологическом порядке, что обычно для биографии. Отступлением от этого правила является параграф «Швейцер и Гёте». В нём Швейцер раскрывается перед нами путём сопоставления личностей двух мировых гениев. В соответствии с законом психологической проекции, которому мы все без исключения подчиняемся (этот закон поясняется в тексте), Швейцер, говоря о Гёте, раскрывает себя, свой характер и мировоззрение. Хронологический порядок в параграфе несколько нарушен, поскольку подчинён обозначенной в названии теме.

Ещё более он нарушен в главе 21. Она охватывает 50 лет существования «ламбаренской» больницы со стороны участия в

ней людей, часто чрезвычайно самоотверженных, помогавших Швейцеру в его титаническом труде. Врачебный и хозяйственный труд Швейцера на африканской земле мог бы состояться только в родственном ему коллективе. Перед читателем на историческом фоне предстают судьбы некоторых его помощников.

В книге много цитат. Они дают возможность почувствовать прозу Швейцера-писателя, особенности его мышления; узнать о происходивших событиях от их главного действующего лица и свидетеля. Мы считаем, что цитаты помогают ввести читателя в атмосферу жизни Швейцера, блестяще описанную биографами-предшественниками, в особенности Борисом Михайловичем Носиком. Пересказ цитат, к которому нередко прибегают многие авторы, в данном случае был бы неоправдан.

О приложениях.

Первое из них позволяет увидеть образ Швейцера как человека-гуманиста в освещении его биографов и современников.

Во втором представлены в систематизированном виде мысли Швейцера по ряду ключевых вопросов жизни и мировоззрения.

В качестве третьего в книгу включена статья талантливого американского журналиста и писателя Нормана Казинса, неоднократно гостившего у Швейцера в его африканской больнице. В статье, кроме общего значения «смехотерапии», обрисовано её использование Швейцером для поддержания тонуса и оздоровления сотрудников ламбаренского «оазиса милосердия», а также приводятся интересные подробности сотрудничества Белого Доктора с местными знахарями.

Часть I

Европейское начало

Тот путь, которым вошла в моё сердце заповедь, запрещающая нам убивать и мучить, стал величайшим переживанием моих детских лет и моей юности. Всё остальное рядом с ним поблекло.

Альберт Швейцер

Глава I.

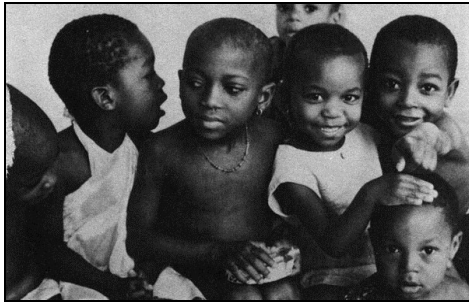
1875-1893. От Гюнсбаха до Страсбурга, или Детство и юность

Всё в человеке начинается с детства, а как считают многие, даже и ранее того. Поскольку «ранее того» нам недоступно, начнём рассказ с детства.

Мы никогда бы не узнали подробностей детства и юности Альберта Швейцера, если бы о них не сообщил он сам. Однажды,

летом 1923 года, проезжая через Швейцарию, Швейцер был вынужден ждать поезда в Цюрихе. Воспользовавшись неожиданно появившимся свободным временем, он навестил своего давнего друга психолога Пфистера. По его просьбе Швейцер в течение двух часов, отдыхая на кушетке, наговорил текст, который его швейцарский друг тщательно застенографировал и после того, как Швейцер внёс свои поправки, издал под названием: «Альберт Швейцер. Воспоминания о детстве и юности» [2, с. 9-22]. В «Воспоминаниях»¹ Швейцер рассказал о своих детских впечатлениях и о многом, услышанном от матери и родственников.

«Я родился 14 января 1875 года в городке Кайзерсберге в Верхнем Эльзасе, в доме с башенкой, слева у верхнего выхода из города. Его занимал мой отец, священник и учитель небольшой евангелической общины в городе, где население было по преимуществу католическим».



Дети из деревни для прокажённых

За три года до рождения Альберта Швейцера закончилась франко-прусская война и, бывший до неё французской провинцией, Эльзас (8,3 тыс. кв. км), вошёл в территорию возникшей в результате войны объединённой Германии. Французские язык и традиции начали вытесняться из официальной жизни немецкими. Сами языковые трудности для эльзасцев не существовали, они были народностью двуязычной, трудна была очередная перестройка жизни на новый лад.

Биограф Швейцера Х. Штефан[3] провёл изыскания и сообщает, что род Швейцеров обосновался в Эльзасе после окончания тридцатилетней войны, в середине XVII века, когда их

¹ В дальнейшем тексте этой главы выдержки из «Воспоминаний» приведены в кавычках без указания источника.

предок Иоганн Николаус Швейцер перебрался в Эльзас из Франкфурга-на-Майне².

Альберт был вторым ребёнком и первым сыном в семье Луи и Адель Швейцеров. Луи был пастором³, а Адель – дочерью пастора Иоганна Якоба Шиллингера из соседней с Кайзерсбергом горной долины. В семье, кроме Альберта, воспитывалось ещё четверо детей – три дочери и сын. Старшая дочь родилась в 1873 году, самый младший ребёнок – сын – в 1882. Имя своё Швейцер получил в честь любимого брата мамы, по её рассказам очень доброго и ответственного человека. Дядя Альберта, тоже бывший пастором, «отдал Богу душу» незадолго до рождения своего племянника.

Через полгода после рождения Альберта Швейцеры переехали в небольшую деревушку Гюнсбах, живописно расположенную в окружении гор неподалеку от родного городка матери, Мюльбаха. В Гюнсбахе, в отличие от Кайзерсберга, лютеран было много, и в тот момент требовался пастор. Луи (Людвиг, на немецкий лад) Швейцер получил там приход. И, как это было принято, состоялась церемония введения нового пастора в должность. На неё съехались пасторы из соседних городков и деревень. В доме Швейцеров жёнам пасторов был продемонстрирован полугодовалый Альберт, – от рождения ребёночек слабенький и неказистый, к тому же ещё и с жёлтым личиком. И тут произошёл конфуз. Ребёнок был до того непригляден, что гости не знали, что и сказать, и могли только вежливо промолчать и удалиться. Огорчённая мать унесла сыночка в другую комнату и там разрыдалась. Конечно, никто и представить не мог, каким этот человек будет красивым, и внешне и внутренне, каким могучим и каким великим своими делами.

Воспоминания о своем хилом младенчестве Швейцер завершает словами: «Но молоко от коровы нашего соседа Леопольда и прекрасный воздух Гюнсбаха совершили чудо. С двух лет я начал крепнуть и скоро стал здоровым ребёнком.

В пасторском доме в Гюнсбахе вместе с тремя сёстрами и братом я прожил своё счастливое детство».

В «Воспоминаниях» Швейцер обращает внимание на то, что лютеране и католики очень мирно уживались в Гюнсбахе.

² Согласно Интернет-исследованию «Знаменитые потомки князя Рюрика. Россия, Европа, США», Альберт Швейцер входит в обширный список потомков Рюрика по женской линии.

³ Пастор – священник протестантской церкви.

Мальчика в шесть лет отдали в начальную, трёхлетнюю школу. Это не было для него праздником. «В один прекрасный октябрьский день отец впервые сунул мне под мышку грифельную доску и повёл к учительнице, а я проплакал всю дорогу. Я предчувствовал, что моим мечтам и моей чудесной свободе пришёл конец».



В деревне для прокажённых Швейцер обучал детей французскому языку

По всем предметам, кроме музыки, учился он плохо. «Я был тихим и мечтательным учеником, не без труда выучившимся чтению и письму». Но на фотографии 1882 года – мальчик с очень серьёзным и даже, может быть, суровым, взглядом и выражением лица.

Ещё до школы отец рассказывал сыну много библейских историй, а в восемь лет Альберт попросил у отца Новый Завет и начал его читать. Уже тогда у него возникли первые содержательные, хотя и детские, вопросы по этой великой Книге. По воскресеньям он присутствовал на проповедях своего отца, и эти службы сильно на него влияли. Фёдор Тютчев (1803-1873), замечательный поэт-философ, будучи как дипломат за границей, однажды (это было в 1834 году в Тегернзее) написал:

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой –
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Музыкальные способности проявились у Альберта очень рано. «Ещё до школы отец начал обучать меня игре на старом клавесине. Я немного играл по нотам. Но особую радость мне доставляли импровизации, а также песни и хоралы с самостоятельно найденным сопровождением». А его чувствительность к музыке была удивительной: «На второй школьный год у нас дважды в неделю было чистописание, которое вёл учитель, перед этим занимавшийся пением с учащимися старших классов. Как-то мы, младшие, явились слишком рано, и нам пришлось подождать у дверей классной комнаты, где старшие занимались музыкой. Когда раздалось двухголосное пение: «Я там у мельницы сидел в сладостном покое» или «Кто тебя, прекрасный лес...» - я должен был опереться о стену, чтобы не упасть. При звуках двухголосной музыки блаженство пронизало всё моё существо, я ощущал её кожей. А когда я в первый раз услышал духовые инструменты, я почти потерял сознание. Но звучание скрипки не казалось мне прекрасным, и я лишь постепенно свыкся с ним».

Альберт Швейцер родился в семье, где музыкальными были и предки Швейцеры, и предки со стороны матери – Шиллингеры. Дед со стороны матери, пастор и просветитель Иоганн Шиллингер, был органистом, увлекавшимся ещё и конструированием органов. От него Швейцер унаследовал страсть к органу не только как к музыкальному инструменту, но и как к интересному техническому устройству. И впоследствии, приезжая на гастроли в новый для него город, он отправлялся осматривать старый орган. И часто «лечил» его. Он стал крупнейшим органом мастером.

Дед Филипп Швейцер был одновременно и учителем, и органистом. На органе Альберт начал играть в восемь лет, как только стал дотягиваться до педалей.

Дом Швейцеров был красивым, и красивый вид открывался от него на невысокие горы и долину с виноградниками. Пейзаж украшали развалины крепости, видневшиеся на склоне горы напротив.

Но вот в доме Альберта радовало не всё.

«Самым неприятным местом для меня был рабочий кабинет отца. Я заходил туда только при крайней необходимости. Мне казалось противоестественным, что отец всегда сидит за столом, что-то изучает, пишет. Я не понимал, как он может это выдерживать, и поклялся себе, что никогда не стану таким учёным, пишущим человеком». Может быть, это та единственная клятва, которую нарушил Альберт Швейцер. Он стал учёным и пишущим,

много пишущим человеком. Он написал несравнимо больше, чем его отец. Он написал около тридцати книг [3] и ещё не менее полутора десятков статей и очерков [2, с. 516]. Однако закончим цитату: «Гораздо лучше стал я понимать занятия отца, когда вырос и смог оценить привлекательность печатавшихся им в «Церковном вестнике» и календарях сельских историй».



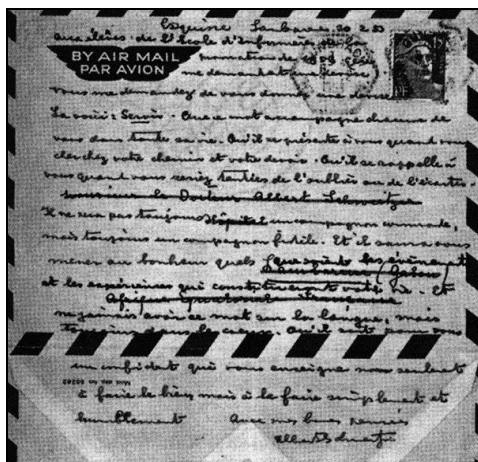
Письма, письма, письма...

После Рождества отец заставлял детей – Альберта и его сестёр (брат Поль был ещё слишком мал) – писать благодарственные письма тем, кто прислал в их дом поздравления с праздником. Происходило это мучение в том же отцовском кабинете. «Эта послерождественская неделя была единственной, когда отец проявлял к нам строгость. В остальное время он предоставлял нам полную свободу. Мы умели ценить его доброту и были ему глубоко благодарны. Во время летних каникул отец два-три раза в неделю уходил с нами на целый день в горы. Так мы и росли, как дикий шиповник».

Неизбежную в некоторых ситуациях строгость Альберт отцу прощал.

В 9 лет его перевели в «реальшюле» - реальную школу (в России в ту же пору такие школы с техническим уклоном назывались реальными училищами) в городке Мюнстере, в 3-х километрах от Гюнсбаха. Ходил он в школу через горы, три километра туда и три километра обратно. Горы, леса, долина с виноградниками. Старался ходить один, без попутчиков-

одноклассников, чтобы никто не мешал его безмолвному общению с горной природой Вогезов. Она восхищала его и весной, и летом, и красочной осенью, и искрящейся снегом зимой. Будучи взрослым, он не раз говорил: «Я сосна Вогезских гор!» Любовь к природе входила в детскую душу во время этих вынужденных радостных походов, входила, чтобы остаться в ней навсегда.



Сначала он писал черновики писем на старых конвертах – экономил бумагу

«Преподавание закона Божия в реальной школе Мюнстера вёл пастор Шеффер, известный религиозный деятель и прекрасный по-своему рассказчик. Он умел захватывающе передавать библейские истории. Я до сих пор помню, как он плакал, сидя за кафедрой, а мы всхлипывали за партами, когда Иосиф открылся своим братьям. Мне он дал прозвище Исаак, что значит «Смешливый». Меня действительно легко было рассмешить (это было моей слабостью), чем школьные товарищи бессовестно пользовались во время занятий. Как часто в классном журнале появлялась запись: «Швейцер смеялся». При этом у меня был далеко не жизнерадостный характер; я был робок и замкнут». Интересно, что когда много позже Ромен Роллан (1866-1944) познакомился и подружился со Швейцером, то дал ему прозвище «Смеющийся лев».

Обучение в Мюнстере продолжалось всего один год.

«Когда во время каникул 1885 года было решено, что я поступлю в гимназию Мюльхаузена в Верхнем Эльзасе, я часами плакал тайком от всех. Я чувствовал себя так, будто меня силой

отрывали от природы». Мюльхаузен находился в соседней долине. Прогулки закончились. Его взяли к себе в дом на полное обеспечение бездетные дальние родственники. Полный тёзка его отца Луи Швейцер был двоюродным дедом Альберта (братом его родного деда Филиппа Швейцера). Перевод в гимназию и переезд к родственникам решили материальные соображения. На продолжение образования сына у его отца средств не было. А в гимназии детей пасторов обучали бесплатно.

Отные дядя Луи и его жена тётя Софи, так их называл Альберт, становились его воспитателями. В доме жила ещё учительница Анна Шеффер, дочь пастора, добрый человек, которая, как вспоминал Швейцер, хорошо на него влияла. Дядя и тётя были строги, требовательны и справедливы.

Два характерных эпизода. Альберт пристрастился к чтению газет, он очень интересовался политикой. В этом он, по его словам, подражал своей матери, которая любила читать газеты, находя в них описание современной истории. Но тётя думала, что мальчик больше всего интересуется не политикой, а криминальными происшествиями и романами в газетных литературных приложениях. Поэтому она хотела запретить ему чтение газет. И вот однажды дядя Луи сказал: «А давайте-ка проверим, действительно ли парень читает газеты из-за политики!» И стал просить Альберта называть имена тогдашних европейских политиков, составы кабинетов министров и важнейшие политические события. Экзамен был выдержан успешно и с тех пор дядя Луи на равных начал вести с 11-летним Альбертом разговоры на политические темы. Обычно они происходили за столом во время еды.

Тётя Софи очень следила и за тем, чтобы мальчик регулярно делал музыкальные упражнения, требовала это сухо, без эмоций. Она тем самым оказывала будущему выдающемуся музыканту чрезвычайно большую услугу, чего он, естественно, не мог понимать тогда, а оценил много позже. А пока Альберту приходилось проводить за фортепьяно долгие часы. Как-то он от этого сильно загрустил и смотрел с тоской в окно, погружённый в свои мысли. Тётушка Софи, которая в это время неподалеку гладила бельё, взглянула на него и сказала: «Пойдём, погуляем немного!» И они отправились в продолжительную прогулку по городу и его живописным окрестностям. Во время прогулки они почти не разговаривали. Вернулись домой уже в сумерки. После этого эпизода мальчик понял, что у тёти Софи есть сердце.

В гимназии Альберт дружил с двумя одноклассниками – с Эдуардом Остье и ещё с одним мальчиком – сыном пастора Матье.

В их домах он встречал самое благожелательное отношение. Тёплая атмосфера в доме, школьные друзья, всё складывалось хорошо в мюльхаузенский период жизни Швейцера.

И в гимназии Мюльхаузена, как и в школах до неё, Альберт Швейцер вначале был плохим учеником. «Я был всё ещё слишком мечтателен». Директор гимназии даже как-то пригласил его отца и, когда тот приехал, сказал ему, по возможности деликатно, что, пожалуй, лучше всего было бы забрать его сына из гимназии. Альберта удивляло, что отец совсем не бранит его за отсутствие успехов в учении. «Но он был слишком добр и слишком огорчён, чтобы сердиться».

Всё вдруг переменилось, когда в классе появился учитель с большим чувством ответственности и очень обязательный. Даже такая, казалось бы, простая деталь – новый учитель всегда вовремя возвращал проверенные тетради – произвела на его ученика значительное впечатление. Доктор Веeman заботился о том, чтобы ученики поверили в свои силы. И Альберт «проснулся». Он стал подражать учителю в дисциплинированности, в выполнении долга. Он начал учиться всерьёз. И за каких-нибудь три месяца вошёл в число лучших учеников.

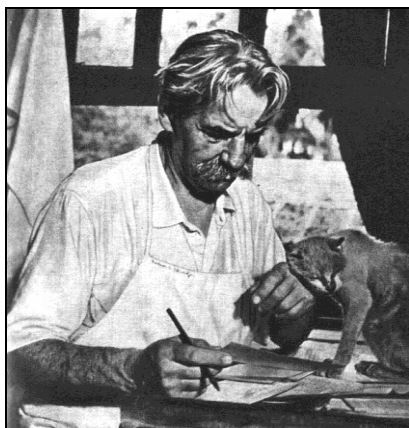
Швейцер так написал об учителе, сыгравшем столь большую роль в его жизни: [2, с. 22]: «Благодаря ему я понял ту истину, которую стремился реализовать в своей воспитательной деятельности: глубокое и до мелочей доходящее сознание долга – это огромная воспитующая сила, позволяющая достичь того, что не могут сделать никакие поучения или наказания».

После музыки он больше всего любил историю и природоведение (естествознание), но скучные и поверхностные учебники по естествознанию его отталкивали. Видимо, они вполне отвечали определению, данному Бернардом Шоу учебнику, как книге, совершенно непригодной для чтения.

В природе он всегда чувствовал неисчерпаемую таинственную глубину: «Мы не признаём за природой её абсолютной непостижимости и уверенно говорим об объяснении там, где в действительности имеет место лишь более углублённое описание» [3, с. 31].

В «мюльхаузенский» период Альберт начал много читать. Он буквально, по выражению тётушки Софи, «проглатывал» книги. «Страсть эта не знала границ, – вспоминал Швейцер в 1923 году. – Она преследует меня ещё и сейчас. Я не в состоянии выпустить книгу из рук, если начал её читать, и способен провести за чтением всю ночь. Или уж в крайнем случае я должен пролистать её до конца».

А в гимназии, тем временем, появился новый директор Вильгельм Дееке, который, как и Вееман, оказал на Швейцера благотворное влияние. Он был знатоком древнегреческой литературы и вдохновенно читал своим ученикам старших классов Платона. С этой вершины философской мысли началось знакомство Альберта Швейцера с философией.

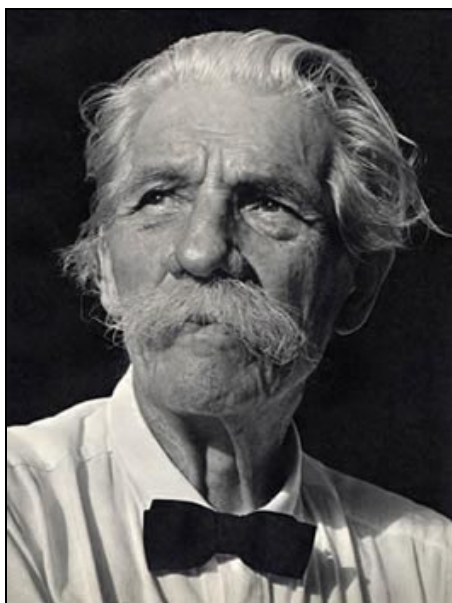


Писать дневники, письма, очерки, воззвания, философские труды радостнее, когда рядом друг

Путь Швейцера к музыкальному мастерству не был гладким и беспроблемным. Учитель Ойген Мюнх, у которого он брал уроки музыки в Мюльхаузене, восклицал: «Альберт Швейцер – это моя мука!» и повторял: «Коли уж у человека нет чувств, я при всём желании не могу дать их ему» [3, с. 32]. Чувства у Альберта были, и когда дверь его души отворилась, тот же Мюнх не мог нарадоваться успехам своего ученика. В шестнадцать лет он начал играть на органе в церкви Святого Стефана и впервые выступил на концерте. Примерно в это же время Мюнх познакомил Швейцера с творчеством Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750).

В последних классах гимназии Швейцер давал уроки математики нуждающимся в этом школьникам и заработал себе на велосипед, который, как настоящую диковинку, наблюдал ещё живя в Гюнсбахе и который иногда получал на время, чтобы прокатиться. Вскоре он с друзьями организовал велосипедный кружок, и они объезжали окрестности Мюльхаузена. А потом он сам, уже в Страсбурге, ездил на велосипеде в университет и,

насколько мог себе это позволить, на прогулки в невысокие гористые окрестности города.



Нобелевский лауреат

Выпускное сочинение в гимназии Швейцер написал на тему «Счастье обретается в заботах». Х. Штефан разыскал сочинение в архивах и справедливо заметил, что не так важно содержание, в котором он не нашёл ничего выдающегося, как само название темы [3, с. 20].

Но мы, кажется, немного увлеклись гимназическим периодом Альберта Швейцера и не закончили описания примечательных моментов его детства. Вернёмся в Гюнсбах.

Население Эльзаса было бедным, и семья пастора Швейцера совсем ненамного превосходила в обеспеченности окружающие крестьянские семьи. Пасторского жалования еле хватало на скудную жизнь. В доме, где было пятеро детей, нужда пыталась задавать тон. Но семья была дружная, все любили друг друга, и материальные невзгоды преодолевались. На склоне лет, в посвящённом ему фильме, Швейцер сказал (за кадром) о своих родителях: «Они воспитали нас для свободы. Мой отец был моим самым дорогим другом» [5, с. 380].

С детства он был приучен к сельскому труду – на огороде, в винограднике, в простых строительных работах. Внешне это был обычный сельский подросток с проступавшими иногда задатками нравственного гения.

Вокруг него в детстве были животные: коровы, лошади, собаки, кошки, куры, ослы. Страдая от бедствий, которые он наблюдал вокруг, Альберт особенно остро ощущал боль и страдания животных. Переживал это и на своём опыте. Однажды, погоня лошадь, он ударил её хлыстом, а потом, когда приехал домой, заметил, как тяжело у неё вздымаются взмыленные бока, как она устала, и пожалел её, пожалел о своём ударе: «И что пользы в том, что я смотрел в её усталые глаза и молча молил о прощении?». Подобных случаев, с другими животными, было у него несколько, все он остро переживал.

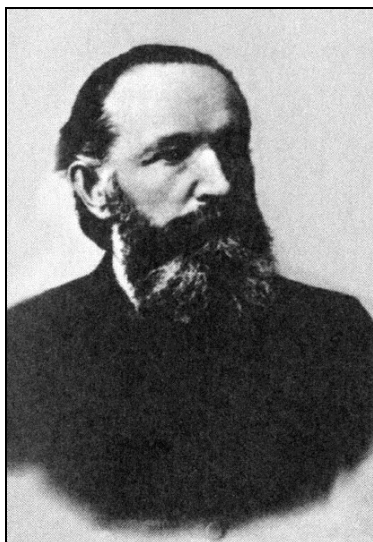
Ещё дошкольником он решил, что в вечерней молитве следует упоминать не только людей, и сам придумал молитву, которую произносил перед сном: «Отец Небесный, защити и благослови всякое дыхание, сохрани его от зла и позволи ему спокойно спать!».

Вместе с этическим чувством так же рано проснулась и способность к самонаблюдению. Может быть, наиболее удивителен в этом отношении эпизод на пасеке. Совсем маленький Альберт, малыш в девчачьем платьице, сидит в саду возле дома, а его отец неподалеку работает с пчёлами. И вот ребёнок кусает пчела, раздаётся истошный рёв. К нему выбегают из дома все взрослые, пытаются утешить. А мальчик продолжает реветь. И вдруг он замечает, что боль прошла, а он ревет, чтобы оставаться в центре внимания, чтобы вызвать ещё больше сочувствия. И остаток дня он недоволен собой (эта кроха сначала заметила за собой, что ревет напоказ, а потом ещё и устыдилась), считает себя плохим. Швейцер отметил позже, что это воспоминание удерживало его во взрослой жизни от жалоб.

Ребёнок начал труд самосовершенствования. Став взрослым, он определит этот труд как основу личной культуры.

В детстве Швейцер заметил свою большую вспыльчивость. В «Воспоминаниях» он определил вспыльчивость, как «страстность, унаследованную от матери». Однажды во время игры Альберт настолько, как говорится, вошёл в раж, что ударил свою старшую сестру. Этот случай стал для него поворотным, привёл вскоре к овладению своей огромной внутренней энергией. Он уже в детстве избавился от раздражительности – этого зла, долгие годы отнимающего силы у многих людей.

Чуткая душа мальчика легко усваивала уроки нравственности, преподносимые жизнью. Время от времени через Гюнсбах на тележке, запряжённой ослом, проезжал еврей Мойша, который жил в соседней деревушке. Мальчишки увязывались за ним и всячески дразнили. Однажды Альберт примкнул к ним и как все кричал: «Мойша! Мойша!». «А Мойша со своими веснушками и сивой бородой продолжал свой путь так же невозмутимо, как и его осёл. Только иногда он оборачивался и улыбался нам смущённо и доброжелательно. Эта улыбка покорила меня. От Мойши я впервые узнал, что значит молча сносить преследования. Он стал моим великим воспитателем. С тех пор я приветствовал его с особой почтительностью».



Отец – пастор Людвиг (Луи) Швейцер

Очень важный для его становления эпизод произошёл, когда, поддавшись на уговоры своего школьного приятеля, Альберт отправился на гору пострелять птичек. Ему было семь или восемь лет. Повинуясь своему спутнику, но испытывая большое внутреннее сопротивление, он наставил рогатку на беззаботно поющую птичку, твёрдо решив промахнуться, и... в этот момент до него донёсся из деревни звон церковных колоколов. Он был воспринят мальчиком как глас небесный. Швейцер отбросил рогатку, распугал птиц, чтобы спасти их от рогатки второго мальчика, и побежал домой.

«Тот путь, которым вошла в моё сердце заповедь, запрещающая нам убивать и мучить, стал величайшим переживанием моих детских лет и моей юности. Всё остальное рядом с ним поблекло».

А вот ещё один эпизод, очень характерный для Швейцера. На зиму ему сделали пальто из перелицованного отцовского. Но он наотрез отказался его надевать, потому что окружавшие его мальчишки не имели и такого. Отец был изумлён, он хотел, чтобы его сын во что бы то ни стало приходил на воскресную службу прилично одетым, и настаивал, употребив даже в качестве последнего аргумента хорошую затрещину и заточение в чулане. Но сын был непреклонен. И эта сцена повторялась каждое воскресенье до тех пор, пока отец не сдался. Луи Швейцер был добрым, любящим и любимым отцом, и строгим, когда это требовалось, а Альберт Швейцер уже в детстве был твёрд в своих решениях. Он принял решение об отказе от пальто. Это было самоограничение. Сознательное, осмысленное самоограничение было в дальнейшем для Швейцера одной из основ этики.

У своих одноклассников – деревенских мальчишек – он отмечал то, в чём они превосходили его, смотрел на них по-доброму. И относился к ним по-доброму, будучи уже взрослым. Он был добрым от рождения. В юности на танцевальных вечеринках он приглашал танцевать тех девушек, которых не приглашал никто.

Глава 2

1893-1898 . В университете

В 1893 году Швейцер оканчивает гимназию и поступает в университет в столице Эльзаса – готически красивом Страсбурге (теперь в этом городе заседает Европарламент). Университет тогда переживал пору расцвета. Преподаватели, в основном молодые люди, занимались не только чтением лекций, но и проведением исследований. Многие из них приехали из Берлинского университета, имевшего богатую научную и педагогическую историю.

Атмосфера в Страсбургском университете была свежей, творческой. В автобиографии Швейцер с благодарностью вспомнил свой университет за свободу, которую он давал студентам для исследовательской работы тем, что не держал их строго в рамках учебных программ и не переутомлял частыми экзаменами; относил эту характеристику ко всем германским университетам того времени.

Учится Швейцер сразу на двух факультетах – теологическом и философском, да ещё и посещает лекции по

теории музыки. Он беден, и ему нужна стипендия, а её дают только при очень хорошей успеваемости. И для того, чтобы увеличить свои шансы показать требуемую успеваемость, Швейцер в 1894 году идёт добровольцем в германскую армию. Добровольчество сокращало и срок службы в армии с трёх лет до одного года, и количество экзаменов в университете, от которых зависела стипендия, с трёх до одного. Военная часть до осени стояла на окраине Страсбурга, и командир время от времени отпускал студента-теолога на лекции в университет.



Мать – Адель Швейцер, урожденная Шиллингер

В этот период, в 1894 году, начался глубокий творческий интерес Швейцера к жизни и Учению Иисуса Христа. Принимая участие в военных маневрах, он урывками изучает Новый Завет, который носит в своём походном рюкзаке.

Учась в университете на первом курсе, будучи очень загруженным занятиями и очень нуждаясь (он ел один раз в сутки), Швейцер начинает брать ещё и уроки музыки в Париже у известного органиста, композитора и музыкального критика Шарля Мари Видора (1844-1937). Именно Видор познакомил музыкальную Францию с Бахом. А Альберт Швейцер расширил понимание Баха самим Видором. Один из разговоров Швейцера с Видором в 1899 году, уже после окончания университета, имел большие последствия для творческой жизни Швейцера и баховского музыковедения. Этот разговор говорит также о сердечной простоте отношений учителя и ученика. В предисловии к книге Швейцера о Бахе Видор написал [3, с. 51]: «Однажды, – это было в 1899 году, – когда мы разбирали хоральные прелюдии, я признался ему, что в этих пьесах многое кажется мне

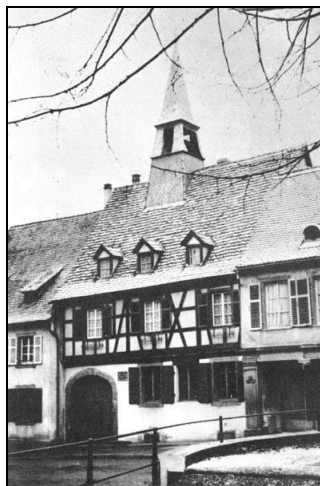
непонятным. “Насколько ясна и проста, – сказал я ему, – музыкальная логика мастера в прелюдиях и фугах, настолько туманной предстаёт она в мелодиях хорала”. Естественно, – ответил на это ученик, – в хоралах многое должно оставаться неясным, если не знать относящихся к ним текстов. Я показал ему пьесы, над которыми я больше всего ломал голову, и он, зная тексты на память, перевёл их мне на французский. Загадки разрешились. За несколько последующих дней мы разобрали все хоралы. По мере того, как Швейцер... знакомил меня с содержанием каждого из них, передо мной раскрывался такой Бах, о котором прежде я имел самое туманное представление». После этого эпизода Видор предложил Швейцеру «написать небольшой трактат о хоральных прелюдиях для французских органистов» [3, с. 51]. Небольшой трактат не получился, а через несколько лет получилось объёмное, в несколько сотен страниц, исследование творчества великого композитора, – капитальный музыковедческий труд Швейцера.

Решение

В начале лета 1896 года студент Альберт Швейцер приехал на каникулы домой в Гюнсбах. Счастье жизни наполняло его. Он с увлечением занимался музыкой, теологией и философией. У него были любимые родные, друзья. Он чувствовал в себе силу, энергию для воплощения своих творческих замыслов, для полнокровной жизни. И вот на таком жизненном фоне он принимает своего рода обет служения, который до сих пор вызывает удивление у большинства его биографов и кажется необъяснимым.

Объяснить его можно тем, что необычный юноша почувствовал в глубине своей души диссонанс между своей безоблачной жизнью и жизнью многих других людей. Он ощутил свой долг перед человечеством, перед миром. Знание всей последующей жизни Альберта Швейцера делает такое предположение более чем вероятным. Сам Швейцер в автобиографии «Из моей жизни и мыслей» вспомнил, как он пришёл к своему решению: «В одно прекрасное летнее утро в Гюнсбахе, на Троицу (это было в 1896 году) я проснулся с мыслью, что не должен принимать доставшееся мне счастье как нечто само собой разумеющееся, но обязан отдать что-то взамен. Продолжая неторопливо обдумывать эту мысль в постели под щебетание птиц за окном, я решил, что смогу считать свою жизнь оправданной, если буду жить для науки и искусства до тридцатилетнего возраста, чтобы после этого посвятить себя непосредственному служению людям. Много раз до этого я пытался понять, что

означают для меня лично слова Иисуса: «Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет свою жизнь ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её». Теперь ответ был найден. В дополнение к внешнему у меня было теперь и внутреннее счастье.



Дом в Кайзерсберге, где родился Альберт Швейцер

Каков будет характер моей будущей деятельности – этого я ещё не мог сказать. Это подскажут обстоятельства. Несомненным было только одно: это должно быть непосредственное служение людям, пусть даже незаметное и не бросающееся в глаза» [26, с. 53].

Непосредственное служение людям...

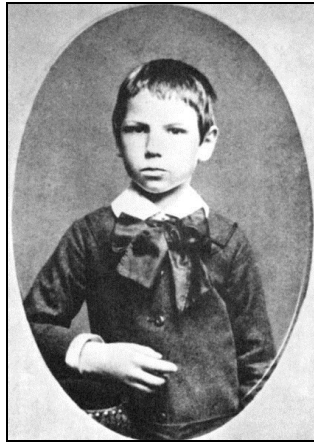
По компьютерному описанию гороскопа Швейцера (время рождения взято 23 часа 50 мин), он Упорный Козерог. Трудно судить, насколько верен гороскоп, для этого надо быть специалистом в этой непростой области знания, но то, что Альберт Швейцер выказал себя крайне упорным и последовательным в выполнении принимаемых, часто необыкновенно трудных, решений, – это свершившийся факт.

Глава 3.

1898-1905. От доктора теологии к студенту-медику

6 мая 1898 года Швейцер сдаёт первый государственный экзамен по теологии. Университет в этом году им окончен, причём столь успешно, что он получает сразу на шесть лет вперёд особую стипендию. Он обязан за этот срок выполнить диссертацию на первую учёную степень или, если не успеет этого сделать, вернуть

всю сумму. И он отдаётся изучению философии, особенно крупнейших западных философов Платона, Аристотеля и Канта, и уже через год защищает, и публикует в Тюбингене, свою первую большую работу – докторскую диссертацию «Философия религии Канта от “Критики чистого разума” до “Религии в пределах только разума”».



Альберт Швейцер на восьмом году жизни

Иммануил Кант (1724-1804) – одна из вершин философской мысли Запада, родоначальник немецкой классической философии. Тот, кто хотя бы один раз открывал том основных сочинений Канта, знает, какой непреодолимой глыбой предстаёт этот философ. Понимать Канта непрофессионалу трудно всегда, а иногда чрезвычайно трудно. Но и для профессионала он, вероятно, твёрдый орешек. Вот пример. Рассуждая об этически-гражданском обществе, в котором граждане добровольно подчиняются законам добродетели, не имеющим юридической основы, и о политически-гражданском обществе, где подчинение идёт по принудительным законам права, Кант подаёт такое суждение (если хотите, можете напрячься и понять его):

«Однако же, поскольку обязанности добродетели касаются всего рода человеческого, то понятие об этической общности всегда должно относиться к идеалу сообщества всех людей, и в этом оно отличается от понятия политической общности. В силу этого известное число объединённых в определённом намерении людей не может ещё называться этической общностью в собственном смысле, но лишь особым обществом, стремящимся к единодушию со всеми людьми (и даже

со всеми в конечном счёте разумными существами), дабы достигнуть абсолютного этического целого, по отношению к которому всякое частное общество есть не более как представление или схема; ведь каждая из них, в свою очередь, в отношении к другим подобным обществам может быть представлено как находящееся в этическом естественном состоянии со всеми недостатками этого последнего (как это бывает с различными политическими государствами, которые не состоят ни в каком отношении посредством публичного права народов)». Это из трактата Канта «Религия в пределах только разума»[4].



Гюнсбах в Эльзасе. Здесь прошли детские годы Швейцера

И вот с такого «прозрачного» мыслителя Швейцера дебютирует как философ. В свои 24 года он сразу проявляется как выдающаяся творческая личность. В диссертации, как везде и всегда в дальнейшем, он позволяет себе очень самостоятельные суждения. Швейцера написал, что у Канта «страшный недостаток мысли, который сочетается с глубочайшим мышлением. Колоссальные новые истины появляются здесь. Схвачен абсолютный характер этического долга, но содержание его не исследовано» [5, с. 76]. Понять самого Швейцера тоже бывает порой нелёгко, хотя он делает всё, чтобы быть понятным (это его принципиальная позиция) – стремится писать просто о самых глубоких вещах.

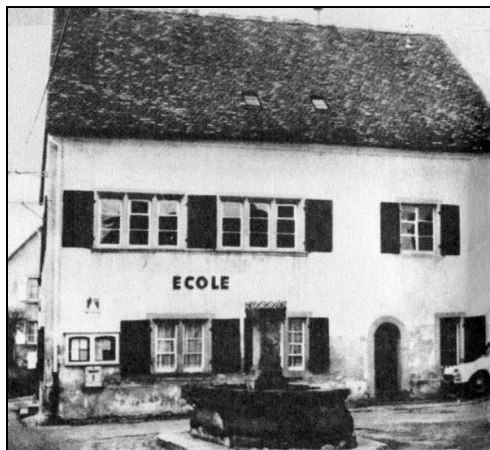
После опубликования диссертации перед ним открывается возможность стать доцентом университета. Но Швейцера принимает другое решение и становится помощником пастора (викарием) в церкви Святого Николая в Страсбурге. Из его

пасторских проповедей познакомимся с двумя высказываниями, которые, как и все свои взгляды, он сам воплотил в жизнь. В 1908 году, когда Швейцер как пастор, венчал знакомую пару, он сказал: «Высшее вдохновение этого момента не в том, что двое поклялись в своём сердце жить друг для друга, а в том, что они приняли решение в сердце своём жить вместе для служения какому-то делу... Только те поймут великие задачи нашего времени, кто поймёт, что всякое служение, всякая попытка улучшить человечество и добиться прогресса должны вести к созданию нового духа» [5, с. 131-132]. К этим словам примыкает еще одно напутствие для близких друг другу людей: «Знать друг о друге не значит знать друг о друге всё; это значит относиться друг к другу с симпатией и доверием, верить друг другу. Человек не должен вторгаться в чужую личность. <...> Существенно лишь стремление зажечь в себе внутренний свет <...> когда в людях зажжётся этот свет, он будет виден. Только тогда мы узнаем друг друга, идя в темноте, и не к чему будет шарить рукой по чужому лицу или вторгаться в чужое сердце» [5, с. 18].

В 1902 году Швейцер всё же делается доцентом, а в 1903 году – руководителем евангелистско-теологического факультета в Страсбургском университете, читает лекции студентам и трудится над книгой о поисках исторического Иисуса Христа. Параллельно с работой в университете и поездками в Париж для совершенствования своего музыкального исполнительского мастерства (он, кроме Видора, брал уроки ещё у двух преподавателей – по фортепьяно) Швейцер начал работать над предложенным Видором небольшим трактатом о хоралах Баха, который разросся в большую книгу. Он писал её в весенние и осенние каникулы, в выходные дни и ночами. Он соединил в своем анализе преклонение перед гениальным композитором и проникновение в философию, этику и поэтичность музыки Баха. Книга «И.С. Бах. Музыкант – поэт» объемом в 455 страниц вышла в Париже в 1905 году. Краус, первый биограф и друг Швейцера, написал об этом произведении: «Его артистический темперамент и богатое воображение в сочетании с его выдающимся музыкальным талантом позволили ему описать музыку Баха как живописную музыку и открыть новую эру в интерпретации Баха» [5, с. 105].

Швейцер, как многие эльзасцы, одинаково хорошо владел и французским, и немецким языками, но родным считал всё же один – немецкий, хотя, по семейной традиции, переписывался с родными на французском. Принципиально считал, что у человека не может быть двух родных языков. «Мой собственный опыт

заставляет меня думать, что если кто-либо утверждает, что у него два родных языка, то это не более чем самообман. Он может, конечно, считать, что в равной степени владеет обоими, но на самом деле думает только на одном и только им одним владеет свободно и творчески» [26, с.38]. Разницу между двумя языками, которыми он владел в совершенстве Швейцер описал так: «Во французском я словно прогуливаюсь по ухоженным дорожкам прекрасного парка, тогда как в немецком брожу по величественному лесу» [26, с.39].



Начальная школа в Гюнсбахе

Книга о Бахе была сразу замечена, и вскоре Швейцер получил из Германии просьбу перевести исследование о Бахе с французского на немецкий. Он согласился, но не смог «переводить самого себя» и написал свой труд на немецком языке заново, при этом расширил исследование. В начале 1908 года книга «И.С. Бах» почти вдвое большего объёма увидела свет. Она переведена на русский язык: в 1934 году с французского издания, в 1964 – с немецкого. Книга стала классическим трудом о гениальном композиторе, не потеряла своего значения по сей день. Вот цитата из московского 1964 года издания (с. 550), относящаяся к произведению Баха «Страсти по Матфею»: «Невыразимая печаль, которая слышится в последовательности гармоний, таит в себе что-то неземное и просветлённое».

Швейцер называл Баха величайшим из великих. «Его музыка поэтична и живописна, потому что её темы рождены поэтическими и живописными представлениями. Исходя из этих

тем музыкальная композиция развёртывается в совершенное архитектурное сооружение, построенное из звуков. Музыка, которая по самой своей сути является поэтической и живописной, предстаёт перед нами как готическая архитектура, претворённая в звучание. Самое великое в этом искусстве, которое так исполнено жизни, так удивительно пластично и уникально по совершенству формы, - это тот дух, которым веет от него. Душа, от земных тревог страстно стремящаяся к покою и уже вкусившая его, в этой музыке даёт возможность другим приобщиться к её духовному опыту» [26, с. 41].

С юности душе Швейцера была очень близка героическая музыка немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813-1883). Когда он, будучи 16-летним подростком, впервые прослушал оперу «Тангейзер», то утратил на несколько дней способность заниматься в гимназии. «Это такая великая, причастная стихиям музыка, что Вагнер по праву стоит рядом с Бетховеном и Бахом», - написал он в 70-летнем возрасте [6, с. 367]. Когда Швейцер обдумывал книгу о Бахе на немецком языке, он долго не мог её начать. И только прослушав оперу Вагнера «Тристан», он получил прилив вдохновения, и в тот же вечер книга «пошла». «С этого вечера меня охватила такая радость, такое рвение к работе, что я за два года закончил эту книгу, несмотря на то, что мои медицинские занятия, приготовления к лекциям, проповеди и концертные поездки постоянно меня от неё отрывали. Нередко мне приходилось оставлять работу над нею на несколько недель» [6, с. 368].

В годы написания «немецкого Баха» Швейцер достигает выдающегося мастерства как органист. Стефан Цвейг (1881-1942), приехавший к Швейцеру специально, чтобы поговорить и послушать музыку Баха в его исполнении, пришёл в такое состояние, что потерял ощущение времени, забыл, где находится, а когда очнулся, увидел, что плачет. Допустим, это реакция чувствительной писательской души. Однако и рядовые слушатели выражали восторг. Органные концерты Швейцера с огромным успехом проходили по многим городам Европы.

Маленький штрих о юморе Швейцера. Во время концерта, в Мадриде король Испании спросил музыканта: «Трудно ли играть на органе?» Тридцатилетний Швейцер со спокойным достоинством ответил: «Примерно так же, как управлять Испанией».

Вполне возможно, что Швейцер мог бы стать не только великим музыкантом-органистом, но и выдающимся композитором. Об этом говорит свидетельство англичанки миссис

Лилиан Рассел, которая входила в круг его помощниц в африканский период его деятельности. В 1928 году она сопровождала Швейцера в его гастрольной поездке по Европе и записала свои впечатления о событии, произошедшем в Страсбурге в церкви Святого Николая: «Я думаю, что если бы он не стал никем другим, то он, должно быть, стал бы композитором, великим композитором. В его импровизациях есть ярко выраженная индивидуальность, хотя очень часто это просто танцевальная музыка. Но он никогда не записывает свои импровизации и никогда не повторяет их дважды. Перед нашим прощанием накануне моей второй поездки в Ламбарене он повёл меня в страсбургскую церковь и предложил сыграть что-нибудь по моему выбору. Я выбрала прелюд и фугу ми минор, и он спросил: «А потом?» Я сказала, что хотела бы их и потом ещё раз, и он повторил их снова и снова. Потом отключил огни и сказал: «А теперь я сыграю кое-что для Канады (так звали мою маленькую обезьянку, оставленную в Ламбарене), - и начал импровизацию, прекрасней которой я ничего не слышала ни до того, ни впоследствии. Она была полна магии африканских джунглей и реки, залитых лунным светом, в ней были весёлые игры мартышек, которые скачут среди деревьев в сиянии солнца» [3, с. 224; 5, с. 281-282].

В путешествии по великой жизни человека с именем Альберт Швейцер вернёмся в 1904 год. Швейцер в ту пору в полном расцвете своих творческих сил и просто по-человечески счастлив. Все его любят – родные, студенты, коллеги-профессора, друзья. Он увлечённо работает и днём, и очень часто ночами, а днём иногда отправляется в горы. Но этот человек всегда на вершинах счастья начинал сильнее ощущать свой долг перед людьми. И вот осенью 1904 года, немного ранее намеченного им в 1896 году срока (жить «для себя» до 30-ти лет), ему на стол в семинарии Святого Фомы в его отсутствие кто-то подкладывает журнал Парижского протестантского миссионерского общества, в котором говорится о большой нужде в миссионере с врачебными познаниями во Французской Экваториальной Африке (в провинции Габон). Прочитав это объявление, Швейцер внезапно понимает, что его поиски закончились и ему предстоит сменить Европу на африканские джунгли, чтобы там отдавать свой долг африканцам, отдавать за европейцев, принесших в Африку множество страданий.

Этот выбор, как считают биографы Швейцера, был подготовлен проповедями его отца, который немало говорил о бедствиях чернокожего населения Африки, и... силой искусства.

Поясним. Недалеко от Гюнсбаха и Страсбурга расположен небольшой городок Кольмар, который Швейцер время от времени посещал, наезжая в гости к своей замужней сестре. Каждый раз он отправлялся к памятнику, установленному на могиле адмирала Брюа, чтобы ещё и ещё смотреть на входящую в комплекс памятника скульптуру страдающего негра работы известного скульптора, автора статуи Свободы, эльзасца Фредерика-Огюста Бартольди (1833-1904). Эта скульптура производила на Альберта Швейцера большое впечатление. Он буквально чувствовал страдания молодого мускулистого негра: «И в позе, и в чертах лица этого геркулеса я прочёл грусть, которая возбудила во мне сочувствие и заставила задуматься над участью чернокожих. <...> Творение Бартольди воодушевило меня на то дело, которому я посвятил себя в тридцать лет» [6, с. 359].



Семья пастора Людвиг Швейцера в 1895 году

И вот всё сошлось: предрасположенность к жертвенному служению, обет 10-летней давности, проповеди отца, впечатления от «страдающего негра» и объявление о потребности в миссионере и враче в Африке.

То непосредственное служение людям, которое он искал, найдено. До этого он пытался найти свое служение в Европе. В Страсбурге помогал беспризорникам, бродягам и людям, вышедшим из тюрьмы. Но в этой работе он зависел от организаций, которые диктовали ему свои условия и в которых помощь людям часто не имела в основании сердечности, была не вполне искренней. Это никак не могло устроить Швейцера. Он искал возможность освободиться от паутины любой бюрократии, чтобы действовать самому, действовать независимо так, как ему

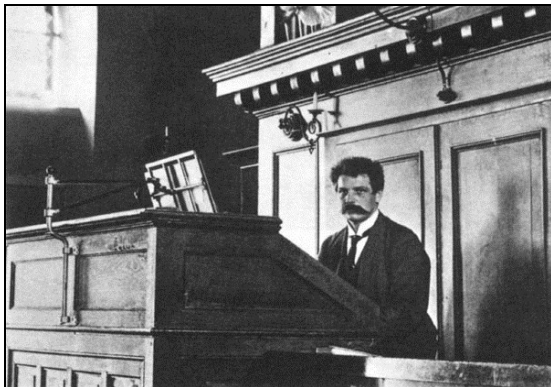
диктует его собственный разум, чтобы быть человеком «индивидуального действия». Профессия врача даёт возможность самого непосредственного служения людям из всех возможных. Возвышать души людей, исполняя прекрасную музыку, читая прекрасные проповеди, лекции, делая всё другое, что он делал в жизни, - это тоже служение, но такое, которое оставляет место и для примеси служения себе, для чувств и мыслей эгоистического характера. Он искал действия самого трудного и самого самоотверженного. Так он был устроен. «Я хотел бы стать врачом, чтобы действовать без каких-либо речей. Годами я выражал себя в словах. С радостью практиковал я профессию преподавателя теологии и проповедника. Но новое дело я не мог представить себе, как речи о религии любви, а только как её несомненное осуществление» [2, с. 530]. Служение только мыслями и словами Швейцера не удовлетворяло. Он стремился к служению в полноте проявлений своего человеческого естества: в поступках непосредственной земной помощи, в мыслях, чувствах и словах. Но решение стать именно высококвалифицированным врачом появилось у него не сразу.

Вначале он намеревался стать миссионером, знакомым с элементами медицины. Об этом говорит его письмо директору Парижского миссионерского общества Альфреду Бёгнеру от 9 июля 1905 года. В письме он просит дать ему работу на миссионерском пункте во французском Конго, и пишет, что ему «нужно ещё шесть месяцев на то, чтобы приобрести некоторые знания общего характера, необходимые для миссионерской деятельности, и в особенности на то, чтобы немного позаниматься медициной. В последнем отношении мне очень повезло, так как некоторые из моих друзей и коллег с медицинского факультета любезно согласились допустить меня в свои клиники и преподавать мне те элементарные знания, в которых я нуждаюсь» [3, с. 71].

В письме есть несколько интересных моментов, с которыми познакомимся из другого источника в переводе А.М.Шадрин: «Мысль о том, чтобы приобщиться к работе миссии, явилась мне не вчера. Мальчиком ещё я привык копить мелкие деньги, чтобы раздавать их потом негритянским детям. <...> Я ни от кого не завишу. Родители мои ещё живы. Отец мой – пастор в Мюнстере, в Верхнем Эльзасе. У меня две сестры, которые очень удачно выданы замуж, а третья живёт с родителями, и брат, готовящийся стать инженером. <...> Здоровье у меня очень крепкое, и я никогда ничем не болел. Алкоголя я не употребляю. Я не женился, чтобы располагать полной свободой и чтобы ничто не могло помешать мне осуществить мой замысел. Если окажется,

что я хорошо переношу климат тропиков, тогда женюсь. Если же я не вынесу этого климата, то и тогда я не буду обузой для Миссионерского общества, потому что я просто вернусь в Эльзас, где меня охотно примут на прежние должности» [6, с. 361].

Но вскоре после написания этого письма Швейцер решает, что он нужен в Африке больше всего не просто как миссионер с медицинскими познаниями, а именно как квалифицированный врач.



Играет на одном из любимых органов:
в церкви св. Стефана в Мюльбахе

А он не врач. Значит, он должен стать врачом!

Окончательное решение далось Швейцеру ценой большой душевной борьбы и потребовало трёх месяцев раздумий. И вот 13 октября 1905 года он из Парижа отправляет письма своим родителям и нескольким друзьям о решении получить медицинское образование в университете и уехать в качестве врача в Африку.

Разразилась настоящая буря. Родители, брат, сёстры, дядюшки и тётушки, двоюродные братья и сёстры, друзья принялись отговаривать его от столь неразумного, как они считали, шага. Конечно, к этому примешивалось их нежелание терять его общество. Кое-кто даже решил, что он помешался. Но этот взгляд был для Швейцера наименее тяжёлым. Он не поддался и не изменил своего решения. Один из биографов Швейцера написал о его решении так: «Известный философ, теолог, проповедник, директор фонда, преподаватель университета, музыкант, писатель и специалист по органостроению решил, что отныне его назначение – быть врачом в девственном лесу Африки» [7, с. 59].

Действительно, для обычного человека это было непостижимо. Но есть такое хорошее выражение: «Чтобы понять человека, надо стать с ним вровень». А кто мог в окружении Альберта Швейцера стать с ним вровень?!



Пастор Альберт Швейцер

Его решение привело впоследствии даже к разрыву с горячо любимой матерью. Но Швейцер принадлежал к тем великим людям, для которых общественное важнее даже очень дорогого личного.

Глава 4.

1905-1912. Подготовка к Африке

Швейцер решает поступить на медицинский факультет Страсбургского университета. Такой поворот в профессиональной ориентации носил революционный характер. До тех пор Швейцер был гуманитарием. Теперь ему предстояло изучить комплекс естественных наук применительно к медицинской профессии и весь арсенал навыков врача-универсала. К тому же, начав учиться медицине, он не снял с себя прежних обязанностей и не прекратил начатых работ. К этому его понуждал не только долг, но и материальные соображения: надо было зарабатывать на жизнь и думать о средствах для осуществления своего африканского плана. Миссионерское общество давало Швейцеру свою марку – как

теперь говорят, крышу, – но финансирования не обещало. И Швейцер разъезжает по Европе, даёт концерты.

Одновременно он, будучи студентом-медиком, руководит факультетом в университете, читает там лекции студентам-теологам; чуть ли не еженедельно выступает с проповедями в церкви Святого Николая; заканчивает в 1906 году писать труд по истории изучения жизни Иисуса Христа, пишет на немецком языке исследование о Бахе, пишет краткий очерк по истории исследований деяний апостола Павла, работает совместно с Видором над практическим руководством по исполнению прелюдий и фуг Баха, первый том которого публикуется в 1912 году, за один год до завершения Швейцером медицинского образования. Поистине, непостижимый по общему объёму круг дел, непостижимая нагрузка. Как он это всё совмещал, понять «нормальному» человеку почти невозможно. Впрочем, побережём наше удивление для будущего знания о жизни Альберта Швейцера.

Одна из работ, которую он не мог оставить в студенческие годы – вопросы строительства органов. Им уже был в 1906 году опубликован обстоятельный труд «Немецкое и французское строительство органов и искусство игры на органе», принесший ему известность и уважение специалистов в этой области. И когда в университете занятия требуют немалых трудов и близятся к завершению, в Вене в мае 1909 года собирается съезд Международного музыкального общества. Впервые в истории этого общества на съезде работает секция органостроения. Далее рассказывает сам Швейцер. «В рамках этой секции я вместе с моими единомышленниками разработал «Международные правила органостроения», где, отвергнув слепое преклонение перед чисто техническими достижениями, мы требовали вернуться к изготовлению гармоничных инструментов с отличным звучанием» [7, с. 62]. Старые, штучные органы он считал несравнимо лучшими, чем изготовленные фабричным способом. Он разработал анкету для известных европейских органистов и органостроителей, в которой было 150 вопросов, и провёл немало ночей, изучая ответы на них, пришедшие от многих людей из шести стран. В результате «Международные правила строительства органов» были изданы в том же году отдельной брошюрой в Вене и Лейпциге.

Но главное – близится окончание университета. Швейцер осваивал все медицинские специальности: хирурга, травматолога, терапевта, психиатра, невропатолога, кожника, инфекциониста, отоларинголога, окулиста, стоматолога, акушера, гинеколога, фармацевта. Он знал, что в Африке никаких других врачей, кроме

него, на сотни миль вокруг не будет и на нём будет лежать вся медицинская помощь страдающим людям. Кроме собственно медицинских знаний, в университете на самом серьёзном уровне преподавался комплекс естественных наук, так называемый «физикум»: физика, химия, зоология, ботаника, психология, а также анатомия и физиология.



Жена – Хелен Бреслау-Швейцер в 1913 году

17 декабря 1911 года он сдаёт последний экзамен. Высшее медицинское образование завершено с общей оценкой «отлично». Далось оно ценой невероятного труда. После окончания экзамена, когда он вышел из госпиталя вместе с экзаменатором, профессором Маделунгом, в «темноту зимнего вечера, то всё ещё не мог осознать, что страшное напряжение долгих лет учёбы теперь позади. Снова и снова я убеждал себя, что всё происходит наяву и я не сплю. Слово из каких-то потусторонних сфер, доносился до меня голос шагавшего рядом Маделунга: “Только ваше великолепное здоровье позволило вам выдержать такую нагрузку”» [26, с.67].

После этого Швейцер уезжает на один год в Париж в клинику, где проходит практику по тропической медицине. Теперь он чувствует себя подготовленным для осуществления своего грандиозного плана. Но нужно ещё получить медицинский диплом. И Швейцер одновременно с практикой пишет медицинскую диссертацию (дипломную работу) на тему: «Психиатрическая

оценка личности Иисуса». В то время несколько врачей опубликовали статьи, в которых утверждали наличие у Иисуса Христа психического заболевания. Эту позицию Швейцер развеял своим исследованием. Он показал, что Иисус всегда действовал адекватно ситуации, в которой оказывался. А Его высокая самооценка, в которой горе-психиатры находили манию величия, связана с Его убежденностью в происхождении из дома Давида и уверенностью, что именно Он – Мессия, предсказанный ветхозаветными пророками. В соответствии с иудейскими представлениями, Он и должен был своё мессианство держать в тайне. По своей этической и духовной мощности и высоте Он был и чувствовал себя духовным царём Израиля.

Диссертация заняла у Швейцера около года напряжённого погружения в психиатрию. Труд над ней так изнурял Швейцера, что он несколько раз хотел его бросить и взяться за другую тему.

После практики и защиты диссертации Швейцер перешёл к врачебной деятельности и фактически, и формально.

18 июня 1912 года происходит большое событие в его личной жизни – он женится.

Элен (Хелене) Марианна родилась 25 января 1879 года в семье Гарри Бреслау; она была не единственным ребёнком в семье, у неё было два брата. Отец Элен считался крупнейшим историком немецкого средневековья, был профессором университета в Берлине, потом в Страсбурге. Вначале Элен решила стать педагогом, окончила учительские курсы, работала в женской гимназии. Но во время длительного пребывания в Италии вместе с родителями (её отец работал в архивах) увлеклась живописью и скульптурой. Вернувшись в Страсбург, она изучает историю искусства. Едет на один год в Англию с целью лучшего овладения английским языком, работает гувернанткой. Возвращается и по приглашению знакомых отправляется в Россию. Живя в Полтаве, изучает русский язык. Возвратившись в Страсбург, решает посвятить себя помощи детям-сиротам, одиноким матерям и их детям. Работает в доме для одиноких матерей с детьми, открытым тогда на окраине города.

В 1902 году, придя с группой детей в пустой собор и разучивая с ними на первом этаже хоралы, слышит вариации на темы Баха, которые Швейцер играет на втором этаже. Его исполнение восторгает её, они знакомятся. Но встречаться они начинают в 1909 году. Кроме музыки, их сближает взгляд на жизнь как на служение людям. У них возникает высокая любовь.

Элен приобретает квалификацию медицинской сестры («сестры милосердия») с уклоном в тропическую медицину и

после этого подготовлена помогать, и помогала в дальнейшем, своему мужу во всём – от вычитывания корректур до ассистирования в хирургических операциях. Элен олицетворяла именно то женское начало, которое в сочетании с мужским даёт паре энергию для гармоничной жизни, вдохновляет на общественно полезное действие. Элен стала преданной подругой Альберта Швейцера на их многотрудном пути. Он посвятил ей вторую часть своей основной философской работы «Культура и этика. Философия культуры»: «Моей жене, самому верному моему другу».



Их связывали сердечные узы и совместный труд на благо людей

Перед женитьбой Швейцер организовал для Элен и себя встречу с приехавшей в Страсбург после трёхлетней жизни в Африке госпожой Жоржеттой Морель, женой своего предшественника – миссионера в миссионерском пункте вблизи габонского посёлка Ламбарене. Альберт хотел предупредить Элен о трудностях, ждущих её после замужества. Он задал мадам столько вопросов, что ей от напряжения даже стало дурно. Но Элен получила представление о предстоящей ей жизни очень красочное. Это её не остановило. Она была готова следовать за Альбертом, хотела соответствовать давнему идеалу немецкой женщины. Об этом она высказалась десятилетия спустя: «Мне всегда нравился обычай древних германских племён, согласно которому женщины стояли за линией боя и вручали своим мужьям

оружие. Если перевести это на язык нашего времени, то женщина отдаёт мужчине то, что ему нужно, - хлеб, вино, свои мысли и свою любовь» [5, с. 342]. Справедливо об Элен «говорили, что «в её хрупкой телесной оболочке живёт огромная энергия» и, что она безоговорочно принимает идеи Швейцера» [3, с. 79]. Элен была добра, добра ко всем, и особенно добра к своему мужу тем, что разделяла его устремления и труды. Можно сказать, что она воплощала идеал по-настоящему доброй жены.

К моменту своей женитьбы Альберт Швейцер уже приобрёл не только европейскую, но, отчасти, и мировую известность как органист. На средства от его гастрольных поездок и от издания книги о Бахе молодожёны закупают оборудование, медикаменты и всё необходимое для создания в Африке небольшой автономной больницы. Но этих средств не хватает, и Швейцер собирает их везде, где только может, ходит в непривычной для себя роли просителя, берёт в долг. Наконец деньги собраны с расчётом на организацию больницы и на два года её работы. Больничное оборудование и лекарства закуплены.

Друзья, в основном профессора университета, смирившиеся с отъездом любимого коллеги, обещают в дальнейшем продолжить помощь. Швейцер предусмотрительно взял с собой деньги не в бумажном выражении, а золотом – «на всякий случай»; в Европе уже пахло войной. И такой случай, когда это золото очень пригодилось, действительно через четыре года наступил.

Дорога шла через Париж поездом. Под возгласы родственников отъехали из Гюнсбаха. Из окна вагона Швейцер и его жена прощались с уходящими пейзажами Эльзаса, не зная, когда увидят их вновь. В Париже супруги посетили концерт Видора, данный им в честь своего выдающегося ученика. Перед прощанием Видор ещё раз сказал, что Швейцер поступает неразумно, как генерал, взявший в руки ружьё и отправляющийся на передовую. Поезд повёз «генерала» к французскому портовому городу Бордо, а потом и к самому порту Пойак в устье Жиронды. После изрядной сутолоки и давки на причале под бортом парохода супруги взошли по трапу на палубу.

И вот 26 марта 1913 года два «авантюриста милосердия» (по выражению Швейцера) с багажом в 70 ящиков отплывают в Африку. Альберту Швейцеру 38 лет, Элен Бреслау 34 года. Пассажирский пароход называется «Европа».

Впереди у Швейцера более полувека трудов на благо африканцев и всего человечества.

Часть II

Служение Африке и миру

Вы должны некоторое время уделять и своим собратьям. Пусть это немного, но сделайте хоть что-нибудь для тех, кто нуждается в человеческой помощи, нечто такое, за что вы не получите никакой другой платы, кроме самой привилегии выполнить этот труд. Ибо помните, что вы не одни живёте в этом мире. Что с вами живут и собратья ваши.

... Человечный человек – вот что я жду от будущего.

Альберт Швейцер

Глава 5

Африка встречает Швейцеров

В книге «Между водой и девственным лесом», изданной в СССР в 1978 году в составе сборника работ Швейцера «Письма из Ламбарене», Швейцер описывает, что он почувствовал, когда они с женой оказались на пароходе за одним обеденным столом с европейцами, имевшими опыт работы и жизни в Африке. «Чувствуем себя новичками и домоседами. Вспоминаются куры, которых моя мать каждый год прикупала к своим у птичника-итальянца: в первые дни они выделялись среди остальных своим запуганным видом» [6, с.15]. В начале пути они переживают страшный трёхдневный шторм в Бискайском заливе, открытом мощи Атлантического океана. Волны так раскачивали и бросали пароход, что стоять или сидеть было невозможно, только лежать. С большим юмором Швейцер наблюдает, как их чемоданы носились по каюте друг за другом и как к ним присоединились две большие картонки со шляпами, «не подумав о том, как им это дорого обойдётся».

И вот «Европа» подплывает к Африке, к порту Кейп-Лопес в устье Огове на западном берегу континента. Если взглянуть на карту Африки, реку Огове можно найти без труда. Она северной своей частью почти касается экватора, проходя по территории нынешнего Габона.

В устье реки на берегу океана супружеская пара пересаживается на речной, мелко сидящий в воде пароход «Алембе», который плывёт вверх по течению триста километров и доставляет их к трём небольшим холмам у берега, к крохотному поселению духовной миссии Парижского протестантского общества. В трёх километрах от миссии на острове посреди реки, приблизительно в шестидесяти километрах южнее экватора, находится село (теперь город) Ламбарене. Недалеко от него ещё одна миссия – католическая. Сотрудники протестантской миссии,

учителя её школы и сами чернокожие школьники торжественно встретили прибывших, даже спели гимн, помогли перевезти на берег вещи. На территории миссии уже был приготовлен для жилья семейной пары домик с верандой. Швейцеру очень понравились учителя миссии и школьники. «Какие прелестные детские личики!» – с сердечной теплотой отмечает он [6, с.23]. И очень понравился пейзаж, которым можно любоваться с веранды их дома: «Вид открывается восхитительный: внизу – рукав Огове, который местами переходит в озёра, вокруг – лес, вдаль виднеется главное русло реки, за ним – голубые горы» [6, с.24].

Вскоре последовали первые испытания.

Они попадают в совершенно другой, почти невыносимый климат 4 и в совершенно другое природное и социальное окружение. Цивилизации, можно сказать, нет никакой (ни электро-, ни водоснабжения, ни продовольственного, столь привычных для европейца). Среди туземцев живут колдуны. Живут тайно, никто их не знает, но все боятся. В ходу у колдунов яды, и нередки загадочные отравления за нарушение каких-то негласных правил.

Но мало того, в одном из двух ближайших африканских племён – пангве – ещё не перевелись людоеды. Они нападают иногда на членов другого племени – галоа.

⁴ Габонский климат охарактеризовал крупнейший учёный-африканист Д.А. Ольдерогге (1903-1987) в статье «Альберт Швейцер в Габоне». «Это область тропического леса с крайне нездоровым климатом: большая влажность, жара, трудно переносимая днём, а ночью не сменяющаяся прохладой» [6, с.339]. Он включил в свою обширную статью свидетельства путешественников – маркиза де Компьеня и Ал. Марша, – посетивших Габон в 1872 году. До этого они имели опыт пребывания в самых климатически гиблых, как они считали до Габона, местах мира: в Сенегале, на Малаккском полуострове, в самых болотистых местах Флориды, в других, но нигде им не было так тяжёло, как в Габоне. Они нигде не попадали в такую давящую и сырую атмосферу, не испытывали такого постоянного нездоровья, не знали таких ночей, которые не приносят никакого покоя, когда термометр показывает день и ночь 37-38 градусов по Цельсию без сколько-нибудь значительных колебаний; нигде они не видели прежде таких почти постоянных бурь и ливней» [6, с. 340]. Путешественники вскоре тяжёло заболели, попали в госпиталь и вынуждены были уехать.

Во многих районах вокруг миссионерского пункта люди постоянно голодают. И в этом, может быть, основная причина людоедства. Основные пищевые культуры – бананы (банановые пальмы), маниок, батат, масличные пальмы – не принадлежат к местной растительности. Они завезены в эти края португальцами, но распространены не везде. Другие источники пищи – охота и рыбная ловля – очень часто либо недоступны для населения, либо их крайне мало. В этих районах туземцы нередко приучаются есть землю. Человек-землеед часто не может отвыкнуть от этой привычки даже попав туда, где есть еда.

Те, кого интересуют дополнительные подробности о климате того места, где располагалась больница Швейцера, могут прочитать статью Швейцера «О дождях и хорошей погоде на экваторе» [6, с. 282-286].

Природа заявила о себе в первый же вечер. Войдя в дом, Альберт и Элен вынуждены были вести борьбу с давно обжившими его невиданно большими пауками и тараканами. Только после победы над насекомыми они могли начать отдыхать после длительного путешествия. А вскоре состоялось близкое знакомство и с другой дикой природой их нового места жительства и работы. У леопардов любимое занятие – забираться в курятник и убивать кур. Коз они тоже загрызают. Змеи свисают с ветвей деревьев так, что их трудно заметить, и приходится ходить с палкой, как делают туземцы, проводя по веткам для отпугивания пресмыкающихся. Змей очень много и в траве, и Швейцеру приходится ходить с ружьём, чтобы их отстреливать. В помещения заползают удавы, особенно опасные для детей.

На реке, которой все пользуются как путём сообщения, смертельно опасны гиппопотамы. Они часто ведут себя агрессивно, легко переворачивают каноэ – плоскодонные, выдолбленные из стволов деревьев, хорошо проходящие по мелководью, но очень неустойчивые лодки. После этого животные нападают на людей и часто наносят им тяжёлые травмы.

Сущим бедствием стало то, что их дом оказался на пути миграции особого вида хищных муравьев, передвигающихся ночью. Их поход происходит несколькими параллельными колоннами по 5-6 особей в ряду. Внезапно, как по приказу, колонны рассыпаются, и муравьи образуют живой ковер, покрывающий землю и несущий гибель паукам, всем другим насекомым и более крупным обитателям леса. Кур муравьи облепляют, загрызают и обгладывают. Единственным спасением было отражать нападение маленьких агрессоров химией. При их обнаружении Элен три раза трубила в рожок. По этому заранее

оговорённому сигналу прибегали несколько туземцев с водой из реки, в воде растворялся лизол и им поливалась земля под домом и вокруг. Только тогда муравьи обращались в бегство, оставляя на «поле боя» массы погибших. И вся эта драма каждый раз разыгрывалась во мраке ночи, освещённом только фонарём, который держала Элен. Муравьи успевали наползать и на людей и впиваться в тело так, что при отрыве клешни оставались в коже, и их приходилось вынимать отдельно. Швейцер одной ночью насчитал с полсотни впившихся в него маленьких хищников.

Приведенными примерами мы чуть приоткрыли окно во враждебную природу тех мест.

Глава 6

1913-1917. Первая больница

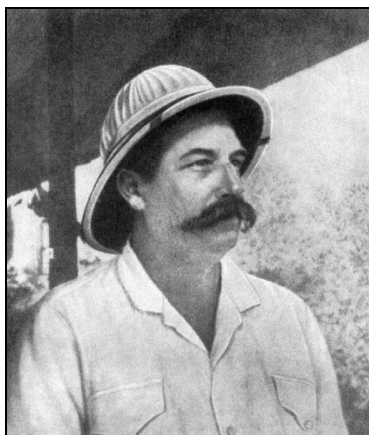
В первый же день Швейцер столкнулся с «ненадёжностью негров». Так живущие в Африке белые называли тогда слишком хорошо знакомую нам сегодня в нашей, совсем не негритянской, среде, необязательность⁵: переводчик из племени пангве Нзенг, с которым миссия заранее договорилась, вовремя не приехал к Швейцеру. Он появился только через месяц.

А больные валом повалили сразу, несмотря на сделанное заранее объявление, что приём начнётся через три недели. Никакого тебе периода акклиматизации. Даже ящики с лекарствами ещё не были распакованы. Родственники приносят больных на носилках через джунгли или привозят на каноэ по реке, иные добираются сами. Все они нуждаются в помощи, часто экстренной. И Швейцер начал приём. Сначала перед своим домом на беспощадном солнцепёке, а когда делалось невмоготу или начинался дождь – на тесной веранде. Больничного помещения нет никакого. Под него наскоро пришлось оборудовать старый курятник предыдущего миссионера – маленькое строение без окон и с дырами в крыше, через которые палило солнце, так что Швейцеру приходилось делать операции в традиционном для европейцев тепло- и солнцезащитном пробковом шлеме. Иначе – солнечный удар: солнце в тех местах жжёт так, что пройти всего лишь несколько метров с непокрытой головой смертельно опасно.

Скоро Швейцер находит среди пациентов первого помощника – негра из племени галоа, выделявшегося в среде собратьев своим смыслённым видом. Жозеф Азовани хорошо говорит по-французски, немного и по-английски, знает восемь местных наречий и владеет искусством синхронного перевода.

⁵ Необязательность – неисполнение обещаний – одна из форм обмана.

Раньше он служил поваром, и Швейцер берёт его сразу на три должности – переводчика, повара и лекарского помощника. А в самый первый период помощник только один – Элен. Она готовит инструменты к операции и ассистирует как медсестра. Она приводит в порядок перевязочные материалы и больничное бельё. Она одновременно и домохозяйка.



В Африке приходилось не расставаться с пробковым шлемом, спасающим от тропического солнца

Врачебный приём длится от половины девятого до половины первого. После этого помощник объявляет, что доктор идёт завтракать. Туземцы, ждущие своей очереди, понимающе кивают головами, и Швейцер уходит. Он возвращается в два часа дня и принимает больных до шести. Такое расписание с небольшими вариациями сохранялось во всё время работы больницы.

С самого начала Швейцер предельно продуктивно решил задачу ролевых отношений с туземцами. Кто он своим чернокожим пациентам? Он им не начальник, а брат, но брат старший. Таким образом, применившись к понятиям туземцев, Швейцер поставил себя перед ними как их учителя. Это, по местным нравам, обеспечивало ему уважение и добровольное подчинение. Такому представлению себя предшествовало размышление: «Я должен показать негру⁶, что в каждом человеке уважаю его человеческое достоинство.

⁶ Д.А. Ольдерогге разъяснил, что Швейцер сознательно употреблял слово «негр», зная принадлежность местного

Я должен дать ему почувствовать эту мою убежденность. Но главное, чтобы между ним и мной было духовное братство. Вопрос о том, в какой степени оно окажется выраженным в повседневном общении, следует решить, сообразуясь с обстоятельствами.

Негр – это тот же ребёнок. Если вы не пользуетесь авторитетом, вы ничего от него не добьётесь. Поэтому общение моё с ним я должен строить так, чтобы так или иначе проявился тот авторитет, который мне положено иметь» [6, с. 83].

В дальнейшем отношении Швейцера к туземцам более походило на отношение его собственного отца к своим детям, чем на поведение старшего брата. Но такая роль формировалась постепенно и совершенно естественно.

Старший брат и заботливый отец – это одно, но всё же решающую роль в уважении туземцев к Швейцеру и в его непререкаемом и непреходящем авторитете у них играла его высокая нравственность. Смотря на негров взглядом внимательного исследователя, Швейцер обнаружил, что именно по этому критерию примитивные по уровню цивилизованности туземцы оценивали всех белых. Он сделал вывод – негр решает вопрос отношения к белому безошибочным чутьём. Можно ли после этого считать туземцев примитивными по глубине их духовной жизни?

«Когда он обнаруживает в белом доброту, справедливость, правдивость, внутреннее достоинство – за тем внешним, которое определяется самими обстоятельствами, он склоняет перед ним голову и признаёт в нём наставника и господина; в тех случаях, когда он этого не находит, он, несмотря на всё свое послушание, остаётся в душе непокорным; он говорит себе: “Этот белый стоит не выше меня, потому что он несколько не лучше, чем я”» [6, с.85].

Эти выводы возникли у Швейцера спустя несколько месяцев после приезда, а пока что он, старший брат, озабочен и всецело поглощён текущей работой. Конвейер приёма больных не останавливается, а больницы-то ещё нет. Её нужно строить. И Швейцер днём лечит, а вечером строит. На строительстве он сначала работает землекопом. В первый день вместе с одолженными в католической миссии восемью рабочими он делает площадку под больницу на склоне холма. Но на следующий вечер рабочие, получив плату, перепились, и в третий день

населения именно к этому расово-этническому типу. Он не забывал, что разные расы имеют разную наследственность и разный иммунитет и требуют разного врачевания.

Швейцер работал уже только вдвоём с Жозефом. Нзенг успел уехать в отпуск и не вернуться вовремя, чем подтвердил свою «ненадёжность». К строительству первого больничного барака удаётся привлечь двух миссионеров-ремесленников из протестантской миссии. Они продолжили стройку, причём со вниманием относились к пожеланиям Швейцера по архитектуре строений. Швейцер стремился построить как можно более продуваемые и в то же время защищённые от москитов помещения. Наконец первый больничный барак готов.

«В бараке этом два помещения по четыре квадратных метра каждое; первое предназначено для приема больных, второе – операционная. К ним примыкают две боковые каморки, покрытые выступами крыши. Одна служит аптекой, другая – стерилизационной. <...> С постройкой барака моя жена получает наконец возможность работать в полную силу. В курятнике едва хватало места для меня и Жозефа» [6, с. 43].

После этого строится барак-стационар размерами 13 на 6 метров, на 16 коек, причём часть работ выполняет сам Швейцер. Он вынужден дополнительно ещё и наблюдать за ходом работ. В его отсутствие негры не работают. Но Швейцер не соглашается с теми европейцами, которые говорят, что негры ленивы. Он записывает в дневнике: «Негр не ленив, но он человек вольный» [6, с. 73]. И в этом мнении сказывается не только бесспорно добрый глаз, но и рациональное мышление Швейцера. Он обращает внимание на случаи трудовой доблести негров, приводя в качестве примеров, как полтора десятка их почти непрерывно гребли в течение тридцати шести часов, чтобы доставить его к тяжёлому больному. И как они неделями преодолевают усталость и работают, подготавливая участки земли под посадки нужных им для выживания растений.

Очень быстро Швейцер понял, как, учитывая местные особенности, строить весь больничный быт.

В отличие от Европы, где допуск родственников к больному производится далеко не всегда и по строгим правилам, здесь надо разрешить постоянное их общение. Родственники поселялись рядом с больницей и имели возможность подойти к больному в любое время, чтобы поддержать его. И даже часто спали на земляном полу возле кровати своего больного родственника. Кроме того, больные могли покидать больницу в любое время по своему желанию [11, с. 59].

Одновременно Швейцер ввёл для пациентов и родственников простые неуклонно поддерживаемые правила [6, с. 27]: вблизи дома доктора плевать воспрещается; ожидающим

приёма не разрешается громко между собой разговаривать; больные и сопровождающие их лица должны приносить с собой запас еды на целый день, потому что доктор не всех может принять утром; тот, кто без разрешения доктора проводит на пункте ночь, не будет получать лекарств; флаконы и жестяные коробочки из-под лекарств надо возвращать обратно (во влажном и жарком климате это было необходимо для сохранности препаратов, а взять ёмкости было неоткуда); приехавшему в больницу в середине месяца, когда пароход привозит и забирает почту, помощь гарантировалась лишь в неотложных случаях (доктор в это время пишет письма, чтобы получить лекарства). Каждое утро один из местных помощников доктора оглашал правила на языках галоа и пангве перед скоплением больных и их родственников, а те слушали и в знак понимания важно кивали. Этот инструктаж сопровождался настоятельной просьбой доктора повторять правила во всех деревнях, откуда приезжают больные.

Всех больных Швейцер нумерует, записывает под этими номерами в журнал со всеми необходимыми подробностями и вручает каждому круглую картонную бляху с номером на шнурке для ношения на шее. Вот и все истории болезней и вся регистратура. Бляхи негры тщательно хранят, считая их фетишами-амулетами. Они привыкли, что местные знахари раздают лечебные фетиши.

Болезней много, очень много. Есть тропические – сонная болезнь, переносимая разновидностью мухи цеце, проказа, распространены язвы на ногах и на теле и другие кожные заболевания, слоновая болезнь, много малярии, тропическая дизентерия; есть, кроме рака и аппендицита, и все европейские: болезни сердца и суставов; хирургических болезней очень много, особенно ущемлённой грыжи, от которой, лишённые медицинской помощи, люди обычно умирали. Распространены простудные заболевания, а также ревматизм, подагра, отравления, различного рода травмы. Туземцы часто отравляются никотином от неумеренного курения. Табачные листья им ввозят из Америки. Каждый такой лист служит мелкой разменной монетой при расчётах за лес. А водка?! Завозимая в Африку из Европы и, ещё более, из Северной Америки, она стала причиной неисчислимого ряда бедствий, физических и душевных. Маленькие дети в деревнях приучались пить водку вместе со взрослыми. Водка породила деградацию множеств людей, вымирание целых деревень и надолго преградила африканцам путь к культурной эволюции. Алкоголизация осложнила все болезни, которые и без того лежали на африканцах, лишённых квалифицированной

медицинской помощи, тяжелейшим грузом. И когда Швейцер приехал в Африку, европейцы продолжали завозить туда тонны водки, расплачиваясь ею за ценнейшую древесину. А африканцы расплачивались за навязанный им алкоголизм своим здоровьем. Негры-знахари в большинстве случаев только ухудшали состояние больных.

«Нужда во врачах огромна. – У нас каждый чем-нибудь болен, – сказал мне на этих днях юноша-негр. – Эта страна пожирает своих людей, – заметил старик старейшина одной из соседних деревень...» [6, с. 30].

Вскоре после приезда Швейцер изобретает эффективное противочесоточное мыло, избавляя негров от жестоких страданий. Это, как он пишет, за какие-нибудь несколько недель прославило его на много километров вокруг.

К своим пациентам Швейцер относится крайне ответственно: «Сама работа, как бы трудна она ни была, всё же не лежала на мне таким бременем, как те тревоги и та ответственность, которые её сопровождали. К несчастью, я не принадлежу к числу медиков, наделённых жизнерадостностью, которая столь необходима при этом занятии, и потому я находился в постоянной тревоге за тяжёлых больных и за тех, кого пришлось оперировать. Напрасно старался я выработать в себе спокойствие характера, дающее врачу возможность, несмотря на всё его сочувствие страданиям пациента, управлять своей духовной и нервной энергией, как он захочет» [5, с. 170].

А природно-климатические условия работы в этой местности таковы, что служащие французской колониальной администрации в сорок семь лет здесь уходят на пенсию и с трудом доживают до шестидесяти. При том, что они каждый год уезжают на родину на 6-8 месяцев для поправки здоровья; больше года, редко двух, они в Африке не выдерживают. Швейцер выдерживал больше, в первые годы выдерживала и Элен.

В тот самый момент, в конце июля 1913 года, когда работать приходилось ещё в курятнике, а больных оказалось чрезвычайно много, и по этой причине кончались лекарства, Швейцер записывает в своём дневнике: «Но что значат все эти преходящие неприятности в сравнении с радостью, которую приносит работа в этих местах и возможность помогать людям! Пусть средства пока ещё весьма ограничены – добиваюсь я ими многого. Уже во имя одной только радости видеть, как люди с гнойными язвами наконец перевязаны чистыми бинтами и не должны больше шагать израненными ногами по грязи, во имя одной этой радости стоило бы работать здесь!» [6, с. 30].

На другом берегу реки он строит хижину-изолятор для больных сонной болезнью, смертность от которой была в то время самой высокой.

Кроме лечебной работы, строительства и устройства всего быта больницы на новом месте в новых условиях ему ещё приходится время от времени разрешать и своеобразные судебные тяжбы между туземцами – палаврами. Название «палавра» туземцы заимствовали у колонизаторов-португальцев. В переводе с португальского оно означает «слово».

Юридическое право у африканцев устное, но строго отработанное, основанное на их чувстве и понимании справедливости, на их этике. В роли судей на палаврах выступают вожди племён и старейшины деревень. А в больнице – Швейцер или его сотрудники. Участие в палаврах привело Швейцера к убеждению о «несокрушимом правосознании» негров, почти полностью утраченном европейцами. Так считали и европейские специалисты-правоведы.

Одну палавра Швейцер подробно описал [6, с. 365]. Обстоятельства, ей предшествовавшие, были таковы. Один из пациентов взял ночью без разрешения чужое каноэ и отправился ловить рыбу при лунном свете. Туземцы очень любят и рыбу, и рыбную ловлю. Другой пациент, владелец лодки, на рассвете захватил угонщика, когда тот возвращался нагруженный рыбой, и потребовал, чтобы тот заплатил ему за пользование лодкой и отдал весь улов. По существующим у туземцев «законам» он имел на это право. Угонщик с требованием не согласился, и оба туземца пришли к Швейцеру.

«Судья» начал с объявления спорящим, что на территории больницы действует не туземный закон, а закон, которого придерживаются белые. После этого Швейцер провёл краткое следствие и объяснил тяжущимся, что каждый из них был одновременно и прав, и неправ. «Ты прав, – сказал я владельцу каноэ, – потому что тот человек должен был попросить у тебя разрешения взять твою лодку. Но ты неправ, потому что оказался беспечным и ленивым. Беспечность твоя выразилась в том, что ты просто закрутил цепь твоего каноэ вокруг ствола пальмы, вместо того чтобы, как полагалось, запереть на замок. Беспечностью своей ты ввёл этого человека в соблазн поехать на твоей лодке. А лень твоя привела к тому, что в эту лунную ночь ты спал у себя в хижине, вместо того чтобы воспользоваться удобным случаем и половить рыбу. – Ты же, – сказал я, обратясь к другому, – виноват в том, что взял лодку, не спросив позволения её владельца. Но ты одновременно и прав – в том, что оказался не столь ленив, как он,

и не захотел упустить лунной ночи, не воспользовавшись ею для рыбной ловли».

После этого Швейцер вынес непререкаемый приговор: угонщик лодки должен отдать одну треть улова за пользование лодкой её владельцу, вторую треть он может оставить себе, ибо затратил силы на ловлю рыбы. Оставшуюся треть он должен передать в больницу, так как дело происходило на её территории и самому доктору пришлось затратить время на разрешение их палавры.

При всей своей чрезвычайной перегруженности столь разнообразными делами Швейцер вечерами продолжал совершенствовать свое исполнительское мастерство, играя на пианино, приспособленном для пребывания в тропиках (с влагозащитным покрытием). Это пианино было подарено ему Парижским Баховским обществом, одним из основателей которого он был в 1904 году. Он разбирал хоральные прелюды Баха. Музыкальные занятия освежали его, придавали новые силы. Это происходило днём в обеденный перерыв и после шести часов вечера, когда вдруг сразу, как везде в тропиках, наступала темнота и рабочий день заканчивался. Швейцер заметил, что в Африке многие пьесы Баха для органа он научился «играть и проще, и проникновеннее, чем раньше» [6, с. 94]. После музыки он ещё читал и писал письма, много писем. А назавтра с шести часов утра – новый рабочий день.

Через год с небольшим работы в Африке произошёл эпизод, заслуживающий упоминания. К Швейцеру привезли негра, у которого ущемилась грыжа. Тот вопит от нестерпимой боли. Врач успокаивает его, говоря, что скоро он уснёт, а когда проснётся, то боли у него не будет. С помощью Элен и Жозефа начинается операция. Элен даёт больному наркоз. Когда пациент просыпается и обнаруживает, что боль прошла, он кричит, повторяя в изумлении: «У меня больше ничего не болит, у меня больше ничего не болит!» В порыве благодарности он ошупью находит руку врача и не отпускает её. Швейцер говорит освобождённому от боли человеку и его присутствовавшим при операции родственникам, что это господь наш Иисус попросил его и его жену приехать в эту местность, а их белые друзья в Европе дали им денег, чтобы они могли жить на Огове и лечить местных жителей. После этого негры начинают спрашивать, кто такие эти белые друзья и откуда они знают, что жители этих мест так болеют, так страдают и так нуждаются в помощи. «Сквозь ветви кофейного дерева в тёмную хижину заглядывают лучи африканского солнца. А в это время мы, негры и белые, сидим

вместе и проникаемся значением слов “Все мы братья “. О, если бы мои щедрые европейские друзья могли быть с нами в один из таких часов!..» [6, с. 62].

В августе 1914 года началась первая мировая война, это «узаконенное людьми преступление», как вслед за Львом Толстым писал Альберт Швейцер. Чету Швейцер-Бреслау, германских подданных, находящихся на французской территории, французские колониальные власти «берут в плен» – в первый же день войны заключают под домашний арест. Приставляют к дому грозную охрану из четырёх солдат под командой унтер-офицера и не разрешают врачу вести приём больных.

В этой ситуации Швейцер решает, что пришла пора посвятить своё время философскому труду – исследованию о кризисе культуры. Эту работу он начал на рубеже веков. Он привёз в Африку книги, необходимые для её продолжения, и урывками занимался ею постоянно. Об этом – живописная запись в дневнике за 1915 год: «Несмотря на всю мою усталость и малокровие ⁷, мне каким-то чудом удаётся сохранить почти полную душевную свежесть. Если день был не очень напряжённым, то после ужина я провожу два часа за работой, посвящённой роли этики и культуры в истории человеческой мысли. Нужными книгами, помимо тех, что я привёз с собой, меня снабжает профессор Цюрихского университета Штроль. Работаю я в совершенно удивительных условиях. Стол мой стоит возле выходящей на веранду решётчатой двери, дабы, сидя за ним, можно было вволю испить освежающего вечернего ветерка. Лёгким шелестом своим пальмы вторят звучащей вокруг шумной музыке – стрекотанью сверчков и жерлянок. Из леса доносятся

⁷ О состоянии здоровья Швейцера и его жены в то время говорит удивительно оптимистичная дневниковая запись чуть раньше приведенной: «Здоровье наше не блестяще, однако нельзя сказать, что оно совсем плохо. Налицо, правда, тропическая анемия. Проявляется она в быстрой утомляемости. Достаточно мне подняться из больницы на холм, где расположен мой дом, как я уже совершенно выбиваюсь из сил, а ведь подъём этот длится всего-навсего четыре минуты. Мы замечаем в себе и ту необыкновенную нервозность, которая обычно сопровождает тропическую анемию. Вдобавок и зубы у нас в плохом состоянии. Мы с женой ставим друг другу временные пломбы. Ей я могу в какой-то степени помочь. Но самому мне никто не может сделать то, что действительно нужно: удалить два негодных кариозных зуба» [6, с. 93].

пронзительные зловещие крики. Карамба, мой верный пёс, тихонько ворчит, чтобы напомнить мне о своём присутствии. Под столом у моих ног лежит маленькая карликовая антилопа. В этом уединении я пытаюсь привести в порядок мысли, которые волнуют меня с 1900 года, – о том, как содействовать восстановлению нашей культуры. Уединение в девственном лесу, как мне отблагодарить тебя за то, чем ты для меня было!...» [6, с. 94].

Первоначально Швейцер хотел дать своему исследованию о культуре и этике название «Мы эпигоны⁸» и ограничиться анализом кризиса, который остановил развитие европейской культуры. Начавшаяся война привела его к мысли расширить свой замысел: разработать идеи и наметить путь, следуя которому можно преодолеть упадок культуры, привнести в переживающую кризис культуру нечто такое, чтобы возникла «более глубокая и живая этическая культура» [9, с. 337].

Основным виновником войны – внешней катастрофы, порождённой кризисом европейской культуры, – Швейцер считает национализм: «Что такое национализм? Неблагородный и доведенный до абсурда патриотизм, находящийся в таком же отношении к благородному и здоровому чувству любви к родине, как бредовая идея к нормальному убеждению» [8, с. 59]. Он обращается к немецкому философу XVIII – начала XIX века И.Г.Фихте, у которого «национальное чувство ставится под опеку разума, нравственности и культуры. Культ патриотизма, как таковой, должен считаться проявлением варварства, ибо таковым он обнаруживает себя в бессмысленных войнах, которые неизбежно влечёт за собой» [8, с. 60]. «В конечном счёте национализму было уже недостаточно в своей политике отвергать любую надежду на осуществление идеи культурного человечества. Провозглашая идею национальной культуры, он стал разрушать представление о самой культуре» [8, с. 62].

Но вот к Швейцеру, увлечённому работой, доносится шум и крик на одном из габонских наречий. Оказывается, на прием пришел старый габонец из племени пангве, которому Швейцер обещал оперировать грыжу. Теперь часовой, тоже чернокожий, гонит пациента, а тот кричит, что часовой сошёл с ума, раз он думает, что он командует Доктором Нгангой (европейцы произносили как «Оганга»). Так негры называли Швейцера, что в

⁸ Эпигоны (греч.) – буквально «рождённые после». Последователи, продолжающие повторять уже отжившие идеи и суждения. Вульгарно – «твердящие зады».

перевод с языка галла означает «заклинатель», «человек, раздающий фетиши», колдун, знахарь, ведун, то есть практикующий тайновед, лицо, пользующееся абсолютным авторитетом [6, с. 355]. Подошли другие больные, и возник стихийный митинг. Люди возмущались, что у них отняли доктора из-за происходящей где-то в Европе войны. Страдающий от грыжи пахуан кричал, что белые очень плохие люди, раз они не платят за убитых на войне и даже не съедают их, а убивают просто так, из одной жестокости. Он обвинял воюющих европейцев в бессмысленных убийствах, ничем не оправданных в нормах этики рядового людоеда.

До этой войны туземцы, восприняв от миссионеров проповедь Христа, считали, что все белые – это одно племя, не воюющие между собой христиане, а тут они узнали, что это совсем не так. В тех местах тогда знали только межплеменные войны, гражданских не было.

В ноябре в результате протестов больных – и белых, и чёрных – и благодаря усилиям Видора в Париже, арест с супругов был снят, и приём больных возобновился. Преодолевая огромную усталость, Альберт и Элен продолжили свой труд, Альберт – весь день и половину ночи.

Габонцев начали забирать на войну, и однажды произошел эпизод, обнажающий степень сочувствия Швейцера несчастным африканцам. «Судно отошло под женский плач; дымок растаял вдаль, и толпа стала расходиться, но на берегу на камне всё ещё сидела и плакала старая женщина, у которой увезли сына. Я взял её за руку и попытался утешить, но она продолжала плакать и словно не слышала моих слов. И вдруг я заметил, что плачу вместе с ней» [5, с. 201].

(продолжение следует)

Литература

1. Гусейнов А. А. Великие моралисты. – М.: Республика, 1995. – 351 с.
2. Швейцер А. Благоговение перед жизнью: Сборник работ / Пер. с нем., сост. и посл. А. А. Гусейнова. Общ. ред. А. А. Гусейнова и М.Г. Селезнёва. – М.: Прогресс, 1992. – 576 с.
3. Штефан Х. Альберт Швейцер, свидетельствующий о себе / Пер. с нем. Е. Мусихина под ред. О. Мичковского. – Челябинск: Аркаим, 2003. – 240 с.
4. Кант И. Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – С 165.
5. Носик Б. Швейцер. – М.: Молодая гвардия, 1971. – С 412.
6. Швейцер А. Письма из Ламбарене. – Л.: Наука, 1978. – 390 с.

7. Фрайер П. Г. Альберт Швейцер. Картина жизни / Пер. с нем. С. А. Тархановой. Отв. ред. и автор посл. В. А. Петрицкий. – М.: Наука, 1982. – 228 с.
8. Швейцер А. Культура и этика. – М.: Прогресс, 1973. – 343 с.
9. Швейцер А. Возникновение учения о благоговении перед жизнью и его значение для нашей культуры. Очерк 1963 г. / Пер. с нем. А. А. Гусейнова [1, с. 334-342].
10. Письма Елены Рерих. В 2-х тт. – Т. 1. Новосибирск, 1992.
11. Альберт Швейцер – великий гуманист XX века. Воспоминания и статьи / Сост. В. Я. Шапиро. Отв. ред. В. А. Карпушин. – М.: Гл. ред. вост. лит-ры изд. Наука, 1970. – 238 с.
12. Гёте И. В. Собрание сочинений в 10 тт. – М.: Художественная литература, 1975-1980. – Т. 1.
- 12а. Там же. – Т. 9. – С. 436-438.
13. Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. – М.: Художественная литература, 1986. – 669 с.
14. Калер М. Загородный домик Гёте в Веймаре. – Веймар, 1980.
15. Шеффер Х. Мост между мирами: Теория и практика электронного общения с Тонким Миром. – СПб.: Невская перспектива, 2005. – 350 с.
16. Сайт общества друзей Альберта Швейцера (США). (The Albert Schweitzer Fellowship, <http://www.schweitzerfellowship.org>).
17. Философские тексты Махабхараты. Вып. 1. Книга 1. Бхагавадгита / Пер. с санскрита, предисловие, примечание и толковый словарь Б.Л.Смирнова. – Ашхабад: Ылым, 1977. – С. 86.
18. Переселение душ. Сборник. – М.: Издательство Ассоциации Духовного Единения «Золотой век», 1994. – 426 с.
19. Рерих Н. К. Избранное. – М.: Советская Россия, 1979. – С. 241.
20. Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером. – М.: Наука, 1967. – 132 с.
21. Шкарин В. В. Воспитание нравственности будущего врача на идеях гуманизма Альберта Швейцера. // Нижегородский медицинский журнал, 2002, №1, с. 174-177.
22. Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика / Пер. с нем. и посл. Ю. В. Дубровина. – М.: Алетея, 2002. – 287 с.



Влад Аронов

Ах, какая печаль

Литературная редакция Сони Тучинской

«Можно объяснить всё нервной депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом».

Из предсмертной записки для прессы Романа Гари, застрелившего себя, выстрелив себе в рот 2 декабря 1980 года



конец сентября 2012-го года ушел из жизни Григорий Рыскин – замечательный прозаик, поэт, эссеист. Жизнь его оборвалась по его собственной воле. 75-летний писатель выбросился с 11-го этажа московской квартиры, в которой он жил в последние перед самоубийством дни. Будучи лично знаком с Григорием Рыскиным, я слышал многие свидетельства о его жизни из его собственных уст. Возможно, они хоть как-то прояснят мотивы его страшного конца.



Григорий Рыскин

Люди добровольно уходили из жизни всегда, во все времена и у всех народов. На это у каждого из самоубийц был свой собственный резон. Однако, одна из самых

распространенных причин этого явления - это депрессия, т.е. абсолютная потеря воли к жизни. Невозможность и нежелание длить свое существование на земле. Я хочу рассказать, как в этой ситуации на 75-м году жизни оказался Григорий Рыскин. Как он сам оценивал эту ситуацию и что его к ней привело.

Во время наших с ним разговоров, Григорий Рыскин неоднократно рассказывал мне о своей жизни в России и Америке. Его рассказы, как я их помню, я собрал в этот мемуарный очерк его памяти.

Он был обычным еврейским ребенком, застенчивым, невыносливым и слабым в физическом отношении. Школьником ему часто приходилось сносить насмешки и оскорбления со стороны одноклассников. Он рассказывал мне о Викторе, тупом, и агрессивном подростке, который частенько поколачивал его и которому он, естественно, ничем не мог ответить. Именно тогда он принял решение заняться боксом и в течение двух лет приобрел разряд. С этого момента, на любое оскорбление в свой адрес, он вступал в драку и побеждал. Особенное наслаждение принесла ему первая победа в драке с Виктором, за что сверстники впервые выказали ему свое уважение.

Живя в Ленинграде, Григорий Рыскин получил дипломы двух самых престижных гуманитарных заведений города: пединститута им. Герцена и факультета журналистики ЛГУ. После окончания учебы он работал учителем на периферии, включая союзные республики бывшего СССР. Устроиться в престижную столичную школу не мог из-за пятой графы. Порой, чтобы вообще не остаться без работы, соглашался работать учителем в зонах для малолетних преступников. Все говорили ему, что он одинаково хорошо преподает литературу, язык, и математику, что он талантливый, от бога, педагог. Но получалось, что его талант никому не был нужен.

Он начал печататься. Иногда темы были заказные, от издательства, но чаще - он избирал их сам. И здесь, по непонятным причинам, его опять часто преследовали неудачи. Он писал - его не публиковали. Постепенно он начал ощущать свое еврейство, как изгойство, как неверие в возможность равного существования с представителями других наций в стране, гражданином которой он числился наравне с остальными.

Еще в студенческие годы, во время учебы в ЛГУ, он познакомился с красивой девушкой, на которой, через некоторое время женился. Спустя два года у них родился сын. Он думал, что молодая жена счастлива с ним. Но на деле оказалось, что это совсем не так. Жена, не получая физического удовлетворения от

брачных отношений, априори посчитала виновником этой ситуации мужа. Так было принято тогда в той стране, где мы жили - обвинять во всем мужчину, а не, к примеру, собственную фригидность. Жена пустилась во все тяжкие. Знакомые стали регулярно докладывать ему о ее связях с мужчинами. Однажды, когда годовалый сын Рыскина лежал дома больной, в жару, Григорию позвонили и сказали, что его жена сидит в ресторане пьяная в компании чужих мужчин. Когда она вернулась домой, он не смог совладать с собой и нанес ей, применив специальный боксерский прием, такой ужасный удар, что она в тяжелом состоянии попала в больницу. Врачи долго боролись за ее жизнь. Следователь, который вел это дело, уговаривал ее подписать обвиняющее мужа заявление... Но у нее хватило разума отказаться от обвинения. Рыскин остался на свободе, но они разошлись. То, что произошло между ними, травмировало его на всю оставшуюся жизнь. Сын остался с женой, а Григорий Рыскин с матерью уехал в Америку.

В Америке ему случилось познакомиться и активно сотрудничать с Сергеем Довлатовым в редактируемой им эмигрантской газете "Новый американец", в которой он вел свой раздел и для которой писал свои эссе. Но все это не приносило дохода, на который можно было бы существовать. Через два года газета умерла. А потом умер и сам Довлатов. Чем только Григорий не занимался эти годы, чтобы выжить.. Работал на стройках, водил такси, выучился на массажиста и т.д. и т.п. Правда, все это щедро давало ему темы и характеры для его книг. В эмиграции он написал более десяти книг. Это приносило ему некоторое духовное удовлетворение, но вопрос с деньгами оставался открытым. Их он по-прежнему зарабатывал физическим трудом. Благодаря его матери, которая не позволила ему попусту разбазарить эти деньги, он сумел выгодно вложить их в покупку недвижимости, которую приобрел по очень низким ценам, а продал с большой выгодой, когда цены резко пошли вверх. Большую часть вырученных денег он отправил своему сыну, который в то время проживал со своей семьей в Талине.

Здесь, в Америке, он вторично женился. Но жена, которая вначале казалась ему таким близким и понимающим человеком, очень скоро начала доносить его какими-то ежедневными придирками, по любому, самому мелочному поводу. Чтобы не слышать их, запирался в другой комнате, стал избегать ее. Совсем расстаться было невозможно, по целому ряду причин. Он ловил себя на том, что постоянно находится в каком-то ненормально

взвинченном состоянии. Любая мелочь страшно выводила его из себя.

Так случилось, что приехав в очередной раз к сыну, повидаться с ним и двумя внуками, увидел его за столом, с бутылкой коньяка. Плохо соображая, что делает, он сильно ударил его по лицу. Они поссорились, и Григорий улетел домой. Долгое время не мог сам себе объяснить свой поступок. А потом понял, что его гнев вызвало подозрение, что сын бездельничает и пьет на его деньги.

В начале 2012 года по заказу одного московского издательства ему пришлось очень интенсивно работать над статьей посвященной страшным событиям 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Эта работа почему-то страшно измотала его и физически и духовно. Он потерял интерес к жизни. Перестал посещать спортклуб, встречаться с людьми, интересоваться событиями, происходящими в мире и вокруг него. У него самого не было рациональных объяснений этому его состоянию. Когда он обратился к врачам, они поставили диагноз - клиническая депрессия, и положили в госпиталь, где он пробыл два месяца. Когда он вышел из госпиталя, ему захотелось поехать к сыну, в Таллинн. Он считал, что смена места, окружения, семья сына, живительный Балтийский климат помогут ему вернуться в нормальное состояние. Жена решила поехать с ним. Он не понял, для чего ей было это нужно. Поездка не принесла ожидаемого облегчения. Он чувствовал себя равнодушно-отчужденным от всех, даже от своих собственных внуков. После двух недель пребывания в Таллинне жена предложила поехать на пару недель в Москву. Он, видимо, прибывал уже в таком состоянии, что не смог отказать ей в этой совершенно ненужной ему поездке, а сын не воспрепятствовал его решению.

В Москве они поселились у дочери жены, на 11-м этаже. Каждый день он подолгу стоял у окна и наблюдал за крошечными фигурками бегущих по своим делам людей. И у него все чаще стала появляться мысль о бессмысленности жизни. Все чаще возникало желание самому оборвать ее.

Я познакомился с Григорием Рыскиным 22 года тому назад. Мы были в близких дружеских отношениях и доверяли друг другу самые сокровенные тайны. На первых порах меня особенно поражала в нем одна черта: безмерная честность по отношению к себе и к другим.

Он знал, что я храню дома разные виды оружия и часто просил меня показать ему что-то из моей коллекции. Я доставал пистолет из запертого сундучка и показывал ему. Тогда следовал

вопрос: "А мне бы ты это дал". Я всегда отвечал - нет, не дал бы. Тогда он говорил - "А что же мне делать?" И сам отвечал: "Надо, наверное, запастись таблетками". Вот такие разговоры у нас часто бывали. Я пытался, как мог, доказать ему, что как литератор он вполне в Америке состоялся. Что у него больше десяти книг, множество статей и стихов. Я также доказывал ему, что он сумел помочь сыну, выгодно вложив честно заработанные своими руками деньги. И что, мол, не у каждого эмигранта на счету есть такие достижения. Этими разговорами я надеялся помочь ему перестроить свою психику. Но, по всей видимости, мысль о самоубийстве его не покидала.

В 1990 году, как раз, когда я приехал с семьей в Америку, он написал статью, в которой возмущался государственными благами, получаемыми новоприбывшими эмигрантами и сравнивал их благополучное ничегонеделание с тем поколением работающих эмигрантов, которые часто живут хуже потребителей многочисленных пособий. В этой статье было все: и его честность, и его необъективность. Когда он писал эту статью, он не вспомнил, что его мать тоже сидела дома, не работая, и тоже получала все причитающиеся ей блага. Эта статья вызвала большое недовольство в русской общине, и у него появилось много недоброжелателей.

Первым человеком, с которым я познакомился, поселившись по приезде в Джерси Сити, была мама Григория Рыскина. Она показывала мне их с Григорием квартиру и его комнату. Впечатление было жалкое: почти полное отсутствие мебели. Одна какая-то железная кровать в маленькой комнатухе. Вот так, через маму, мы с ним и познакомились. Потом, когда я приходил к нему туда, где он жил с женой, я слышал, как она "доставала" его. Ее "замечания" были такого рода, что мне неловко их здесь приводить. Я ему говорил, что с такой женой я бы и дня жить не стал. Мы часто гуляли в парке. Во время этих прогулок он читал на память стихи известных и совсем неизвестных мне поэтов. Я никогда не увлекался поэзией, но слушая, как он читает стихи, и я стал находить в поэзии особую красоту.

Я всегда честно говорил, что я думаю о его поступках. Так, я крайне неодобрительно отнесся к рассказу о том, что он сделал со своей первой женой, или к тому, что он ударил сына, заподозрив его в пьянстве и тунеядстве на переданные ему из Америки деньги. Я сказал ему однажды, что у него совершенно отсутствуют центры торможения и самоконтроль. Из-за этого между нами возник конфликт. Случилось это так. Однажды, в

заранее обговоренное время я ждал его у его дома. Продав его более часа, я собрался уходить. По дороге домой встречаю его, и выражаю недоумение, что он где-то ходит, когда я его жду. Вместо того, чтобы извиниться, он стал громко сквернословить, и мы поссорились и какое-то время не общались.

Мне кажется, что прожив много лет в Америке, он заразился некоей пагубной формой крайнего индивидуализма, что толкало его на жестокости в отношении даже с самыми близкими ему людьми. К тому же, у него развилась жажда любой ценой добиться журналисткой известности, литературного успеха. Для этого в 1990-м он написал свою скандальную статью о получателях бесплатных благ - русских эмигрантах. С этой же целью в 2012-м он послал в одно московское издательство рукопись под названием "Новый Американец". В ней он вывел образ русского еврея в таком отвратительно-неприглядном виде, что мне было стыдно это читать, и я ему прямо об этом сказал. Эту книгу, разумеется, с радостью напечатали в Москве. Для них было подарком, что эмигрантский писатель-еврей с таким отвращением говорит о своих соплеменниках. Он получил от издательства 2000 долларов, но очень многие люди от него окончательно отвернулись из-за этой книги, которую в Нью-Йорке никогда бы не напечатали.

Он был очень неоднозначным и многомерным человеком. С одной стороны - умным, одаренным, добрым. Помню, как не однажды приглашал он на прогулку одинокую старушку - свою соседку по дому. С другой стороны - несдержанным, жестоким, несправедливым. Он мог высказать правду-матку любому человеку, за что жестоко потом расплачивался.

К моменту, когда московское издательство заказало ему эту последнюю в его жизни работу об 11-м сентября, он уже был душевно надломлен, физически истощен, и страшно неудовлетворен своей личной жизнью. Это все, в совокупности, и могло привести его к тому страшному решению, которое он принял, прежде чем убрать с подоконника детские игрушки и ринуться с него, как в омут, на московскую мостовую.

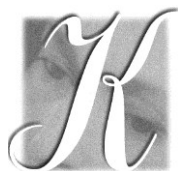


Борис Бем

Старый новый американец

Борух о Герше

«Памяти друга»



Как-то непривычно писать что-либо о человеке в прошедшем времени. Уходят внезапно дорогие сердцу люди. Уходят так неожиданно, что мы не успеваем сказать им ни «люблю», ни «прости». Слова благодарности за дружбу тоже остаются не услышанными. Как горько это понимание для нас – оставшихся жить. Сегодня я хочу рассказать о своем хорошем знакомом, известном мастере художественно-документальной публицистики Григории Рыскине. Щемит в груди от того, что не успел в критический момент уделить ему внимание, поддержать правильным словом, подать руку помощи.



Григорий Рыскин

С писателем Григорием Рыскиным мы не были закадычными друзьями в полном понимании этого слова. Оба родились в Ленинграде, но в разное время. Он – в тревожном и страшном одна тысяча девятьсот тридцать седьмом, я – в первый

послевоенный год осенью, еще перед началом знаменитого Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. Как говорится, почувствуйте разницу, а минус девять лет в возрасте, особенно в детстве, дело заметное. Да и жили мы в разных районах города. Григорий с матерью и отчимом обитал в центре города, а я с родителями и старшей сестрой ютился в одной из старых коммунальных трущоб Петроградской стороны. Свела нас судьба совершенно случайно уже во взрослой жизни.

Мне шел двадцать первый год, и я трудился штатным литературным сотрудником в многотиражке знаменитого на весь мир Ижорского завода, что раскинул свои большие цеха на огромной территории города Колпино. Историю моего знакомства с Рыскиным я кратко описал в первой книге своей автобиографической прозы, вышедшей в свет в 2008 году в одном из украинских издательств, под названием «Черновик, не переписанный набело, или Крутые горки». Редакция в то время переходила на ежедневный выпуск рабочей газеты, и в помещении большой и единственной комнаты, где размещался весь коллектив, почти ежедневно проводились собеседования с потенциальными сотрудниками. В один из таких зимних дней в «Ижорец» заглянул и недавний бывший спецкор Туркменской республиканской молодежи Григорий Рыскин. Это был молодой, круглолицый тридцатилетний мужчина в солидных роговых очках и вдумчивым серьезным лицом питерского интеллигента. За плечами у Григория была учеба в педагогическом институте и стаж учителя не где-нибудь, а в детской колонии для малолетних преступников. В его уверенном взгляде угадывался зрелый опыт тесного общения с людьми. Чем мне тогда запомнился этот человек? Он и пробыл-то в нашей редакции не больше часа. Видимо, с главным редактором газеты не нашел общего языка, мы же этой деликатной темы не касались. Разговорившись с коллегой на отвлеченные темы, отправились мы с ним пообедать в заводскую столовую, и там – за столом – между нами состоялся задушевный разговор. Странно, но Григорий, поварившись в редакционной тесноте такое короткое время, сумел сделать для себя кое-какие выводы. Меня же он по-братски предупредил:

– Тебе, старик, работать в этом «бедламе» будет не совсем комфортно. Хватает здесь недоброжелателей и завистников – сердцем чую. А мое сердце меня никогда не обманывает.

Я тогда серьезно не воспринял эту информацию, а уже спустя какой-то месяц – полтора, смог убедиться в полном провидении его слов... Из редакции «Ижорца» мне пришлось вскоре уволиться.

Следующая наша встреча с Григорием Рыскиным состоялась спустя полгода в редакции отраслевой газеты «Лесоруб» Ленинградского комбината «Ленлес». Я приходил туда устраиваться на работу, но, к сожалению, вакансий не было, и мне была предложена позиция внештатника с оплатой по гонорарному фонду. Уже выходя из стен «Лесоруба», в дверях я столкнулся с мужчиной, лицо которого показалось довольно знакомым. Те же очки, то же округлое лицо, знакомые черты, вот только взгляд мужчины выглядел довольно озабоченным. Чувствовалось, что Григорий куда-то торопится и не располагает временем для душевного разговора. Узнать-то он меня узнал сразу, только почему-то смутился. Видно, встретился я ему совсем не во время. Рыскин вырвал из блокнота листок бумаги и наскоро ручкой нацарапал свой номер телефона.

– Позвони на досуге, старичок! Найдем времечко погутарить о жизни! А сейчас у меня запарка. Извини...

Редакционная дверь захлопнулась, а я не спеша вышел на улицу. В «листочку» пиджака предусмотрительно была сунута бумажка с домашним телефоном знакомого. Думал, что в ближайший выходной обязательно позвоню коллеге по перу, но проходили дни, а бумажка с номером телефона продолжала покоиться в недрах одежды. И покоилась она до тех пор, пока я ее благополучно не потерял. Вот к чему приводит юношеская беспечность, но тогда я этого недостатка в себе никак не ощущал... Потерял и потерял. Журналистский мир узок. Авось где и встретимся!

В очередной раз встретиться с Григорием Рыскиным мне посчастливилось при следующих обстоятельствах. Я был приглашен в одну компанию, «гвоздем» которой был питерский журналист Семен Юхнов. В свое время, когда я приехал из полуторагодичного сибирского вояжа, он пытался мне помочь устроиться на работу в редакцию, однако, не смотря на его протекцию, вакансий в городе не было. Ехать же в отдаленные районы Ленинградской области мне не хотелось. Наконец-то в этот вечер я увидел Григория раскрепощенным. Его глаза блестели, и улыбка не покидала лицо. Он остроумно шутил и веселил всю нашу компанию. Именно в этой компании, где Григорий чувствовал себя своим человеком, мне удалось накоротке потолковать с ним о жизни.

– Журналистское ремесло, Борух, чревато тем, что очень легко скурвиться и превратиться в дерьмо. Помни об этом и не иди на дешевый соблазн, – напутствовал меня Рыскин.

Это легковесное обращение ко мне «Борух» тогда слегка резало слух, но в той компании, состоящей из десяти человек, добрая половина которой состояла из евреев, я считал это обращение как акт доброжелательности и доверия. Мы в тот вечер очень долго разговаривали и с Григорием, и с Юхновым. Под хлебосольную обильную закуску хозяйки дома было выпито довольно много водки и я, хорошо поддающийся, с веселинкой в сердце, размахивая руками, «громко» ловил в вечерней темени «мотор», дабы добраться до дому. Тогда я еще и не предполагал, что эта моя встреча с Григорием и Юхновым окажется в Ленинграде последней...

Сложно устроен мир. Работаете в прессе и друзья у тебя, как правило, из этой же области. А в конце шестидесятых годов я обзавелся семьей, порвал начисто с журналистикой и с головой окунулся в промышленное производство. В многотиражке платили мало, а там, куда я устроился на работу, я стал получать чуть не в два раза больше. Не сразу, конечно, а спустя некоторое время. И если раньше я по выработанной привычке нет-нет, да раз в неделю и заглядывал на посиделки в Ленинградский дом журналиста, то с отходом от литературного ремесла у меня этот интерес к нему просто сошел на «нет». Так, в заботах и хлопотах и проходила жизнь.

Где-то в начале восьмидесятых годов от шапочного знакомого журналиста я узнал о том, что Григорий Рыскин в свите Сергея Довлатова «соскочил» за океан и там начал жизнь с белого листа. Признаться, мысли об отъезде бродили в головах тогда у многих моих знакомых. У меня же все было вроде бы в порядке. Работа приносила стабильный доход, я уже трудился на командных ролях в области строительства, было благоустроенное жилье и участок земли в пригородной зоне. Чего еще желать? От добра добра не ищут...

Только и эта лодка благополучия в начале девяностых годов дала трещину. Развалился Союз, к власти пришли демократы. В Москве – впервые за очень много лет – пролилась кровь. Весьма неустойчивым оказалось и мое финансовое положение. Повсеместно в России замерла стройка, и я официально стал безработным. Нет, голодным и холодным я не остался, просто «волком-одиночкой» пришлось рыскать в поисках куска хлеба с маслом. Я стал организовывать частные элитные ремонты у питерских нуворишей, а в середине лихих девяностых, когда бандитский беспредел достиг своего апогея, подал документы на отъезд из России в Западную Европу...

...Говорят, что время – лучший доктор. Наверное, это так! Прошло уже пятнадцать лет с тех пор, как я покинул родину и живу на чужбине. Жалею ли я об этом? Скорее всего, нет. Ведь на родине я потерял востребованность в пятьдесят зрелых лет, а здесь, в Германии, мне пришлось все начинать сначала... А с чего начинать? Конечно же, с хорошо забытого старого. Вспомнив о журналистике, я вновь взялся за перо. И в разных издательствах России, Украины, Германии стали выходить мои книги...

И вот однажды, гуляя с «мышкой» по интернету, я натолкнулся на сайт книжной торговой сети «ОЗОН», где были выставлены к продаже и мои книги. И о, чудо! Внимание мое привлек портрет седовласого пожилого мужчины в толстых роговых очках. Странно, но я сразу же его узнал. Прошло немногим больше сорока лет с той посиделки, где мы последний раз общались с журналистом Григорием Рыскиным. Теперь мой старый питерский знакомец предстал совсем в другом качестве. С экрана компьютера на меня смотрел писатель Рыскин, а на обложке его новой книги было название: «Новый американец» Охваченный любопытством, я тут же зашел в поисковую систему, набрал имя коллеги и погрузился полностью в информационное поле о его сложной жизни. И первое, что я сделал, это на принтере тут же распечатал «Нового американца». Каково же было мое удивление, когда читая этот увлекательный роман, я обнаружил в Григории зрелого и яркого литератора. Какой искрометный язык, какая стройная последовательность изложения мыслей! Вчитываясь в строки из биографии Григория, я стал ловить себя на мысли, что у нас очень много общего. Григорий был ребенком войны, и его поднимала «аидеше маме». Отец был офицером, сложив голову в большой кровавой «мясорубке», и был похоронен в братской интернациональной могиле отважных защитников Отечества. Мой отец тоже прошел всю войну с первого и до последнего ее дня и вернулся с войны героем-орденоносцем. У Григория Рыскина было очень трудное послевоенное детство. По сути дела его воспитывала улица, ибо мама, его постоянно суетящаяся еврейская мама, была озабочена тем, чтобы ее любимый сынок был хорошо одет и сытно накормлен. А маленький Гриша раздвигал и завоевывал свою территорию под уличным солнцем смелостью, силой духа и кулаками.

Как ни странно, и мое далекое детство было списано с детства Григория, как под копирку, только с небольшой поправкой. Драчуном и забиякой я не слыл, а вот сыном улицы я был полноправным. Разница, пожалуй, была лишь в том, что Григория окружали сверстники, а я все больше общался среди

пацанов постарше, поэтому меня жалели и оберегали. Вот тебе и разница в девять лет, а сценарий жизни обоих почти одинаковый. И во взрослой жизни оказалось много общего. И у того, и у другого имелась огромная тяга к перемене мест. Обоих магнитом тянуло в журналистику и, если Григорий, имея запасной «аэродром», то есть диплом педагога, мог совмещать журналистику с профессией учителя, то у меня такой возможности не было. К сожалению, вузовский диплом меня не кормил. Уйдя из журналистики, мне пришлось переучиваться и уже в зрелом возрасте получить технический диплом. Это дало мне возможность закрепиться и остаться в строительной сфере вплоть до отъезда за «кордон».

На протяжении нескольких дней я, благодаря компьютеру, вгрызался в жизнь нового американца и ловил себя на мысли о том, что мне очень хочется поговорить с ним «вживую». И я зашевелился. Обзвонил многие русскоязычные издания в России и Европе. В одном интернет-издании мне повезло: там публицист Рыскин размещал свои литературоведческие статьи. Я позвонил главному редактору с просьбой дать мне электронный адрес американского писателя. Редактор оказался весьма осторожным, адреса старого друга мне не сообщил, зато известил Григория Рыскина о том, что его ищет давний питерский коллега.

И вот, в один из весенних дней две тысячи десятого года я получаю от Рыскина письмо весьма сдержанного содержания. Григорий отлично понимал, что наши питерские пути где-то пересекались, но никак не мог понять, «откуда дует ветер»? Нужен был толчок в форме каких-нибудь воспоминаний. И я тогда написал Рыскину довольно длинное письмо, где вспомнил о минутах нашего первого знакомства, о мимолетной встрече в «лесной» газете и так далее. Ответ пришел незамедлительно. И содержание письма было в этот раз очень даже позитивным. У Григория оказалась острая память, он держал в голове такие мелкие детали, которые не отложились бы в памяти других. Мой старый знакомый вспомнил даже о ледяном пиве, которое мы с ним пили в заводской столовой в далекий зимний день шестьдесят седьмого года. Оказалось, что после этого случайного обеда кандидат в заводские журналисты целую неделю провалялся на койке с тяжелейшей ангиной. Вот, оказывается, как тогда я ему удружил. Нарочно не придумаешь. Разве можно такой эпизод забыть?

А дальше... Дальше мы практически перестали писать другу электронные письма, все больше полагаясь на видеосвязь и телефонное общение. Не проходило и двух-трех дней, как в

квартире не раздавались звонки из-за океана. Григорий подробно рассказывал мне о жизни в Америке. На восьмом десятке, когда уже все нормальные люди отдыхают на заслуженной пенсии, он продолжал трудиться на хлопотной должности «супера», что в переводе с английского означает «управляющий домохозяйством».

– Не могу я, Борух, без работы. Привык к определенному уровню и укладу жизни, поэтому не хочу сбиваться с ритма. У меня большая квартира и она дорого стоит, а съезжать из этого района уже не хочу. У богатых свои привычки. Шучу! Расскажи-ка лучше о себе!

И вот так всегда! Стоило мне заговорить о его новых книгах, как у Григория падало настроение:

– Никому, дорогой Борух, мои книги не нужны. Мне, правда, грех жаловаться на плодовитость. Двенадцать книг я издал, и больше половины из написанного мною – под издательский договор. Не каждому автору так везет. И тем не менее! Сегодня издание книг находится в загоне. Люди очень мало читают. Культура в массах тает, народ душевно черствеет и это повсеместно... Меня это очень тревожит...

Иногда в наших беседах проскальзывали и нотки восторженности. Вот как Григорий Рыскин рассказывал мне об интернет-журнале: «Семь искусств»: «... Ты знаешь, Борух, у Вас в Германии издается серьезный журнал «Семь искусств». Редактором в нем Евгений Беркович. Скажу я тебе, очень толковый журнал. И авторы там зрелые и вдумчивые. Читать приятно. Остальное все, или почти все – макулатура. Разве что еще можно отметить журнал «Иностранная литература». Я туда, кстати, отправил статью о шахматисте Фишере». Обещали хорошо заплатить».

Слушая коллегу и друга, я искренне радовался тому, что он не сидит дома «сиднем» на диване, а активно реализует себя как автор и много публикуется. Неповторимый тембр голоса Григория вряд ли спутаешь с кем другим. Телефонный разговор Рыскин всегда начинал так:

– Милый Борух! На проводе – старый Герш! Мир твоему дому!

А дальше все зависело от настроения. Если оно было добрым, Григорий рассказывал мне о том, что его волнует; если же его в данный момент грызла депрессия, он бывал немногословен. Вот как он высказывался в эти минуты:

– Борух! Меня часто посещают мысли о том, кому нужна сегодня литература... Сегодня люди стали меньше читать. Писем

мне никто из читателей и книголюбов не пишет. Создается такое впечатление, что с этим ремеслом пора завязывать. А что мы с тобой еще умеем делать? Я, правда, еще мастерством массажиста владею, но руки уже не те, да и глаза стали побаливать. Как таксист, я тоже уже по возрасту не гожусь. Статьи, правда, пишу на заказ, но и это штучные заказы. Скажи, дорогой, что делать дальше?

Признаюсь, я не знал ответов на эти вопросы и постоянно отшучивался. А в конце беседы с удовлетворением отмечал, что после моих шуток и анекдотов Григорий немного преобразался и уходил от грустных мыслей.

...Я очень хорошо помню свой последний телефонный разговор со своим «старым новым американцем». Это было накануне дня Победы в мае нынешнего года. Поздравив друга с этим замечательным праздником, я сообщил Григорию о том, что уезжаю в недельную поездку по Дунайским странам. Рассказал другу о своих планах написать и опубликовать об этой поездке цикл путевых заметок. Долго мы говорили в этот вечер. Я посетовал Григорию на нехватку времени, сообщил другу о предстоящей поездке в Сибирь, о том, что еду собирать материал для второго тома автобиографической книги... Не преминул упомянуть и о том, что эта командировка сибирской стороной будет оплачена. В конце разговора я опять уловил в голосе Григория грустные нотки: глаза сильно устают, внутренние боли беспокоят. Я опять рассказал Григорию свежий анекдот, и он немного повеселел. В трубке раздались короткие гудки, а я, пристроившись на диване, увлеченно принялся дочитывать рыскинскую книгу под названием «Газетчик».

Лето у меня оказалось действительно напряженное. После вояжа в Венгрию, Словакию, Австрию и Чехию, я отправился в Россию, а вернувшись домой, угодил в больницу с радикулитом. Несколько раз порывался позвонить Григорию, но как назло мой ноутбук не вовремя вышел из строя. Так или иначе, я все равно наметил себе –позвонить в Америку, чтобы поздравить Григория с предстоящим католическим Рождеством, ведь этот праздник в конце декабря широко отмечается на всей планете. Сразу же после больницы я набрал номер приятеля, но к телефону никто не подошел. Через пару часов я повторил звонок и снова... тишина. Тогда я решил снова зайти в интернет, чтобы скачать повесть Рыскина «Записки массажиста». Зайдя на нужную страницу, меня чуть не хватил удар. Я не поверил глазам. Крупным черным шрифтом был набран анонс: **«Тридцатого августа две тысячи двенадцатого года в Москве из окна квартиры на**

одиннадцатом этаже жилого дома выбросился американский писатель Григорий Рыскин». Меня охватила нервная дрожь, и я снова вцепился в телефон. Наконец мне ответили. На проводе была жена и муза Герша Рыскина – Нина. Она во всех подробностях рассказала мне об этой московской трагедии. И случилось это именно в тот день, точнее вечер, когда я сидел в пассажирском кресле «Боинга» и держал курс на Москву, где мне предстояла пересадка на Красноярск.

Вот так и уходят друзья. Уходят по-английски, не прощаясь. Ушли Довлатов, Петр Вайль, нет сегодня с нами и Григория Рыскина – талантливого писателя и яркого публициста.

В одной из своих статей я уже писал о том, что человек умирает дважды. Первый раз, когда его хоронят, а второй – когда его напрочь забывают. «Старому новому американцу» – писателю Григорию Рыскину эта участь, думаю, не грозит. Он уже сделал шаг в бессмертие, ибо его книгам уготована счастливая судьба. Все, что вышло из-под пера этого сильного автора, сиюминутной халтурой никак не назовешь. Это литература высокой взыскательной пробы. И его повести, рассказы, романы, эссе, литературно-критические статьи можно смело поставить в один ряд с Сергеем Довлатовым и другими признанными мастерами художественно-документальной публицистики. А это есть великое достояние русской современной литературы.



Владимир Шапиро

Ассоциативный поток воспоминаний

Часть первая
Композитор Крейн и другие



двадцать седьмого марта 2012 года знаменитый московский режиссер Михаил Левитин в телепередаче «И другие...» рассказал о жизни актёра и режиссёра-экспериментатора, увлечённого поисками театральных идей и новаций, **Фёдора Каверине**. Первое воспоминание, всплывшее в памяти, относится к событию примерно пятидесятилетней давности и связано с самим Левитиным.

Я тогда после окончания Физтеха работал старшим лаборантом в Курчатовском институте в отделе Исаака Константиновича Кикоина. По инициативе академика, воспитанного в традициях школы «папы» Иоффе, в отделе устраивались новогодние праздники.

Для одного из таких праздников физик-теоретик К. написал пьесу "Лес рубят – щепки летят" – пародию на защиту диссертации. Для постановки пьесы пригласили профессионального режиссера, тогда еще мало известного Михаила Левитина. Миша пытался сделать из пьесы современный мюзикл. Немолодые ученые по задумке режиссера должны были лихо выделывать танцевальные па. Когда "актеры" пытались убедить его, что "собака этого не может" он страшно возмутился: "Вы хотите, чтобы вашу занудиловку, можно было смотреть и не заснуть?" В конце концов, режиссерские принципы Кикоина, который присутствовал на заключительных репетициях, и установки Левитина пришли в противоречие и Миша получил отставку. Я играл подзащитного и по ходу пьесы должен был говорить нечто вроде того, что, когда в стране не хватает леса, надо беречь каждую щепку. На генеральной репетиции я не удержался и продолжил список того, чего не хватает в стране, за

что тут же получил нагоняй от И.К. за отклонение от текста. Левитин после этого вечера пытался вести в нашем ДК театральный кружок, но очень быстро от этой затеи отказался. Правда, он успел пригласить меня поучаствовать в этом мероприятии в качестве главного комика – Бурделя. Так высоко он оценил мои актерские способности – немного, немало как нечто среднее между Бурвилем и Фернанделем.

Эмоциональный рассказ Левитина о Каверине пробуждает интерес к забытому талантливому человеку, и я набираю его ФИО в ГУГЛЕ. Благо в наше время интернет позволяет воскресить из небытия события прошлых лет. И, пожалуй, самые обширные воспоминания о Федоре Николаевиче нахожу в очерке «О старших товарищах» писателя, драматурга Александра Александровича Крона. Александр Александрович написал повесть «Капитан дальнего плавания» об отважном подводнике Александре Ивановиче Маринеско. К сожалению, повесть увидела свет, когда ни автора, ни его героя уже не было в живых. Крона не стало в 1983 году, а повесть напечатали в 1984.



Александр Александрович Крон

«Мы познакомились и сблизились с Федором Николаевичем – пишет в своих воспоминаниях Александр Александрович – во время работы над "Трусом" – пьесой, которую я робко назвал "опыт трагедии". Я был юнец, автор второй пьесы, Каверин – известный режиссер. Он был яркой звездой на нашем театральном небе, талант имел редкий, многие его спектакли пользовались огромным успехом. Даже в истории советского театра – самого массового в мире – я не помню другого случая,

чтоб спектакль прошел около двух тысяч раз, как поставленный Ф.Н.Кавериным "Кино-роман"». И дальше Крон пишет «Однажды мне позвонил Федор Николаевич и пригласил на черновую репетицию "Уриэля Акосты". За репетициями "Уриэля" я следил – и потому, что музыку к спектаклю писал мой отец, композитор А.А.Крейн, и потому, что мне очень нравился каверинский замысел».

Ну вот, зацепило – композитор А.А. Крейн!



Александр Абрамович Крейн

Достаю с полки, на которой у меня стоят книги с автографами авторов маленькую книжечку в бумажном переплете – «Подумай, отгадай», сборник ребусов 1949 года издания. На форзаце синими чернилами дарственная надпись «Великому кларнетисту Волику от А.А., 9 октября 1949 года». Волик – это я, а инициалами А.А. подписался Александр Абрамович Крейн. Предваряя рассказ о композиторе Крейне, поясню, почему он называет меня великим кларнетистом. Сорок девятый год. Почти одновременно из литературной редакции Всесоюзного радио увольняют литературного редактора мою маму Елену Арлюк, а из музыкальной редакции увольняют её подругу – музыкального редактора Надю Менделевич, тетю Надю. И вот через какое-то время, находясь у нас в гостях на Каляевской улице, тетя Надя, которая устроилась завучем в музыкальную школу на Новослободской улице обращает на меня внимание и говорит

маме «Леля, почему бы мальчику не позаниматься музыкой?». Возражения типа – у ребенка полное отсутствие слуха, тетя Надя отмела как несерьезные. «Что значит, нет слуха? Разовьем!» «Но у нас нет инструмента» – пыталась сопротивляться мама. Ничего страшного, получит казенный кларнет. На той неделе у нас заседает приемная комиссия, пусть Волик выучит «Ёлочку», и я думаю, его примут в школу. И меня приняли! Не потому, что я хорошо спел «Ёлочку», я посчитал, что петь эту детскую песенку не экзамене не серьезно. С воодушевлением я затыкнул «Союз нерушимый республик свободных...» Ну как после этого можно было не принять меня в кларнетисты. В кларнетистах я проходил почти целый год, пока не выяснилось, что мой слух развитию не подлежит.



Дом 10 по улице Чайнова, в котором в пятидесятых годах размещался Центральный Дом Композиторов. Мне приходилось бывать в нем по приглашению Александра Абрамовича на детских музыкальных утренниках

А теперь о композиторе Крейне. Во время эвакуации в городе Куйбышеве мама познакомилась с женой Александра Абрамовича – Любовью Васильевной Руденко. Дружеские отношения с семьей Крейнов продолжились и после возвращения

в Москву. Крейны жили в доме Музфонда, «композиторском» доме, на 3-й Миусской, теперь улица Чайнова. Этот монументальный с некоторыми архитектурными притязаниями дом был построен в 1939 г. по проекту архитектора Людвиг.

Кстати, в 1966-1992 годах 3-я Миусская называлась улицей Готвальда в память о чехословацком коммунистическом деятеле Кlemente Готвальде. Этот ярый сталинист не смог пережить смерть своего боса и умер от разрыва аорты спустя несколько дней после смерти Сталина. А в шестидесятых годах, когда в Чехословакии стали слышны голоса с критикой культа личности Готвальда, его имя присвоили старинной московской улице.

Еще школьником 7-10 лет я часто самостоятельно ходил в гости к Крейнам. Благо дойти проходными дворами от Каляевской улицы до Миусс занимало у меня минут пятнадцать. Я дружил с Любовью Васильевной. Когда она была свободна, в то время как Александр Абрамович работал в своем кабинете, где у него стоял рояль, мы играли с ней в карты. Интеллектуальная игра «6б» была моей любимой игрой. В перерывах между работой Александр Абрамович выходил в гостиную расспрашивал меня о моих успехах в школе и непременно угощал меня чем-нибудь вкусным – конфетами или фруктами. Я знал, что Крейн был известным композитором, но поскольку музыкально я, мягко говоря, не был одаренным ребенком, то по достоинству оценить его творчество был не в состоянии. После смерти Александра Абрамовича, он умер в 1951 году в возрасте 68 лет, я продолжал навещать Любовь Васильевну.

У Крейнов в Малаховке была дача. Когда Александра Абрамовича не стало, Любовь Васильевна сдавала дачу на лето в основном композиторам. Пару раз она приглашала маму и меня пожить на даче. Мне запомнилась стройная красивая женщина средних лет, жена композитора Пейко, семья которого в одно лето жила на даче. Она очень доброжелательно ко мне относилась и разрешала мне кататься на своем велосипеде. Велосипед был дамский без рамы, поэтому я мог гонять на нем по песчаным дорожкам Малаховки в стоячем положении, поскольку с седла я до педалей не доставал. Мою благодетельницу звали Ириной Михайловной и как я позднее узнал от Любови Васильевны была она урожденной княжной Оболенской.

Как-то, когда я был в гостях у Любови Васильевны, она сказала, что если я хочу, мы могли бы пойти с ней на премьеру в Большом театре балета Александра Абрамовича «Лауренсия». «Если ты сможешь достать билеты» – добавила она. Я очень

удивился: «Любовь Васильевна, казалось бы, вам и карты в руки» – «Нет, нет мне неудобно». Я не стал уточнять, что ей неудобно и пообещал постараться.

Мне действительно удалось, подежурив ночью у касс, купить из брони билеты на одно из первых представлений балета. Мы сидели в шестом ряду в середине у прохода и наслаждались прекрасной музыкой Александра Абрамовича. Тогда в роли Лауренсии в первый и последний раз я увидел воочию на сцене великую Майю Плисецкую. Запомнился её темпераментный танец в конце спектакля. Лауренсия в развевающемся лохмотьями изорванном солдатами красном платье призывает крестьян на штурм замка командора.



Обложка программки с либретто балета «Лауренсия», 1956 год

Балет «Лауренсия» жив и сейчас. В январе 2012 года он поставлен в Санкт-Петербурге в Михайловском театре. Критика отметила, что в музыке балета чувствуется влечение к испанскому фольклору, а в целом музыка отличается сочными гармоническими красками, яркой оркестровкой, рельефной, декламационно-выразительной мелодикой.

В советское время из огромного музыкального наследия Александра Абрамовича обычно выделяли две вещи – балет

«Лауренсию» и музыку к спектаклю театра Советской Армии «Учитель танцев». Мы жили недалеко от этого театра, и я бывал там довольно часто, тем более что там работал Вячеслав Вячеславович Сомов, отец моего одноклассника Игоря Сомова. Вячеслав Вячеславович замечательно читал стихи, я не раз бывал на его поэтических концертах. В знаменитом «Учителе танцев» Лопе де Вега в роли Альдемаро Сомов успешно дублировал Владимира Зельдина. Легенда российского театра, продолжающий в 95 лет выступать на сцене, Зельдин любит вспоминать свою работу в «Учителе танцев», и благодаря этому этот спектакль постоянно на слуху у широкой публики. Однако широкая публика, как правило, остается в неведении, что своему успеху не в последнюю очередь спектакль обязан автору музыки к спектаклю Александру Крейну.

Общепризнано, хореография спектакля органично соединена с музыкой Александра Абрамовича, которого на этот спектакль пригласил заведующий музыкальной частью Театра Красной Армии композитор Тихон Хренников: «Приступив к репетициям "Учителя танцев", его постановщик В.С.Канцель знал, когда, сколько и зачем должна звучать музыка, не зная лишь одного – кто сочинит ее. Больше всего он боялся, как он сам определял, "музыкальной "падеспани". Выбирали композитора долго, пока не нашли... моего соседа А.А.Крейна (Хренников насколько я помню жил в том же знаменитом доме Музфонда этажом выше Крейнов – В.Ш.). Выбор был точен, как и выбор главного исполнителя. Вместе с В.Зельдиным в спектакле блистал слаженный в музыкальном отношении ансамбль. Здесь выразительно действовала мелодическая образность каждой роли. В.Канцель был прав: спектаклю нужна была музыка смелых и влюбленных сердец, музыка горячей Испании, а никак не "падеспань". Надо заметить, что общее время музыки, сочиненной Крейном, составляло всего девятнадцать минут, но она так точно и так умело была распределена режиссером, что, казалось, спектакль сплошь состоит из музыки».

Если говорить о фольклорной музыке, то чаще всего композитор обращался все-таки к мотивам еврейского фольклора. Я нашел в интернете перечень сочинений Крейна по еврейским литературным программам и на еврейские музыкальные темы и полагаю, что следует привести его полностью: ««Поэма» для виолончели и фортепиано (1909), «Поэма-квартет» (1910), две сюиты для кларнета и струнного квартета «Еврейские эскизы» (1910, 1911), «Еврейский каприз» для скрипки и фортепиано (1917), «Песни гетто» (1916-23), «Песнь Песней» (1918) для голоса

и фортепиано, кантата «Каддиш» для тенора, хора и оркестра (1922; клавир издан в Вене в 1928 г., партитура уничтожена там же нацистами в 1930-х гг.; кантата публично не исполнялась), соната для фортепиано (1922) и 1-я симфония (1922-25), в которых претворены интонации «Песни Песней», музыкальные номера к спектаклям «Габимы», ГОСЕТа («Ночь на старом рынке», 1925, по пьесе И.Л. Переца) и Киевского еврейского театра («Саббатай Цви», 1927, по пьесе Ш. Аша), опера «Загмук» (1930; о восстании рабов в Вавилоне), «Десять еврейских песен» (1937), шесть романсов на стихи И. Эренбурга из сборника «Война» (1944), ранние романсы на стихи Х.Н. Бялика, А. Эфроса и другие. Вторая симфония (1944-46) была задумана как музыкальное претворение истории еврейского народа от глубокой древности до трагических событий в годы Второй мировой войны».



Погрузившись в изыскания в интернете сведений о А.А. Крейне, я натолкнулся на интереснейшее исследование доктора искусствоведения, заведующего Отделом театра Государственного института искусствознания Иванова Владислава Васильевича «ГОСЕТ: политика и искусство 1919-1928 (М., ГИТИС, 2007). Автор подобно разбирает спектакль «Ночь на старом рынке», по пьесе Ицхака Лейбуша Переца, поставленный в ГОСЕТе в 1925 году Алексеем Грановским. «Перец ввел в литературу на идише стихотворную драму как жанр. Создал две символические пьесы, написанные белым стихом – «Ночь на старом рынке» и «На покаянной цепи», в которых грани между

реальностью и фантастикой, между жизнью и смертью размыты. Эта пьеса стала для автора важным, быть может, ключевым, но так до конца и неудовлетворяющим высказыванием». Известный музыковед Е. Браудо признал музыку к постановке Грановского «одним из наиболее интересных моментов» спектакля. Художник постановки Роберт Фальк считал музыку Крейна «совершенно гениальной». «Композитором – пишет Иванов, ссылаясь на отклики современников – превосходно использованы народные напевы, жуткие лейтмотивы древнего музыкального происхождения и отдельные куски самостоятельно разработанной симфонической ткани. Симфоническая музыка для двадцати двух инструментов сделана мастерски – это маленький шедевр звучности небольшого камерного оркестра. Музыка стала формообразующим началом. Задавала актерам модуляции голосов и ритм речи, влияла на жестикуляционный стиль, воздействовала на ассоциативный уровень зрительского восприятия. Она сливалась со звуковой партитурой, в которой различимы то четкие, то замирающие звуки шагов, скрип костей, иногда детские гнусавые песенки. Оркестр, хор и часть актеров расположены за зрительным залом (сзади) так, чтобы, акустически соединяясь друг с другом, создавали бы звуковое наполнение всего пространства. Таким образом, грозная темная музыка Крейна, в которой католический хорал переплетался с еврейскими напевами, а кадиш (поминальная молитва) переходил в реквием, не только стирала грань между живыми и мертвыми на сцене, но и объединяла их со зрителями в общем эсхатологическом предстоянии». Я привел довольно длинную цитату из книги Иванова, чтобы продемонстрировать, каким Крейн был великолепным театральным композитором.

Вот собственно и всё, что я хотел вспомнить и написать о замечательном музыканте, чья музыка, как мне кажется, очень редко исполняется и недостаточно популяризуется в Израиле.

К сожалению я ничего не нашел по поводу его музыки к спектаклю «Уриель Акоста», поставленному Федором Николаевичем Кавериним. А к ассоциациям, связанным с этой пьесой Карла Гуцкова, о её постановках на мировых сценах и о самом герое этой пьесы, который был одним из кумиров знаменитого историка еврейского народа Шимона Дубнова, я надеюсь еще возвратиться.



Геннадий Несис

Вернуться в прожитую жизнь

Продолжение. Начало в №8/2012_и сл.

“В изломе жизненных осей”

В нас - точно в комплексном числе -
Все так вещественно и мнимо,
Так непонятно все и зримо –
В любви, в дороге, в ремесле.
И в мире брани и оваций
Бывает трудно разглядеть -
Вещественность своих субстанций
И мнимых гимнов злую медь.
Но в плоскостях координатных,
В изломе жизненных осей, -
Мы все становимся ясней
Из уравнений непонятных.

Июль 1975



о время работы над своими воспоминаниями, я постоянно задаю себе вопрос, а могут ли они вызвать интерес у кого либо, кроме достаточно ограниченного круга людей, знающих меня лично, то есть, говоря высоким слогом, привлекут ли они общественное внимание. Мемуары не та литературная форма, которая может быть отнесена к явлениям высокого искусства. В острополемиической работе с весьма актуальным для обсуждаемой темы, названием “Письма без адреса”, Г.В. Плеханов дал такое определение: “Искусство начинается тогда, когда человек вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности и придает им известное образное выражение...”

Само собой, что в огромнейшем большинстве случаев, он делает это с целью передать передуманное и пережитое им другим людям”.

Эта формулировка, очень близкая по смыслу и к философско-эстетическим взглядам Л.Н.Толстого, вполне соотносится и с жанром литературных воспоминаний, правда при немаловажном и жестком условии - придании им “известного образного выражения”!

Герой драматургического произведения или романа интересен зрителю или читателю, если по ходу развития сюжета, ему приходится преодолевать препятствия, стоящие на его пути к цели. В теории драмы есть понятие – перипетия. Этим термином обозначается внезапное или неожиданное изменение в судьбе действующего лица, как правило, противоположное тому, что можно было ожидать или предполагать.

Таких “изломов жизненных осей” в моей жизни было немало.

Первый из них произошел в августе 1962 года, когда двигавшийся по намеченному гуманитарному курсу, пятнадцатилетний капитан, резко изменил маршрут своего корабля. Причины такого решения были весьма прозаичны, и какие бы то ни было аналогии с романтическими, или ищущими приключений, героями произведений Жюль Верна, пожалуй, здесь, неуместны.

Тем летом передо мной встал важный вопрос: где продолжить свое образование. Дело в том, что моя школа N 193, несмотря на то, что она гордо несла имя своей выпускницы - Надежды Крупской, была преобразована в восьмилетку. Партийный руководитель города Григорий Романов затеял превратить культурную столицу России в одно большое ПТУ, и во многом, в этом преуспел. Да и кто же мог предположить, что в старинном особнячке на Басковом переулке, уже начал проходить свои первые университеты парень из соседнего двора, которому предстоит в конце XX века возглавить нашу огромную страну. А тогда его звали просто Володя, и оба мы, хотя и в разное время, с особым интересом изучали немецкий язык у молодой учительницы – Веры Дмитриевны Гуревич, которая стала для меня не только прекрасным педагогом, но и очень близким человеком. Именно она, спустя каких-то сорок пять лет, вела юбилейный вечер, посвященный моему 60-летию, а мне недавно довелось быть тамадой на семейном торжестве в честь, еще более значительного, юбилея моей учительницы.

Восьмилетку я закончил с Почетной грамотой, но для

поступления в престижный “физический класс” школы-одинадцатилетки №195, располагавшейся неподалеку от Таврического Дворца, пришлось пройти сложное собеседование. Идея перехода именно в эту школу принадлежала склонному к точным наукам, Аркадию Рабинову - моему однокласснику, с которым мы когда-то были очень дружны.

Занятия в этом классе проходили по особому графику, причем, один день в неделю учащиеся проводили непосредственно в лабораториях знаменитого Института полупроводников, носившего имя великого российского физика Абрама Федоровича Иоффе. Мне казалось символичным, что именно ему, молодому ассистенту Санкт-Петербургского Политехнического института имени Императора Петра Великого (сохраняю историческое название и транскрипцию) сдавал курс физики мой дед – студент Иосиф Альтшулер в 1911-1912 годах.

Загадочное слово “полупроводник” звучало тогда так же “круто”, как сейчас термин “нанотехнология”. Учиться там было просто, но все же в середине сентября я вновь появился во Дворце пионеров, о чем свидетельствует запись в специальном гроссбухе, который ведется в шахматной школе с начала пятидесятих годов прошлого века, и хранится под замком у старшего тренера Бориса Гобермана. Выяснилось, что в один день со мной регистрацию проходили будущий гроссмейстер, многократный чемпион Ленинграда Марк Цейтлин, сын великого режиссера и будущий руководитель ряда известных учреждений культуры и искусства Николай Товстоногов, мой коллега и соавтор Леонид Шульман. Все они стали моими друзьями, и за это я тоже благодарен шахматам.

На практике в прославленном институте было довольно интересно, но на школьных уроках я предпочитал играть бесконечные партии со своим новым одноклассником Юрием Горским.

Вскоре я перешел в спортивное общество “Динамо”, где моими соперниками были уже не сверстники, а опытные бойцы старших поколений, такие как Евгений Черепанов или Марк Гордеев. В личных юношеских соревнованиях больше я участия не принимал, хотя с удовольствием защищал спортивную честь школы или района.

По итогам динамовских турниров, я завоевал право на участие в соревнованиях в Одессе. Выглядела такая поездка очень заманчиво. Но у моего деда, который всю жизнь придерживался принципа - “Береженого Бог бережет”, предстоящее самостоятельное путешествие энтузиазма не вызвало. Кажется, я

не очень бурно оспаривал его мнение. С приходом весны я как-то охладел к шахматам. Меня стало больше тянуть к литературным и музыкальным компаниям, театрам, концертам и модным в хрущевскую оттепель, капустникам и устным журналам.

В Одессу я попал лишь двадцать лет спустя, но, о той, упущенной поездке, никогда не жалел, потому что впереди меня ждало удивительное зеленогорское лето 1963 года - может быть самое веселое и счастливое лето моей жизни.

Мой Ваня

Первая встреча с Ваней состоялась довольно неожиданно. Мне позвонил мой старый знакомый, известный спортивный комментатор Геннадий Орлов, в настоящее время заведующий кафедрой футбола в Академии им. Лесгафта, и спросил, кого из питерских тренеров я могу рекомендовать для занятий с мальчиком 8-9 лет. Сказано это было как-то просто, без особых подробностей, почти невзначай. Я ответил, что мне так, экспромтом,- трудно назвать кого-то конкретного, но все же перечислил несколько фамилий, и потом, словно спохватившись, решил, что стоит посмотреть на этого мальчика, оценить его возможности и интересы, и только после личного знакомства дать определенные рекомендации.



Этот, как потом выяснилось, во многом судьбоносный для меня разговор, состоялся накануне Нового 1999 года. Предпраздничные хлопоты, школьные каникулы, елки – (и в непопулярные ныне 90-е годы - долгий отдых: от католического Рождества до Старого Нового года уже стал входить в российскую традицию) – все это отодвинуло нашу встречу на середину января наступившего 1999 года- года, для меня очень значимого и в личном и в творческом плане. Достаточно только напомнить, что всего через восемь месяцев после описываемых событий

Александр Халифман триумфально завоевал в Лас-Вегасе звание чемпиона мира ФИДЕ.

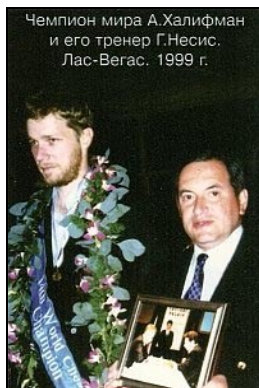
Итак, раздался звонок, я открыл дверь и Орлов познакомил меня с Вадимом Евсеевичем Сомовым. На фоне двух солидных, представительных мужчин Ваня смотрелся совсем ребенком. Он выглядел явно младше своего возраста – такой тонкий, subtilный, с чудной улыбкой, но скорее напоминающий будущего танцовщика, чем шахматиста или, тем более, спортсмена, хотя потом я узнал, что Ваня увлекается, и не без успеха, различными игровыми видами спорта, особенно, футболом.



Мы сели за дубовый большой стол, надежно сработанный немецкими мастерами в конце XIX века. Я предложил гостям коньяк - самый обычный трехзвездочный, армянский – который мои гости, лишь из вежливости, пригубили (пока я еще не понимал, с кем имею дело). Ваня продержался за столом недолго, швырнув куда-то в угол куртку, он буквально ворвался в мой кабинет, к шахматной доске. Он хотел играть, и играть немедленно - это был хороший признак.

Я должен сказать, что похожим образом в начале 1987 года в моей квартире на Басковом появился и Гата Камский – уже известный в то время вундеркинд, по ряду причин оставшийся в этот период без тренера. Гата также уверенно прошел в кабинет, но его интересовала отнюдь не игра со мной в шахматы, а шахматная библиотека, тем более, что в те годы ему еще были недоступны западные журналы, заполнявшие полки моих стеллажей.

Он был уже вполне самостоятелен, и, схватив югославский «Информатор» и наверняка впервые увиденные им толстые фолианты Year book'ов голландского «New in Chess» стал быстро, с какой-то жадностью, перелистывать их страницы и, углубившись в чтение, казалось, просто, забыл о моем существовании.



Ваня вел себя совершенно по-иному. Он был игрок. Ему интересно было играть – с кем угодно, сколько угодно и когда угодно. Ему просто хотелось играть в шахматы. И, удивительнейшим образом, в моей тренерской работе с Ваней, главным методом (необычным для подготовки юных шахматистов) было просто разыгрывание бесконечных легких, тренировочных, а позднее - блиц-партий с гандикапом по времени. Ваня не любил зазубривать варианты самостоятельно, по книгам. Нет, это было не его. Для Вани шахматы были, конечно, не наукой, а, прежде всего, спортивной игрой. Он обладал таким особым, «игроцким» характером.

Сразу почувствовав эту безумную любовь к шахматной игре, я использовал ее, как великолепный стимул для занятий, стараясь во время, таких легких партий, постоянно давать какие-то комментарии, оценки, указывать на ошибки, объяснять, иногда, смысл моих ходов. Таким образом, обучение проходило без скучной для него дидактики, как бы незаметно - только в процессе практической игры. Конечно, демонстрировались какие-то варианты, острые дебютные схемы. У Вани была прекрасная память, и многое он схватывал, то, что называется, слету, но вот записывать и заучивать он ленился. Это была не его стихия, для него самое важное было играть, и чем сильнее был соперник, тем

с большим азартом и интересом он играл. Наверно, мы с ним сыграли за эти годы тысячи партий...

Есть шахматисты совершенно другого типа, скажем, как Александр Халифман, которые вообще предпочитают заниматься самостоятельно, с детства умеют работать с книгами, а затем и с компьютером. Для таких шахматистов лучшим спарринг-партнером является он сам, а тренер скорее играет роль психолога, консультанта, но никак не партнера по игре. Здесь сказываются и индивидуальные свойства характера, и отношение к шахматам, и, даже, разные формы шахматных дарований. Задача тренера – найти тот стиль работы с юным подопечным, который дает наилучшие результаты, и наиболее приятен и интересен самому ученику. Конечно, обучая музыке, приходится заставлять ученика разыгрывать бесконечные гаммы, но, когда дело доходит до исполнения оригинальных композиций, стоит предоставить юному музыканту определенную свободу самовыражения, стараясь подбирать для него произведения, наиболее соответствующие его эмоциональному строю. Допустима ли такая аналогия? Слово – за музыкальными педагогами.



Конечно, Ваня был честолюбив, – что, с моей точки зрения, является необходимым качеством не только для спортсмена, но и для всякой успешной личности. Надо отметить, что у Вани это здоровое честолюбие не было эгоистичным. Оно удивительным образом распространялось на близких ему людей. Он искренне радовался победам любимой команды в футбольном матче или команды родного завода “Киниф” в чемпионате страны по водному поло. А как он болел за Александра Халифмана в Лас-Вегасе! Гордился он и своим отцом - человеком многогранного таланта и твердого, целеустремленного характера.

Но в этой сывошной гордости не было ни капли зазнайства или кичливости. Он гордился и своими первыми успехами. Но, как мне казалось, в большей степени потому, что его победы

приносили радость нам, его близким. Помню его торжествующую улыбку после выигрыша трудного эндшпиля на турнире в Дортмунде или во время вручения ему бронзовой медали на Европейской Маккабаде в Шотландии, когда больше тысячи спортсменов из всех стран Европы по разным видам спорта стоя аплодировали самому юному участнику соревнований.



В такие моменты мы оба были счастливы.

Ваня был абсолютно не обидчив, над ним можно было легко подтрунивать, он прекрасно ощущал доброжелательную интонацию собеседника, да и с чувством юмора у него было все в порядке. Именно, поэтому, поражения, во всяком случае, внешне, не выводили его из себя.

Это прекрасные качества обещали, что из него вырастет добрый и открытый человек, что, конечно, не могло не радовать. К сожалению, среди юных шахматистов стали появляться такие маленькие волчата. После поражения они начинают ненавидеть своего соперника, и их истинная сила проявляется лишь тогда, когда на первый план в их борьбе выходит спортивная злость. Иногда это приводит к успехам, но в человеческом плане симпатичнее такие люди, каким был незабвенный Михаил Таль, который, даже после обидного поражения, мог с улыбкой и доброй самоиронией часами анализировать со своим соперником только что неудачно проведенную партию. Приходилось встречаться и с антиподами рижского кудесника. Потерпев поражение, часто вполне заслуженное, они скидывают фигуры с доски, и со злостью, не простившись, выходят из турнирного зала. Такое поведение не украшает ни самих шахматистов, ни шахматы, которые, несомненно, остаются явлением гуманитарной культуры, несмотря на то, что в последние годы, в них все больше, превалирует спортивная составляющая.

Сейчас уже трудно вспомнить наш первый совместный турнир. Мы с Ваней много ездили: он играл на турнирах в Финляндии, Германии, Шотландии, Испании, Дагомысе и, конечно, в Ленинградской области.

Мы разбирали все его партии, но основным средством роста для него оставались по-прежнему наши учебные поединки. Многочисленные поражения отнюдь не отвращали его от игры, скорее, наоборот, - он желал играть еще и еще, в душе веря, что, придет время его реванша. И мне приходилось относиться к игре с ним все внимательнее. К.С. Станиславский часто повторял своим ученикам и молодым артистам: «Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве». Многие молодые шахматисты не следуют этому мудрому указанию великого реформатора театра, а Ваня как раз любил шахматы (как, впрочем, и другие виды спорта или танцы) в себе. Это удивительное свойство маленького мальчика меня поражало. Я также постоянно отмечал про себя, странную, почти экстрасенсорную интуицию при оценке взрослых людей. При общей доброжелательности, он сразу чувствовал фальшь и лицемерие в людях с “прейскурантом на лице”, которые годились ему не только в отцы, но и в деды.



Привлекало к Ване и его умение быть замечательным товарищем и для сверстников, и для людей, много старших его по возрасту. Мало кто так радовался моим успехам и огорчался моим болезням и неприятностям, как этот маленький мальчик. Все это, к огромному сожалению, – совершенно нехарактерно для большинства представителей нынешнего молодого поколения, которое редко испытывает подобное сопереживание даже по отношению к своим близким, не говоря уже о, казалось бы, совершенно чужом человеке. Сейчас редко услышишь прекрасное русское слово “сострадание”, да, и само это благородное чувство

как-то незаметно вышло из моды, и, более того, стало почти неприличным. Хотя в это понятие входят два лучших человеческих качества - понимание и доброта. Кажется Рерих сказал: "Сорадоваться могут только ангелы". Если принять эту мысль за аксиому, то Ваня был ангелом.



Умение сопереживать я всегда ценил очень высоко, так как сам вырос в семье, где все "сорадовались" и "соогорчались", постоянно. Это было самым верным проявлением любви и заботы друг о друге, и, когда моих близких не стало, у меня возникло чувство эмоционального вакуума, которое во многом удавалось преодолеть с появлением в моей жизни Вани Сомова. Такие добрые, тёплые отношения между учителем и учеником возникают нечасто, и, несомненно, благотворно влияют на то дело, которым они увлечённо занимаются, будь то живопись, математика или шахматы. Ваня любил бывать у меня и на Басковом переулке в Петербурге, и, позднее в Саарбрюкене.

Спустя несколько месяцев после трагедии, когда боль утраты чуть притупилась, моя жена Светлана рассказала мне о таком характерном эпизоде. Ваня гостил у нас в маленькой квартирке на Метцерштрассе. Стояло жаркое лето, добираться до бассейна было лень, и я решил принять душ. Прохладные струи придали бодрости, и, забыв о госте, я запел что-то из Верди. На песенку Вертинского моего музыкального слуха кое-как могло ещё хватить, но оперная ария была явным перебором для моих скромных возможностей. Находившиеся в комнате Светлана и Ваня, дружно расхохотались, и, Ваня неожиданно и искренне воскликнул: "Я его просто обожаю!"

Конечно, он очень любил своих близких, особенно маму - замечательную тонкую и тактичную женщину, боготворил и восхищался своим отцом, старался ему во всём подражать и, всё же чуть-чуть побаивался этого строгого, волевого и, иногда, труднопредсказуемого человека-лидера в любом коллективе, и в любой компании. Со мной же можно было, и пошалить, и подурчиться, и, просто поиграть в блиц. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что Ваня переоценивал, и мои знания в разных областях, и моё понимание шахмат, и всё таки, такое отношение, не по годам умного и смышленного мальчишки, было приятно даже прожившему большую жизнь и уже, мягко говоря, не очень молодому человеку.



Бывало, в обычном шахматном споре кто-то заявлял “здесь, по мнению такого-то гроссмейстера, лучше было сделать рокировку”, и, если Ваня знал мое мнение по поводу обсуждаемой позиции, то следовала его безапелляционная реакция: ” А Геннадий Ефимович считает, что здесь с рокировкой лучше повременить”, и для него это была высшая экспертная оценка. В юности мы часто создаём себе героев и, по-детски восторженно идеализируем их. С годами и опытом такая идеализация проходит и уступает место более критическому взгляду на своего бывшего кумира. Главное, чтобы в сердце оставалось чувство благодарности к нему.

Был ли я для Вани только тренером по шахматам. Нет. Скорее воспитателем, если воспринимать это понятие в широком смысле слова. И, когда один из моих известных подопечных подтрунивал надо мной, называя меня гувернёром, я вспоминал другого “гувернёра “- Василия Андреевича Жуковского, который, незаметно вводя наследника в мир великой гуманитарной культуры, сумел воспитать самого демократичного и благородного самодержца в истории России- Александра Второго-Освободителя.

Были ли у меня такие честолюбивые планы? - об этом умолчу. Но, уверен, что у моего воспитанника были все предпосылки для того, чтобы стать крупной и достойной личностью.

Конечно, у Вани были явные пробелы в знаниях, особенно, в области гуманитарных дисциплин. Иногда, он мог задать вопрос, сама постановка которого, казалось мне невероятно наивной, а то и просто смешной. Например: “А будут ли принимать участие в первенстве Европы шахматисты Бразилии?” или “Входила ли Испания раньше в Советский Союз?” Надо понять, что Ваня рос в момент резких катаклизмов и социальных и геополитических. У многих и более взрослых людей в голове возникала полная неразбериха. Появились новые ещё неустоявшиеся понятия СНГ, ближнее и дальнее зарубежье. Я ставил перед собой задачу расставить, разложить по полочкам, заполнить явные лакуны в истории, географии и, особенно, политике, которые на момент нашего знакомства существовали в его представлении об окружающем мире.



Надо сказать, что Ваня вырос в замечательной семье, дружкой с которой гордились и гордятся выдающиеся представители науки, культуры и искусства нашей страны, люди с мировыми именами. Постоянное общение с такими яркими личностями не могло не отразиться и на младших представителях семьи Сомовых. Но, даже такое окружение, не могло компенсировать недостаточность и ограниченность объёма гуманитарных знаний, получаемых в киришской школе. Кроме

того, частые отъезды на соревнования и выступления приводили к пропускам большого количества занятий, и эти пробелы надо было возможно скорее ликвидировать.

Я старался привить Ване интерес к русской литературе и, особенно, к поэзии. И опять таки, это было облечено в игровую форму. Например, я мог процитировать какое-то стихотворение и предлагал проанализировать услышанное. Приходилось объяснять смысл, подчас скрытый, в какой-то фразе, а иногда, и в отдельном слове. Потом я читал весь текст целиком, и, Ваня, обладавший прекрасной памятью, стремился его запомнить и повторить стихотворение самостоятельно.

Однажды, мы очень подробно разбирали шахматные сонеты Владимира Набокова, достаточно сложные, и по форме, и по содержанию. В них великий кудесник слова скрыл немало загадок, нерешённых и поныне. Накануне последнего тура на шахматном фестивале в Дортмунде, Ваня неожиданно перед сном прочитал мне эти сонеты наизусть, и, чувствовалось, что они глубоко запали ему в душу. Мне показалось, что он как-то быстро повзрослел и многое в этой жизни понял. В турнире самый юный участник сыграл удачно и даже завоевал свой первый в жизни денежный приз, который, к несчастью, оказался и последним.

На выходе из гостиницы мы встретили Александра Борисовича Рошалья: «Ну, Ваня, на что ты решил истратить честно заработанные деньги?»

Ваня улыбнулся своей солнечной улыбкой и, не задумываясь, ответил: «На подарок маме!»

После покупки сувениров мы направились в огромный книжный и аудио магазин, расположенный в самом центре старинного немецкого города. Здесь наши пути ненадолго разошлись, - сказала разница в музыкальных пристрастиях.

Ваня бросился в отдел, где продавались диски с саундтреком к модному тогда фильму «Люди в чёрном», а я, - в отдел ретро, где сразу обратил внимание на большой альбом с записями концертов Марлен Дитрих. В номере у нас был только один плеер, поэтому, мы поступили демократично: сначала послушали несколько хитов с актуального диска, а потом, я мог наслаждаться удивительными интонациями великой Марлен, не забывая при этом, перевести или, хотя бы, вкратце объяснить Ване содержание давно знакомых песенок. В тот вечер я читал и свои стихи, и мне показалось, что, внимательно слушая их, двенадцатилетний мальчик многое понял и в моей жизни...

Изменился Ваня и внешне. Во время чемпионата мира, в Москве, где играл Александр Халифман, мы жили в отеле

«Рэдиссон Славянская», и вечером, когда участники и почётные гости турнира приходили ужинать, Ваня в элегантном бархатном костюмчике от “Армани” уже не был похож на того киришского мальчика, бросившего куртку на пол в моей прихожей. Нет. Своими манерами он скорее напоминал героя знаменитого романа Френсис Барнет “Маленький лорд Фаунтлерой”, которым в начале прошлого века увлекались наши бабушки-гимназистки. Мы гордились друг другом и были счастливы...



Ваня прожил невероятно короткую, но яркую жизнь. Девизом её была – скорость. Он был стремителен во всём – в учёбе, в шахматах, в танце, в футболе. Когда он декламировал стихи, знакомые строчки, как волны при морском прибое, набегали друг на друга, как будто боялись опоздать к берегу.

Эта вечная спринтерская гонка вместила столько встреч, событий и впечатлений, сколько не дано познать обычному человеку, прожившему долгую размеренную жизнь.

Скорость была неотъемлемой частью его бытия и на знакомой лесной тропинке стала роковой для него.

Как изменился этот мир
С уходом маленького Принца!
А на столе осталась пицца,
И недоигранный клавир.



Дора Ромадинова

Галина Вишневская



мерла Галина Вишневская. Удивительная женщина, собравшая в себе множество уникальных талантов, наделенная редким даром предощущения, предвидения, умения заглянуть в будущее.

Не стало Галины Вишневской. Это большая потеря. Особенно для России, которая всегда нуждалась - а сейчас в особенности - в реформаторах. Смелых, умных, талантливых людях, беззаветно преданных своему призванию и так же беззаветно любящих свою страну. Именно такова была Галина Вишневская.

Женский голос как ветер несется,
Черным кажется, влажным, ночным,
И чего на лету не коснется –
Все становится сразу иным.
Заливает алмазным сияньем,
Где-то что-то на миг серебрит
И загадочным одеяньем
Небывалых шелков шелестит.
И такая могучая сила
Зачарованный голос влечет,
Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

Анна Ахматова. СЛУШАЯ ПЕНИЕ

19 декабря 1961 (Никола Зимний). Больница имени Ленина. (Вишневская пела «Бразильскую Бахиану» или «Бахиану»)

...Она всегда была русской певицей. И пела много, очень много русской музыки. Одни только грамзаписи ее – «Катерина Измайлова», «Пиковая дама», камерная музыка Шостаковича, Прокофьева, Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского... Конечно «Песни и пляски смерти» Мусоргского в инструментовке

Шостаковича, которые для нее были как бы олицетворением ее боли за Россию. Боли ее и Шостаковича, с которым дружила она, которого любила она. И Мусоргского, который словно учил его слышать боль и страдание России, любить ее в боли и страдании и сострадать каждой слезе ее... Вот такая нить талантов, подаренных избранным...

Она всегда была русской певицей. До самого конца своей жизни. Как были до конца русскими художниками Шаляпин и Рахманинов, Стравинский и Бунин.

...У нее был сильный и твердый характер. Я бы сказала – одержимый характер. И эта одержимость позволяла ей делать то, что не под силу иным.



Галина Вишневская

Но дело конечно не в характере. Она была истинно талантлива. Талантлива по-особому. Ее талант был ее талантом, ее судьбой. Ведь именно таков полузабытый генезис древнего русского слова «талан». Ее талант был ее счастьем и ее вечным крестом. Никогда не выпускала она этой своей тяжелой ноши из рук. И никогда не отрекалась от своей веры, от своего призвания. Этому Призванию свято служила она всей своей жизнью, своей красотой, своим талантом. И была счастлива. Невзирая на тяжкие сомнения, что вечно терзали ее ищущую душу. Невзирая на одиночество, что четверть века глухой стеной отделяло ее от иных,

тех, кто были, казалось, рядом, а на деле и макушкой высокого театрального парика не касались подошв ее легких туфель. Невзирая на остро жалящую ненависть, что всегда скользкой незримой змеей свивает себе гнездо у ног всякого, кто выше.

Да, у нее был сильный, одержимый характер. И он ей был нужен. Для того чтобы пронести – не расплескав, не исказив, не замутнив – то, чем Он – мудрый и всевидящий – наделил ее. Она понимала свою Миссию в жизни, она знала, что самый большой грех - не выполнить той задачи, что Он возложил на нее. А для этого ей и нужен был ее характер, невзирая на то, что именно характер этот рождал много баек и глупых пересудов. Но судачили-то те, кому не дано было совершить великого. Ее характер не оставлял безучастным никого, кто соприкасается с ней. И либо притягивал тех, кто тоже одарен и знает, как тяжок этот крест, либо навсегда отталкивал – тех, кто видел в ее жизни лишь внешнюю ее сторону – успех, цветы, овации...

Талант и характер... Но без этого характера не вознеслась бы быстроглазая девочка из прокопченного дымом Кронштадта начала тридцатых к заоблачным вершинам мирового искусства.

...И тем не менее Галине Вишневской выпала трудная судьба. Собрав в себе уникальное – красивый голос и великолепный актерский дар – она еще и умеет осознанно использовать свой талант. Оттого и трудная судьба. Она ведь у каждого такая в русском искусстве – испокон веку. У тех, кто шел сам, своим путем, а не глотал пыль, что поднимают толпы впереди идущих на исхоженных дорогах искусства.

Четверть века русского искусства связано с именем Вишневской. Нет, не связано. Четверть века жизни русской оперы обязано Галине Вишневской иным развитием, своим иным путем.

Вишневская пришла в Большой театр СССР в 1952 году. В роскошный, монументальный, торжественный театр без полутеней, без недоговорок. Все было четко, ярко, лапидарно. Театр являл собой музей. Музей прекрасных, истинно прекрасных голосов. Музей великолепных, истинно великолепных русских опер. Эти прекрасные голоса и этот великолепный театр существовали ради прославления вечно мудрого народа, некогда угнетенного и забитого, но воплотившего в конце концов в явь свою вековую мечту о новой, свободной и счастливой России. Еще со времен незадачливого князя Игоря народу была очевидна цель – то «светлое будущее», что стало сегодня настоящим. Из далеких кровавых веков герои опер – будь то подданные Ивана Грозного, Бориса Годунова или Петра Первого - с восхищением приветствовали в финалах спектаклей зрительный зал,

заполненный вершителями и жертвами новой кровавой истории России. Смысл каждого спектакля подгонялся под эту идею – невзирая на подчас и явно слышимый «хруст костей» в хрупком организме оперы.

Непосредственными предшественницами Галины Вишневской в Большом театре были такие певицы – хорошие певицы – как Наталия Шпиллер, Елизавета Шумская, Ксения Держинская, Татьяна Талахадзе... Их героини были не по возрасту взрослые, сознательны и не по возрасту сосредоточены на идее высокого своего предназначения. Их героини были далеки от психологического самоанализа своих действий. Но, собственно, рано еще было ждать от них этого самоанализа. Он не пришел еще в 40-х и в начале 50-х годов – в официальное советское искусство. А Большой театр истинно олицетворял это официальное искусство, проникнутое идеологией авторитарной силы.

На конкурсном прослушивании Галина Вишневская спела арию Аиды – с оркестром под управлением Кирилла Кондрашина. Спела – и озадачила тех, что слушал ее. Никандр Сергеевич Ханасев, Николай Семенович Голованов, Борис Александрович Покровский... Они – судьи – почувствовали в молодой певице то, чего так не хватало в удушливых пределах «императорского театра», – ее особый талант, который дается, может быть, раз в столетия, вероятно специально для того, чтобы взломать окосневшую рутину, которую в советском искусстве привычно называли «традициями». В тот день решила не судьба Галины Вишневской, но путь русской оперы. С того дня начинается новая эпоха Большого театра, когда понятие театр постепенно обретает здесь свое истинное значение. Только прекрасного пения уже недостаточно.

...Опере трудно было в XX веке. Самое тонкопсихологическое искусство музыки и пения не выдерживает конкуренции с кино, телевидением, даже с драматической сценой. Парадокс? Да нет. Иные средства выразительности, иные пути создания образов – более ясные и очевидные, более простые и доступные. А в опере – сложная символика музыкальной речи. Опера требует активного сотворчества каждого слушателя. Но слушатель в XX веке уже привык быть зрителем. Ему все труднее поверить страданиям шестипудовой пушкинской Татьяны, явно с негодными средствами притязавшей на любовь малорослого Онегина. Зрителю трудно понять смысл и ощутить всю прелесть пленительных мелодий, великолепно спетых героиней, которая страшится сделать лишний шаг на сцене. Зритель хочет не только слышать, но видеть то, что адекватно слышимому.

Судьба судила Галине Вишневской начать новое в советском оперном театре. Точнее, не совсем новое, так как было оно предсказано за полстолетия до того великим Шаляпиным, который чудесно соединил в себе равновеликие дары – актера и певца. И который (не знак ли это?) принужден был испытать долю изгнанника.

Нет, бесспорно, есть своя логика – страшная логика – в этой связи судеб реформаторов Российского искусства.

Истинно, у Российского искусства особая судьба. Странная и будто алогичная. И кровавая. Никогда не щадила Россия своих самых талантливых детей. Страшной метой метила она их. Дыба и застенки, нищета и сводящее с ума одиночество – духовное, нравственное, моральное... И что истинно дивно, истинно необъяснимо: чем страшнее и мучительнее была та мета, которой «награждала» Россия своих лучших детей, – тем большей любовью, тем большей привязанностью к своей земле отвечали эти дети. И болью. Бездонной и неотступной болью за судьбу – не за свою горькую судьбу, но за странную и трудную судьбу своей матери-России.

А наш век принес и еще одну мету для русского художника. Изгнание. Вынужденное, которое принято почему-то называть добровольным, или насильственным. Изгнание из России – это когда душа и тело словно бы врозь. Душа там, в душе – вся боль и мука этой страны; ее судьба – твоя судьба, ее беда – твоя беда... И все, что есть в тебе, все то необъяснимое, что вознесло тебя над иными – только для нее, для России, для ее блага, для ее славы.

Четверть века, что пела Галина Вишневская на сцене Большого театра, изменили героинь опер. Нет, это неверно, что созданные однажды, герои затем не меняются. На то и великое искусство театра, чудесное искусство интерпретации. Известно, чем сильнее, чем ярче личность артиста, тем индивидуальнее его герои. Так и у Вишневской. Ее героини чудесным образом помолодели. И обрели все те качества, что и свойственны молодости – мятежность, смелость, силу, пылкость, яркость, глубину и емкость чувств, счастливое ощущение своей избранности, исключительности... На сцене Большого театра начали новую трудную и беспокойную жизнь, начали борьбу за себя, за свое человеческое достоинство Татьяна и Лиза в операх Чайковского, Марфа в «Царской Невесте» Римского-Корсакова, Франческа в рахманиновской «Франческе да Римини»,

пуччиниевская Тоска, Виолетта из вердиевской «Травиаты», Наташа из «Войны и мира» Прокофьева, Софья из его же «Семена Котко»... Труднее, напряженнее стал путь этих героинь, сложный мир чувств несли они в себе – подчас запутанный, неоднозначный. Следить за развитием личности этих героинь, за их эволюцией было не по-оперному интересно. Словно взломалась, казалось бы, несокрушимая стена между оперой и ее весьма далекими в те времена «родственниками» - драматическим театром, кино и телевидением 50-х и 60-х годов.

Однако это все Вишневская – актриса. И разговор о ней потому, что это редко и может быть – уникально. Актриса в певице. Актриса и певица. Актриса особого рода. Главное ее оружие – голос. Чтобы выразить, чтобы создавать им, голосом, образ.

Голос у Галины Вишневской – чистый, свежий, «серебристый». И это «серебро» давало удивительное ощущение молодости и легкости. Это «серебро», однако, никогда не позволяло Галине создавать образы старух, матрон, они и не были в числе ее амплуа. И, напротив, «серебро» разрешало ей, лирико-драматическому сопрано, спеть колоратурную партию Марфы в «Царской невесте». И как спеть! Вот где истинно актриса помогла певице. Актёрское амплуа Вишневской точно отвечало образу.

Но серебристость голоса певицы отнюдь не мешала насыщенности его тембра. В Италии подобный голос именуют *lirico spinto*, то есть трепетный, пылкий. А это означает сочность, искристость, эластичность звука, обилие тембровых контрастов, патетическую страстность пения. То есть Вишневская – прекрасная исполнительница вердиевских, пуччиниевских партий (вспомним о ее Тоске, Аиде, Виолетте в «Травиате», наконец, о великолепно спетой в Англии на Эдинбургском фестивале труднейшей партии в вердиевском «Макбете»). Но в голосе Вишневской есть и своя полетность и лучезарность, насыщенность и интенсивность звука. А это уже качества исполнительницы вагнеровского репертуара. К сожалению, на русской сцене Вагнер был в те годы – когда пела Галина Вишневская – не в чести. И, прежде всего, из-за отсутствия певцов, способных выдержать многочасовые сложные партии. А жаль. Это потеря. Но «вагнеровские качества» ее голоса позволяли ей добиваться особого эффекта в операх русских композиторов.

То есть опять разговор о не частом синтезе. О «стилистическом комплексе», соединяющем русский и

итальянский вокальные стили, да еще и добавляющем вагнеровскую манеру пения.

Не много ли? Великолепный комплекс исполнительских манер и стилей. Редчайшее сочетание блистательных вокальных данных и незаурядного актерского дарования. Счастливая сценическая внешность... Одного из этих качеств хватило бы иному для полноты жизнеощущений.

Но у Вишневской ко всему этому еще и работоспособность – одержимая работоспособность, которой природа почему-то чаще наделяет менее одаренных, нежели истинно талантливых. Но уж если вот такая одержимая работоспособность заложена в человека талантливого – значит, ему особое назначение в жизни.

«Путь артиста тяжел, а «легкие лавры» – это только со стороны может так показаться. Артисты – это прежде всего труженики. Наша профессия требует полной отдачи, вся жизнь должна быть ей подчинена. Но для меня другого пути и не существует. Только это, больше ничего». Это слова самой Галины Вишневской. Главное – в них абсолютная истинность. Вишневской вообще чужды были поза, дидактика, неискренность. Она не спешила соглашаться, если мыслила иначе. И подчас разрушала легкий тон светского разговора своим совершенно иным мнением. Подчас и огорошивала этим: те, кто не знали ее, психологически были подготовлены к встрече с красивой оперной дивой, традиционно не очень умной и, скорее всего, капризной. Но встречались с личностью, имеющей свои твердые, выношенные убеждения, которые были проверены годами труда и большого опыта. Галина не видела необходимости светски равнодушно соглашаться с собеседниками, особенно если разговор шел о музыке, театре, пении. Но и не склонна была спорить, доказывать. Хотя и говорила убежденно, вероятно, внутренне удивляясь наличию иных мнений.

И когда Вишневская говорила о необходимости тяжелого труда в ее профессии – можно было быть уверенным в истинности этих слов. Во всяком случае – для Галины. В Большом театре она поначалу удивляла своих коллег, потом поражала, а затем и раздражала, злила своей истовой работой.

На другой день после тяжелого спектакля, с утра она непременно была на концертмейстерском уроке в театре. Уже подготовленная, распетая. День у нее начинался очень рано, и не с чашки кофе, а с вокализов. Голос должен работать все время, голос не должен «остывать»! На концертмейстерском уроке

Галина была не просто требовательна к себе, но беспощадна. И не однажды возникал конфликт с концертмейстером – почему не остановила на неточно спетой ноте, пассаже?! А концертмейстер в растерянности: попробуй, останови иную примадонну и укажи ей на нечисто спетую фразу! Неприятностей не оберешься!

А Вишневской надо было до всего дойти самой, все понять и сделать по-своему. Но понять – значит узнать, прочитать... Каждую свою роль, каждую премьеру Вишневская готовила по-особому: книги, журналы, литературные первоисточники, музыкальный «фон» оперы, работы коллег... И на первую же репетицию Галина приходила уже со своим, готовым образом, который затем очень неохотно, в спорах, подчиняла режиссерской идее. Или – напротив – подчиняла своему образу режиссерскую мысль. Вот здесь она спорила, отстаивала свою позицию. Спорила горячо, страстно, подчас до ссоры... А ее безучастные и равнодушные ко всему на свете коллеги, по режиссерским указаниям покорно меряющие сцену шагами, злорадно судачили о ее характере. А потом бегали на спектакли Галины, и потихоньку ахали в кулисах, поражаясь ее мастерству, блеску и совершенству. И не понимали, откуда этот блеск, как умудрялась Вишневская сместить акценты в спектакле и приковать все внимание к себе, к своей героине. Не понимали, почему режиссер или дирижер, только что до хрипоты, не выбирая выражений, спорившие с Вишневской на репетиции, вновь просили в режиссерском управлении назначить на следующий спектакль именно ее.

Эта роль была особой для нее. Хотя пела она ее не на сцене Большого. Когда опера эта была впервые поставлена в Большом (точнее – в его филиале) Галя была ребенком и менее всего интересовалась теми драматическими событиями, что сопровождали рождение гениальной оперы Шостаковича. По сей день не имеющей аналогов в российском искусстве и, на мой взгляд, в мировом тоже. Январская, 1936 года, статья «Правды» «Сумбур вместо музыки» более чем на четверть века прервала жизнь этой оперы, остановила развитие русского оперного искусства. И лишь когда две последние цифры в ряду годов, отсчитывающих летоисчисление от Рождества Христова, поменялись местами – в январе 1963 года, новое поколение слушателей России встретилось вновь с героями Лескова и Шостаковича. Опера зазвучала на сцене, чуть позже была снята в кино...

...Не только судьба этой партитуры необычна, но и сам ее жанр, сам ее характер иной, непривычный. Множество вопросов рождает она. Почему публицистическую повесть Лескова Шостакович превратил в философскую трагедию шекспировского размаха и глубины? Почему обратился Шостакович к драматической повести Лескова именно в начале 30-х годов, когда гремели уже над Россией марши и бодрые песни братьев Покрасс, словно заглушавшие стоны и плач народа? И почему изменил он – усилил, укрупнил, углубил и расширил – главный образ лесковской повести, Катерину?

В фильме пела и играла роль Катерины Галина Вишневская. Нет, не похоть и самодурство вели ее героиню, не мелкой интрижки искала ее душа. Эта Катерина была натурой незаурядной, которой не с руки, не под стать ловчить, хитрить, обманывать или лгать. Такая сила и страсть, такая глухая тоска гляделись из ее глаз, читались в каждом ее движении... «Ах, тоска какая... Хоть вешайся!» – едва открывался занавес, сообщала Катерина. И сразу оживал недюжинный характер. Вишневская каким-то особым, густым звуком пела низкие ноты в слове «вешайся», резко, зло обрывала последний звук фразы, словно злилась сама на себя за то, что высказала то, что на душе. С первых же фраз эта Катерина – личность. И эта личность – в конфликте с окружающим, с обществом, которое категорически не принимает никого, кто пытается выйти за пределы тех убогих устоев, которыми ограничено оно само. Этот конфликт навязан ей обществом, и он неизбежен – этот конфликт Катерины и клана Измайловых. И героиня Вишневской с первых же звуков дает понять всю неизбежность этого столкновения. Она готова к нему и будет отстаивать свое право на себя – такую, какая она есть – до конца. Каждая следующая сцена – развитие этого страшного, со смертельным исходом, поединка. Катерина Вишневской знает, понимает всю безысходность своего положения. Но единственное и главное, что ей доступно сейчас – это бескомпромиссность. Во всем – в чувствах к Сергею, в ненависти к Борису Тимофеевичу, в неприятии того гнусного и мрачного мира, что окружает ее.

Да, Вишневская, вслед за Шостаковичем, укрупняла этот образ, выводила его из сферы лирико-бытовой драмы на просторы социальной трагедии. Личность и общество, несовместимость личности и общества неличностей, трагедия насилия общества – нет, шайки неличностей – над личностью... Вишневская доводила до логической вершины скрытую в подтексте шостаковической оперы идею. Думаю, что сознательно доводила. Потому что в образе Катерины читала себя – сильную, мужественную,

способную на противостояние шайке неличностей, тем, кто не способен биться в одиночку и может лишь подвывать в стае. Вольно или невольно, но Вишневская в образе Катерины высвечивала самую главную тему своей жизни. И раскрывала ту сокровенную мысль, которую всегда таил, всегда глубоко прятал в своей музыке смертельно запуганный бесконечными издевательствами и гонениями Дмитрий Шостакович. Катерина Измайлова – одна из лучших, одна из наиболее точно прочитанных ею ролей. Это один из самых сильных и самых откровенных ее образов.

Впрочем, нет. Вернемся к первым годам ее в Большом театре. Как мы помним, на конкурсе в стажерскую группу театра Вишневская спела арию Аиды и не просто убедила, но покорила маститых членов комиссии. Партии Аиды суждено было сыграть свою, особую роль в судьбе Галины. Она готовила эту партию в театре под руководством Александра Шамильевича Мелик-Пашаева, которого всегда считала своим учителем. А Мелик-Пашаев, однажды назначив Вишневскую на роль Аиды, так до конца своих дней в театре не разрешал петь эту партию в его спектаклях кому-либо иному.

Именно в облике прекрасной эфиопской царевны, обращенной египтянами в рабство, и предстала Вишневская впервые перед западным миром любителей оперы. 6 ноября 1961 года исполнением этой партии на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке она открыла своим именем сегодня уже долгий список русских певцов, выступающих на зарубежных сценах. Они поют по-разному – и хорошо, и не очень удачно. Но поют благодаря ей, Галине Вишневской, которая сумела своим искусством убедить придирчивых и расчетливых западноевропейских и американских менеджеров в том, что в России есть вокальная школа, есть певцы, что их антреприза – выгодное вложение капитала. После первого концерта в Карнеги-холл ныне покойный музыкальный критик Таубман писал в «Нью-Йорк Таймс»: «Вишневская – это нокаут в глаза и в уши!».

Ее первая оперная партия на Западе, ее Аида, имела оглушительный успех. Рецензент журнала “Musical America” Роберт Сабин в декабре 1961 года приравнял дебют Вишневской к выступлениям Бриджит Нильсон, Леони Ризанек, Леонтины Прайс и писал: «Я не могу вспомнить более пламенного характера или более оригинальной манеры исполнения, соединенных с острым умом и подлинной музыкальностью. Что

касается ее пения, то это было подлинное мастерство художника. Viva Vishnevskaya!»

Затем Аида Вишневской прошла свой трудный путь любви и жертвы на сценах лондонского Ковент-Гардена (1962), парижской Гранд-опера (тот же 1962 год), получив наивысшие оценки критики, заслужив имена «русской Каллас», «Шаляпин в юбке» и так далее.

В интервью, опубликованном в журнале «Континент» в 1977 году, Галина Вишневская сказала: «Я – русская актриса. В этом моя плоть и кровь».

Да, еще раз скажу, она истинно русская. Прежде всего психологической (почти по Достоевскому!) глубиной характеров своих героинь. Из этой глубины черпает она мотивы, логические основания их поступков и решений. И логика действия ее героинь очень непроста.

...Марфа Собакина в «Царской невесте» Римского-Корсакова – особая грань искусства Вишневской. Как бы точнее объяснить эту особенность?

...С каждой строкой этой статьи мне все труднее. Моя профессия несколько парадоксальна – я должна рассказывать о том, что обрело свое выражение в музыке прежде всего, и именно потому, что уже не формулируемо словом. Музыка всегда над словом, музыка продолжает слово, углубляет и раздвигает его пределы, возносит его. Это сфера безгранично высоких и тонких чувств... И чем выше они, чем тоньше они – тем точнее «попадание» этого удивительного искусства – музыки. И тем меньше нужно, тем меньше можно говорить о музыке. Нужно слушать. И слышать.

...С каждой строкой этой статьи мне все труднее писать о Вишневской. Потому что в иных своих партиях она истинно поднимается в те заоблачные вершины человеческого духа, о которых Ромен Роллан сказал, что «...дышится там легче и привольнее. Свежий и прозрачный воздух очищает сердце от всякой скверны, а когда рассеиваются тучи, с высоты открываются безграничные дали и видишь все человечество».

Марфа Собакина у Вишневской – одна из таких «заоблачных вершин». Она особо долго готовилась к этой роли, мечтала о ней. Драма Мея «Царская невеста» стала настольной книгой. Галина была буквально влюблена в свою Марфу. Каждая черточка в ее характере, каждая деталь ее поведения, каждая линия в ее костюмах были по-особому дороги ей. Галина подолгу обдумывала каждое слово, каждый жест своей Марфы. И костюм...

Для Вишневской всегда очень важен внешний облик ее героинь, она всегда сама рисует, сама придумывает их костюмы. Но свою Марфу она одевала особо. Долго рылась в архивах костюмов, которые – некогда переданные Большому театру как ненужные, не используемые в музее русского быта – пылились, никем не тревожимые, в мастерских ГАБТа. Буквально роясь в пыли веков, отыскивала Вишневская костюмы для своей Марфы. Все на ее Марфе было иное, не такое, как у других. Во втором акте, к примеру, на ней был зеленый – а не розовый, как обычно – шитый золотом сарафан и желтая блуза. Почему зеленый, а не розовый? В последнем действии вместо традиционного платья Вишневская-Марфа появлялась в тяжелом красном парчовом одеянии. Костюм этот должен был, по замыслу актрисы, придавливать ее к земле. Внешне Марфа должна была выглядеть совершенно противоположно ее состоянию в данный момент. Диапазон развития характера ее Марфы был другого масштаба, чем у прежних исполнительниц. Начинала Вишневская этот характер почти буквально с нуля. Ее первый выход во втором акте – это совсем еще юная, чистая, наивная Марфа. Она – как молодой росток, которому предстоит еще расцвести.

Стремясь раздвинуть границы роли, Вишневская особо подчеркивала в этой первой, выходной арии героини наивность и безмятежность. Чистым, каким-то легким и почти бестембровым звуком поет Галина эту арию – бесхитростный и откровенный рассказ Марфы о своей незамутненной любви к жениху, Ивану Лыкову. Но не успевает отзвучать эта ария Марфы, как властные голоса меди железной поступью провозглашают мрачно-торжественный запев царской «Славы». С этого запева начинается на сцене жизнь иной Марфы. Увидев вдалеке закутанного в богатый охабень могучего всадника и угадав в нем царя Ивана Великого, эта Марфа мгновенно преображается. Слово Кассандрово чутье подсказало ей – вот ее судьба, ее погубитель. Нет, она не испугалась, хотя и пропела положенное; «Ах, что со мной? Застыла в сердце кровь...». Марфа не испугалась, но, ощутив опасность, изготовилась отстаивать свое счастье, свою любовь, собрала все свои силы, чтобы обратить их против того Грозного, что истинно угрожает ей.

С этого момента Вишневская вела свою героиню по пути борьбы. И этим ломала привычный, канонизированный образ пассивной, страдающей героини. Привычная Марфа – это невинная жертва, погибающая, оказавшись предметом страсти сразу нескольких людей. Все, совершающееся в опере, происходило помимо нее и направлено было против нее. Вокруг

нее – бездейственной и пассивной – кипели страсти, из-за нее Грязной оклеветал и погубил Лыкова, затем убил Любашу, наконец, погиб сам... А Марфа в этом кипящем котле низменных чувств – возвышенно светла и чиста, ее не касается весь смрад этих интриг, она – вне их. И, вероятно, осталась бы вне их, если бы не приворотное зелье, подсыпанное ревнивой Любашей в ее кубок. Приворотное зелье, которое и лишило Марфу рассудка.

Ну а если бы не приворотное зелье? Как должна реагировать Марфа, не отведавшая этого зелья, на все происходящее? Может ли она остаться равнодушной и наивно незамечающей этот плотный клубок страстей? Для любой другой Марфы вопрос этот непригоден. Но Марфа Вишневской – была не жертвой, но участницей борьбы, в которой каждый борется за свое. Грязной – за любовь Марфы, Любаша – за любовь Грязного, Бомелий – за внимание Любаша... А Марфа Вишневской много выше всех иных героев, она не посягает на чужую жизнь, на чужие чувства, она борется за себя, за право любить самой, а не только быть любимой. В этом страшном мире бездуховности и корысти она одна одухотворена и бескорытна. Ее чувства ярки и открыты, и в них она бескомпромиссна.

Нет, эта Марфа теряет рассудок не от приворотного зелья, подсыпанного ей в кубок коварной Любашей, но от столкновения с миром, который бесконечно чужд ей. Это проблема несовместимости личности и общества, в которое личность не может, не способна «вписаться». Потеря рассудка этой Марфой и есть ее единственная активная реакция на нормы жизни этого общества. Сам факт выживания в нем, сам факт вживания в это ненормальное, чудовищно искаженное общество – свидетельство смещения нормальных реакций. Если же они не смещены – результат столкновения с этим аномальным обществом может и должен обернуться потерей рассудка. Именно таков путь этой Марфы.

Не случайно в четвертом акте она – в ответ на вопрос о ее здоровье – спокойно и здраво говорит: «Да, я здорова, я совсем здорова! Я слышала, сказали государю, что будто бы испортили меня. Все это ложь и выдумка!» Марфа Вишневской говорила здесь истинную правду. Она здорова, больно то общество, в котором она живет. И наибольшее, что может сделать эта Марфа, – это пробудить искру раскаяния в прожженных душах людей, что вокруг нее, заставить их понять всю чудовищность своих поступков. И не случайно ее последняя ария приводит Грязного и Любашу к раскаянию и гибели.

Необычный образ Марфы. Активный, трагический, социально заостренный на теме несовместимости высокой по своим душевным качествам личности и погрязшего в пороках общества, пытающегося подчинить себе все и вся, не терпящего никого, кто чувствует или мыслит иначе. Такая трансформация образа естественно смещала акценты в спектакле. В центре его – когда партию Марфы пела Вишневская – оказывался не Грязной, а она, Марфа. И еще: чудесным образом прочертила певица связь между такими контрастными образами, как Катерина Измайлова и Марфа Собакина. И та, и другая в одиночку противостоят окружению, не боясь этого страшного противостояния. И та, и другая погибают, обреченные в этой борьбе за себя. И та, и другая – личности. А это нечасто. Особенно на современной сцене.

И в современной жизни тоже. Всем, кто хлебнул из варева советской жизни, хорошо известно – каково это было: быть личностью. Весь строй воспитания, обучения приучал к мысли о ничтожности, о незначимости твоего «я». Даже невзирая на выдающиеся качества ума, дарования или знаний. То, что в советском обществе называлось «демократизмом», на деле оборачивалось обезличиванием, обезглавливанием, подравниванием и уравниванием. Главная задача – не дать никому, будь то даже великий артист или гениальный ученый, осознать свою исключительность, свое высокое предназначение. Это – главная заповедь в строительстве «человека нового типа».

Сколько же блистательных индивидуальностей утонуло, не выплыло из этого моря «людей нового типа»! В очень трудной и очень сложной психологической обстановке росли и растут личности в России. И выживают самые сильные, те, что способны противоборствовать мощному напору встречного потока в мутной реке, несущей в себе миллионы человеческих душ.

Но не трудности ли роста обеспечивали и обеспечивают новым русским художникам и ученым – тем, что выплывали, – блистательно высокий уровень дарований, умений, знаний? И более – незаурядность, непохожесть, уникальность мысли и свой взгляд, свое лицо и свои слова? То есть то, что и зовем мы личностью. Но личности выплывали из мутной реки и почти неизбежно уплывали из России. Поток выбрасывает тех, кто против течения.

Вишневская всегда плыла против течения. И тогда, когда своей молодостью, яркостью и непохожестью принесла новое в Большой театр, буквально встряхнула его, повела за собой капризно-несговорчивую труппу примадонн. И тогда, когда на

худсоветов и совещаниях – в театре или в Министерстве культуры – оказывалась в смелом одиночестве в своей искренности и правдивости, резко критикуя то, что хором превозносили другие. И тогда, когда к изумлению своих маститых коллег, неожиданно извлекала из стажерской молодежи вроде малообещающего певца или певицу и через пару месяцев занятий представляла труппе восходящую «звезду» (а у Вишневской было особое чутье на «звезд»).

Галина была хорошим «пловцом» и до поры до времени выдерживала мощь встречного потока. Но надо признать, что психологически она всегда была подстрахована плечом смелого и мужественного «пловца» – ее супруга Мстислава Ростроповича. Брак их, ведущий свое начало от 15 мая 1955 года – это, помимо всего прочего, союз двух ярких личностей. Я не стала бы говорить здесь общеизвестного – о мощи дарования Мстислава Ростроповича, если бы не весьма значительный нюанс в творческой личности Вишневской.

...Вот уж воистину, эта Ева была создана из ребра своего Адама. Но ребро это было необычным. Оно оказалось столь велико и значимо, что отнюдь не только добровольное желание Адама пожертвовать им, а подлинная необходимость отчленить ребро от тела этого Адама привело к рождению этой Евы.

Вишневская и Ростропович во многом были едины во взглядах на искусство, в нравственных и этических позициях. Но Ростропович таким и был. Вишневская же искала и нашла то, что искала у Ростроповича. И найдя, больше не отрекалась. Она вообще человек убежденный.

Однако не подумайте, что ее позиция – была и его позицией. Нет, это была их позиция. И Галя была женой Славы в том числе и потому, что его и только его позиция – в искусстве и в жизни – убеждала ее. И ничья иная.

Почему я утверждаю это? Нет, не только из опыта личного общения с замечательными музыкантами, но и на основании тех концертов, что давали Галина Вишневская и Мстислав Ростропович совместно. Ростропович, мне кажется, с особым удовольствием аккомпанировал Вишневской в камерных концертах. Дуэт этот сам по себе уникален в мировом искусстве и может быть сравним, пожалуй, лишь с такими дуэтами, как Вальтер Гизекинг и Элизабет Шварцкопф. Или Артур Никиш и Елена Герхардт. Дуэт Вишневской и Ростроповича был истинно великолепен не только как музыкальное явление, но и как психологический диалог.

...На концерт, где Вишневская в сопровождении Ростроповича пела цикл Шостаковича «Сатиры» на слова Саши Черного, попасть было крайне трудно. Не только потому, что концерты Вишневской и Ростроповича пользовались особым успехом у слушателей. Новый цикл Шостаковича был одним из очень немногих сочинений великого композитора, в котором он выплеснул что-то глубоко спрятанное и доселе никогда прямо не формулируемое. Нет, совсем не шуткой обернулись у Шостаковича стихи Саши Черного, которого в советской России не очень-то любили поминать, а если и поминали, то говорили в основном о его любви к шутке. Стихи Саши Черного стали для Шостаковича совсем не шуткой, но драмой низвержения вечных ценностей, болью за утраченные и поруганные идеалы:

Наши предки лезли в клетки
И шептали там не раз:
«Туго, братцы... Видно, дети
Будут жить вольготней нас».
Дети выросли. И эти
Лезли в клетки в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце после нас».
Нынче, так же, как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.
Даже сроки предсказали:
кто лет двести, кто пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот...

Эти слова одного из романсов «Сатиры» – отчетливо и ясно выпевала Вишневская со сцены Колонного зала Дома Союзов. А зал недоумевал и немножко боялся. И надеялся, что все это только шутка. Но Вишневская не шутила, не улыбалась. Она была явно зла и, подчеркнуто скандируя – как прокламацию, – завершала романс:

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив:
От портного до поэта
Всем понятен мой призыв...
А потомки... Пусть потомки,
Исполняя жребий свой

И кляня свои потемки,
Лупят в стенку головой!

Каждый звук словно отскакивал от ее губ, в каждом была сила и страсть. Звуки эти – если бы суждено им было материализоваться – были бы подобны пулям: каждый метко западал в чью-то душу, каждый задевал в душе что-то затаенное.

А Ростропович играл будто бесстрастно и спокойно. Но в этом был свой замысел. Акомпанемент в этом романсе подобен вальсовому трехдольному движению с акцентом на первой доле и с туповато-упрямым повтором второй и третьей доли. Ум-па-па, ум-па-па, ум-па-па – однообразно выколачивал рояль. И в этом однообразии, в этом обыденном вальсовом ритме рождался образ простонародного рассказчика, отнюдь не обремененного ни интеллектом, ни запасом культуры, ни высокими чувствами. Так вот откуда идет голос вопиющего?! Ну конечно, оратор – человек неискушенный, но представляющий массу таких же, как и он. То есть речь ведется от имени того самого «гегемона», сознательность которого столь настойчиво и дидактично противопоставлялась большевиками несознательности интеллигенции.

Вот такой дуэт являли Вишневская и Ростропович. У каждого в этом дуэте была своя функция, но именно потому это был не унисон, а дуэт. Так в музыке, в творчестве. Так и в жизни.

На мой взгляд, брак Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича можно объяснить известным законом физики, согласно которому массы тяжелых тел взаимно притягиваются. Естественно, под «тяжелыми телами» имеются в виду ярко одаренные натуры. Логичность этого сравнения подтверждается и прочими творческими и дружескими связями Галины Вишневской. Вот несколько примеров. В 1955 году Ростропович познакомил свою молодую жену с Дмитрием Шостаковичем. Впервые услышав Вишневскую на концерте – с циклом Мусоргского «Песни и пляски смерти», Шостакович был настолько потрясен и околдован ее голосом, ее искусством, что незамедлительно принял за инструментовку – специально для Галины – камерного цикла Мусоргского. Естественно, Шостакович внес в свою инструментовку то, что услышал в пении Вишневской. Это одна из интереснейших работ великого композитора и, кстати, очень примечательная. Потому что Шостакович, точно слышавший боль своего времени, всегда более был склонен к образам трагическим, нежели оптимистическим. Но выражать в музыке эту боль не мог, боялся новых поруганий. Инструментовка трагического цикла Мусоргского явилась одной из блестящих для

Шостаковича возможностей выразить себя. Он посвятил эту свою работу Вишневской, точно ощутив в ней то же самое, что было и в нем, - стремление выразить главную, основную интонацию своего времени, пусть и через музыку замечательного русского композитора XIX века.

Не раз потом писал Шостакович музыку специально для Галины Вишневской. Ей посвящен цикл на слова Саши Черного, цикл на слова Блока, для нее, для ее голоса написана Четырнадцатая симфония.

Есть еще несколько примеров действия закона притяжения «масс личностей»: английский композитор Бенджамин Бриттен специально для Вишневской написал центральную партию сопрано в своем «Военном реквиеме», посвятил ей вокальный цикл на слова Пушкина... Лишь преждевременная кончина помешала французскому композитору Франсису Пуленку завершить работу для Вишневской – цикл песен на русские тексты. Прославленный немецкий дирижер Отто Клемперер, услышав ее в «Аиде» в лондонском Ковент-Гардене, написал ей: «Благодарю Вас за это самое большое переживание за многие годы...» и пригласил Вишневскую в 1963 году на Венский фестиваль для исполнения сольной партии во Второй симфонии Малера «Воскрешение». Французский дирижер Игорь Маркевич специально инструментовал шесть песен Мусоргского, чтобы с Вишневской исполнить их в блестящем турне по городам Европы. Чуть позже советский композитор Борис Чайковский посвятил Вишневской свой цикл на слова Иосифа Бродского...

Но вот ведь странно – что ни посвящение Вишневской, то почти обязательно трудная судьба у сочинения. Начнем с конца. Вишневская так и не спела цикл Бориса Чайковского, потому что внезапно Бродского объявили тунеядцем и в уже напечатанных программах концерта цикл Бориса Чайковского бы заменен чем-то другим.

С «Военным реквиемом» тоже не заладилось. Бриттен, написав антивоенное сочинение, задумал посвятить ведущие партии в нем трем солистам, представляющим народы, наиболее пострадавшие в годы Второй мировой войны: англичанину Питеру Пирсу, немцу Дитриху Фишер-Дискау и русской Галине Вишневской. Что уж там запало в буйную голову тогдашнего министра культуры СССР Екатерины Фурцевой – неизвестно. Но, по всей видимости, усмотрена была крамола в замысле Бриттена, и за неделю до премьеры «Реквиема» Вишневская была отозвана из Лондона. Впрочем, через год ей разрешили спеть в «Реквиеме». Почему через год? Тайны многих причудливых и будто случайных

решений унесла с собой в могилу Екатерина Фурцева – простая русская женщина, охочая до водки да массивных золотых колец с бриллиантами, волею причудливой российской судьбы вознесшаяся на пьедестал судьбы русской культуры и немало «дров» наломавшая.

А цикл Шостаковича на слова Саши Черного? Долго сражались за право его исполнения три самых ярких и талантливых музыканта – Шостакович, Ростропович и Вишневская. И опять таинство решений Фурцевой – почему в конце концов разрешила? (А потом запретила...) Ведь тексты-то...

Вот такой борьбой за каждую партию в театре, за каждое произведение, спетое на концертной эстраде, наполнена была вся жизнь Вишневской в России. Четверть века. Вот уж поистине крест. Но она счастлива была нести его. И не представляла иной жизни для себя.

Нет, я не согласна с общепринятым тогда, в 1974 году – после отъезда всей семьи Ростроповича из Советского Союза – мнением, что Вишневская была подвергнута опале из-за дружбы с Александром Исаевичем Солженицыным. Эта дружба была лишь поводом, которого искали, которого ждали. Причина же была много глубже и много «старше». И в этом нетрудно было убедиться хотя бы по той стремительности, с которой прореагировала советская пресса на отъезд Галины Вишневской в официальную долгосрочную командировку за рубеж в июле 1974 года. В мае она спела последнюю свою премьеру в Большом театре – партию Полины в «Игроке» Сергея Прокофьева. Сам факт постановки этой оперы на столичной сцене был очень значительным. И я (занимая в то время должность заведующего отделом музыкального театра в журнале «Советская музыка»), ничтоже сумняшеся, незамедлительно заказала одному из самых солидных авторов статью об этой премьере. В июне статья лежала на моем рабочем столе. Хорошая, профессиональная статья, в которой немало внимания было уделено образу Полины – сложному, интересному в исполнении Вишневской. Автор говорил о том, что Вишневская домыслила, доразвила прокофьевский характер, сделала его активнее, труднее, обнаженнее...

Статья не пошла в печать и лежала в моем рабочем столе более полугода – до тех пор, пока другая исполнительница не была введена в спектакль, и пока мой солидный рецензент не вычеркнул из статьи имя Вишневской и не заменил его на иное.

Еще в июне 1974 года главный редактор журнала «Советская музыка» в ответ на мой вопрос о судьбе статьи таинственно изрек: «Вишневская уезжает в долгосрочную зарубежную командировку. Посмотрим, как она будет там себя вести». Нет, это были не его слова. У него вообще не было своих слов. Он повторил то, что было сказано ему. А точнее – приказано.

То есть уже в июне 1974 года, когда Вишневская была еще в Москве, где-то в высоких инстанциях, пожалуй, над головой Фурцевой, было решено, что эта великолепная певица и актриса больше не вернется на родину. А уж повод для таких решений, как известно, находился всегда. И потому не успела еще Вишневская пересечь государственную границу Советского Союза, как ее имя исчезло из всех печатных изданий, из всех публикаций. Будто и не было в русском искусстве этой певицы и актрисы, долгие годы украшавшей самые торжественные – правительственные, как их тогда называли – концерты. Миллионными тиражами были изданы разнообразные издания к юбилею Большого театра, который праздновался год с небольшим спустя после отъезда Вишневской. Но ее имя уже не упоминалось ни в одном из этих изданий. То есть практически Вишневская была лишена гражданства на четыре года раньше, чем о том было официально объявлено.

Какая же причина заставила так спешить советские официальные инстанции? Почему столь немилостивы были правители страны к всемирно известной оперной диве, которая, казалось бы, дарит своей стране не только престижное имя хранительницы лучших русских оперных традиций, но и весьма солидные валютные счета, пересылаемые в Советский Союз за ее выступления за рубежом?

Но, как мы убедились, Галина была индивидуальностью, личностью. А индивидуальности, те, кто не подравнивается под общую линию поведения, мышления – плохо управляемы или вообще не управляемы. Никогда неизвестно что завтра придет им в голову. И поле воздействия яркой личности в любой сфере творческой или научной деятельности весьма широко. Именно этой независимости мнений боялись в Советском Союзе больше всего. Боялись и не прощали – никому и ни в чем.

Однако можно было вычеркнуть имя артиста из книг по истории театра, но не из самой истории. Можно было сделать вид, что Вишневской вообще не было на советской сцене, но нельзя было уничтожить то, что принесла она русскому искусству. Вспомним, как в течение 35 лет пытались в Советском Союзе вытравить из памяти народа искусство Федора Шаляпина. А сегодня именно те, кто некогда предавал анафеме его имя, по

крохам собирают полузабытый материал о нем и пишут многотомные исследования о великом русском оперном артисте.

Кстати, не сомневаюсь, что возродись Шаляпин к жизни в советские годы, его постигала бы на родине та же участь, что и его последовательницу и заочную ученицу Галину Вишневскую. Шаляпин, безусловно, вынужден был бы эмигрировать.

Однако, уехав из Советского Союза на Запад, Галина Вишневская не прервала своей творческой деятельности. Весьма быстро она заняла значительное место в мире Западной культуры и искусства. Уже в первое десятилетие после отъезда Галина выступила в оперных театрах Нью-Йорка, Лондона, Мюнхена, Эдинбурга. Спела десятки концертов с лучшими оркестрами и дирижерами мира, сотни камерных концертов – в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Риме, Милане, Чикаго, Бостоне, Филадельфии, Рио-де-Жанейро, Каракасе, Токио... Такой творческой активности не было у нее никогда, за всю ее жизнь в СССР. Галина записала альбом романсов Мусоргского, Чайковского и Шостаковича, романсы Рахманинова и Глинки, вокальные сочинения в сопровождении оркестра Прокофьева и Римского-Корсакова, исполнила главные партии в записях трех опер – «Тоска», «Пиковая дама» и «Леди Макбет Мценского уезда». Все три были удостоены Гран При дю Диск, Гран-При академии Чарльза Гросса, приза «Золотой Орфей». Французская академия грамзаписи присудила Вишневской в 1977 году приз лучшей оперной певицы года. А в списке пятидесяти лучших голосов мира, опубликованном в журнале «Экспресс», она оказалась единственным русским сопрано.

А затем последовали и новые, более сложные партии. Леди Макбет в опере Верди – труднейшая в мировом оперном репертуаре. Ее искусство по-прежнему будоражило воображение больших музыкантов, создававших для нее новые сочинения. В январе 1979 года в Вашингтоне состоялось первое исполнение произведения французского композитора Марселя Ландовского для симфонического оркестра и сопрано «Ребенок зовет», посвященного Вишневской. И само сочинение, и исполнение Галины Вишневской были приняты с энтузиазмом и публикой, и критикой.

И все же главенствовали в репертуаре концертов Галины Вишневской на Западе сочинения композиторов той страны, где родилась и выросла она, где познала своей первых успех и ощутила свою нужность, свою причастность к тому великому и непреходящему, что зовется русской культурой. Именно сияние

музыки России дарила она слушателям на Западе, именно эту культуру продолжала пестовать и развивать, как только смогла вернуться обратно в Россию.

Десять лет – до самой своей кончины – возглавляла Галина Павловна Вишневецкая уникальную организацию – «Центр оперного пения», которую задумала и создала после возвращения в Россию. Идеей этого учебного центра было не только сохранить прекрасные традиции русской вокальной школы, но и развить их и довести до уровня мировой вокальной школы. Довести, а потом и превзойти его.

Галина Вишневецкая верила в эти возможности. И на примере своей уникальной творческой карьеры доказывала неограниченные возможности природной постановки голоса. Доказывала всей своей уникальной жизнью певицы, не прошедшей через горнила традиционного вокального образования и тем не менее достигшей высочайших вершин в прекрасном искусстве пения.

Послесловие

Статья эта была написана более тридцати лет тому назад – в 1979 году и тогда же опубликована в журнале «Континент» издававшегося Владимиром Максимовым в Париже. Нынешняя, слегка измененная версия статьи готовилась к публикации по поводу смерти Галины Вишневецкой 11 декабря 2012 года.

Несколько слов по поводу истории создания этой статьи.

...В американском консульстве в Риме, куда в мае 1978 года нас вызвали по поводу иммиграционных виз в США, мне передали просьбу Славы Ростроповича позвонить ему в Париж. На мой звонок ответил низкий, грудной голос Галины Вишневецкой:

– Кто говорит? Дора?! Ромадинова?! – пробасила трубка.
– А!! Дора! Ну слушай! Приезжай. Да, Максимов, который «Континент» – ну ты знаешь, так вот он хотел бы статью обо мне. У меня, юбилей... А ты все обо мне знаешь. Давай приезжай, поговорим. Когда ты сможешь?

Я смогла приехать в Париж только год спустя после приезда в США и совсем не по поводу юбилейной статьи. К этому времени статья эта была уже написана. Галина сама нередко навещала Нью-Йорк. Мы встречались и обсуждали материал статьи. Да и моя эмоциональная память не подвела, я хорошо помнила основные партии, которые пела Галина Вишневецкая на сцене Большого театра. Статья «родилась» легко и быстро – навык работы над такого рода материалами у меня тогда был еще свеж.

Прежде чем отправить статью Владимиру Максиму, я показала ее Гале и Славе. Сошлись на том, что статья получилась,

что ничего править в ней не нужно. Единственное о чем попросила Галя – это вставить эпиграф – стихи Анны Ахматовой.

Тогда же у Славы родилась идея создания книги, написанной самой Галиной Вишневской с моей помощью. Соблазнительное предложение! Я не смогла от него отказаться – невзирая на наличие у меня совсем иных планов «вживания» в новую страну.

Два месяца лета 1979 года провела я в заполненной прекрасным русским антиквариатом парижской квартире Ростроповичей, бок-о-бок с портретом – в полный рост – последнего русского царя Николая Второго кисти художника Валентина Серова (помните его знаменитую «Девочку с персиками», что в Третьяковке?). Портрет этот – в дымчатых серо-голубых тонах, не законченный в работе (особенно, к сожалению, «пострадали» руки) – находился на фронтальной стене в главной зале квартиры. Он словно доминировал над всем остальным, умаляя прелесть и изысканность антиквариата, находившегося рядом... Этот Николай Второй мешал – и мне, и Гале, царь явно знал о своей трагической судьбе. Гениальный художник (Валентин Серов умер в 1911 году) безусловно провидел ту страшную, глобального масштаба трагедию страны, управление которой в самый критический момент ее истории, высшие силы доверили этому Николаю Второму. Царь был сосредоточен, погружен в себя, вся его поза, выражение лица, взгляд говорили о том, что душа его обременена страхом, напряжением, предощущением его беспомощности перед всепожирающим огнем смуты, которая зрела в недрах России. И еще читалось в этом Николае какое-то смирение, согласие с судьбой, ожидавшей его...

Мы работали с Галей над ее книгой, на столе стоял магнитофон, записывавший нашу свободную беседу. Большую часть времени мы были в этой огромной квартире вдвоем... Нет, не вдвоем, а втроем, потому что царь Николай неизменно присутствовал при наших беседах, даже каким-то необъяснимым образом вторгался в них, накладывая печать трагедии на рассказ Галины, на трудную судьбу этой блистательной красавицы-примадонны...

Может быть, потому книга у нас не получилась. Моя реакция на события жизни Галины оказалась острее ее собственной. Она, пройдя через тернии и перипетии своей жизни, научилась убирать, «прятать» те эмоции, что возникали в особо трудных ситуациях ее жизни. Я не смогла – для меня это были «свежие» переживания. Галина почувствовала этот драматизм в моем тексте и отвергла его. И потом сама написала книгу. Я

читала ее. Она мне понравилась. Это была ее книга, в которой Галина несла ту меру эмоциональной реакции, которая видимо и позволила ей сохранить и пронести через жизнь свой, особый мир, пройти через невероятное и уцелеть.

И еще; Галина Вишневская была бы другим человеком, если бы приняла чужую реакцию, чужую идею, чужой стиль изложения. Она всегда и на все имела свой взгляд, свое мнение. Личность подразумевает уникальность. С личностями трудно. Но только они и движут наш мир вперед.



Ирина Маулер, Михаил Юдсон

Турбина Журбина

*Все мои друзья во всем мире - в Нью-Йорке,
Москве, Израиле читают сайт Евгения Берковича.
Я сам у него напечатал статью. Замечательный сайт!*
Александр Журбин (в ходе интервью)



Александр Журбин – знаменитый композитор, создатель мелодий, знакомых многим и многим - от первой советской рок - оперы «Орфей и Эвридика» до музыки к кинофильмам, среди которых всем известные «Эскадрон гусар летучих», «Тяжелый песок», «Московская сага». Такие его мюзиклы, как «Чайка» (по Чехову) и «Биндюжник и Король» (по бабелевскому «Закату») стали событием в музыкально - театральной жизни. Кроме того, Журбин – автор нескольких книг прекрасной прозы. А его грандиозная Четвертая Симфония «Город Чумы», основанная на текстах в переводах с арамейского (пророк Даниил) и латыни (Блаженный Августин) до французского (Камю, Арто) - совершенно новое слово в музыке. Александр Журбин - это некая ажурная турбина. В композиторе замечательно сочетается тонкая мелодичность и невероятная, как выражались конструктивисты, энергичность. Журбин посылает свой музыкальный месседж «урби и орби», городу и миру. Любой, побывавший на его выступлениях, слушавший его диски, видевший его телевизионную передачу «Мелодии на память», ощущает могучее воздействие его таланта и обаяния. Одна из нас имеет (пусть и начальное) музыкальное образование и даже пишет авторские песни, а вот второму в детстве медведь на ухо наступил, да не какой-нибудь плюшевый Винни-пух, а матерый Потапыч, генерал Топтыгин. Но побывав на концерте Александра и его жены Ирины Гинзбург - Журбиной («дни Журбиных» в Израиле), мы оба получили настоящее наслаждение, чего и вам желаем. А сейчас послушаем Журбина.

- Александр, расскажите пожалуйста о своих житейских корнях. Были ли у вас в роду музыканты и вообще как говорил Хлебников, «творяне»?



- Я родился в простой инженерной семье, сразу после войны. По прихоти судьбы это случилось в Ташкенте, куда моя мама приехала из Москвы к родителям, спасаясь от столичных «холодов и голодов». Недавно, после тридцати пяти лет разлуки, я побывал в городе моего детства и не узнал буквально ничего, так изменился Ташкент. Я искал домик на холме, места в которых жил и учился - увы, все кануло. А может быть и хорошо, что теперь это живет только в моей памяти. Мои родители не имели никакого «официального» отношения к музыке. А неофициальное было - мама прекрасно поет, у нее замечательный голос, она природно музыкально-одаренный человек. И поэтому наверное не случайно, что мой брат Юрий Гандельсман многие годы в Израиле играл в Симфоническом оркестре Зубина Меты, а сегодня он профессор музыки в Мичиганском Университете. Мой сын Лев Журбин - состоявшийся американский композитор, сотрудничающий с Михаилом Барышниковым, Френсисом Копполой и многими другими звездами.

- Так что же такое, по-вашему, талант - генетика, или божественная искра?

По-моему, это сочетание Б-гом данного дара, колоссальной работоспособности и упорства «графомана». Я очень много работаю и очень много пишу, чем и горжусь. В списках произведений, написанных мною, симфонии и кантаты, мюзиклы и песни, еще я пишу серьезные книги, веду передачи на

телевидении... Кстати, очень бы хотелось много еще чего делать, но к сожалению времени на все не хватает.



- Давайте, как сказал бы Блаженный Августин, начнем «аб ово» вашего «опус магнум» - то есть с яйца главного опуса. Россия - родина всего, вплоть до слонов, но уж никак не рок - опер. Как зародилась «Орфей и Эвридика», что послужило, по набоковскому выражению, творческой пульсацией?

- В 1969 году вышла на сцену первая мировая рок опера, это была «Томми» группы «The Who», а чуть позже « Иисус Христос - суперзвезда» Эндрю Ллойд Уэббера. Казалось, соблазн рок - оперы бродил по планете, и, конечно, он не обошел и меня. В то время я учился в аспирантуре Ленинградской консерватории и был, как говорится, «широко известен в узких кругах». С предложением о создании рок - оперы я обратился к моим друзьям, известному либреттисту Юрию Димитрину и руководителю ансамбля «Поющие Гитары» Анатолию Васильеву. На дворе стоял где- то 73-74 год. Мы долго искали тему, многое было тогда нельзя - запрещены были библейские темы, эротика, наркотики и многое другое. И вдруг мне пришла мысль – греческая мифология! Орфей и Эвридика!

Ведь там главный герой – певец, и это любовная история - такую тему запретить невозможно. Я подошел к роялю и напел:

«Орфей полюбил Эвридику». С этой фразы все и закрутилось. А дальше пошло так, как будто провидение говорило, что мы все делаем правильно. Мы пригласили в качестве постановщика Марка Розовского в тот момент, когда она еще даже не была готова, и я в спешном порядке дописывал партитуру для срочных репетиций. В течение 3-4 месяцев первая в Советском Союзе рок - опера «Орфей и Эвридика» была поставлена. Образно говоря я выгащил счастливый лотерейный билет.

- Вы закончили Ташкентскую консерваторию по классу виолончели, Гнесинский институт по классу композиции, в 29 лет стали всесоюзно известны. Слава пришла к вам рано - это случилось неожиданно или Вы ее ждали и торопили?

- Когда - то я услышал от Кости Райкина замечательное: «Бог замечает тех, кто выпрыгивает» Да, я выпрыгивал, я очень много работал и очень хотел преуспеть. И честолюбив был всегда. Свалившаяся на меня тогда слава дала первый сильный толчок, инерция которого продолжается до сих пор. На мои концерты собираются полные залы в какой-то степени благодаря тому, что я автор «Орфея и Эвридики», проданной на сегодняшний день миллионами копий. Хотя с тех пор я и создал немало других музыкальных произведений, лучших, чем Орфей, на мой взгляд. Самыми значительными своими мюзиклами я считаю «Разбитое зеркало» по Брехту, «Фьоренцу» по Томасу Манну, «Чайку» по Чехову, «Униженные и оскорбленные» по Достоевскому и «Доктор Живаго» по Пастернаку.

- Заметно, что вы любите хорошую литературу.

- Да, я много читаю, в мою электронную библиотеку закачано более 40000 страниц, а книгами заставлены дома все стены. Мой вкус разнообразен - предпочитаю сюжетные романы, хотя с удовольствием читаю и Марселя Пруста, в романах которого практически отсутствует действие, и Роберта Музиля. Люблю тренировать мозги, читая Эриха Фромма, Карла-Густава Юнга, Хайдеггера, Фукуяму. Мой принцип - знать многое о немногом и понемногу обо всем.

- Шелдон Харник, автор стихов мюзикла «Скрипач на крыше», сказал о вас, что у Журбина редкий дар - он с равным успехом может сочинять серьезную и развлекательную музыку. Но все - таки - при этом работает другой участок души?

- Когда я начинаю писать музыку, то понимаю одно - писать надо интересно, не банально и не примитивно. В это время, естественно, не думаю, какое полушарие мозга у меня трудится. Единственно, что я знаю - уже сочиненную музыку никогда не надо переделывать. Как - то я советовался с Дмитрием

Дмитриевичем Шостаковичем, нужно ли переделывать одно мое музыкальное произведение, вносить исправления. Он сказал: «Обязательно переделайте, но только в следующем сочинении».

Я никогда не пишу музыку на компьютере, (хотя умею) а только ручкой. Я считаю, что ручка – это настоящая антенна, и если Б-г хочет мне что - то передать, то это что - то, перейдя через ручку - руку, выльется на лист бумаги. По времени же – все поразному. Симфонию можно писать год, а вот песня - легкий жанр, если не складывается сразу, потом уже точно не сложится. Оскар Фельцман всегда любил повторять, что пишет песню ровно столько, сколько читает к ней текст.



- Расскажите, пожалуйста, историю особенно популярной вашей песни «Ах, эти тучи в голубом».

- А было так: меня пригласили писать музыку к фильму «Московская сага» по книге Василия Аксенова. Среди всего прочего в этом романе была такая героиня Екатерина Градова - она пишет стихи «Ах, эти тучи в голубом», которые превращаются в популярную советскую песню и ее поют на всех фронтах. Но в книжном варианте стихотворения были очень длинные строки и на них музыка никак не ложилась. Я попросил своего друга, поэта Петра Синявского, подправить текст, и в результате получилось совсем другое стихотворение, (хотя все мысли Аксенова были сохранены) на которое я и написал музыку. Сначала Аксенов не очень жаловал песню, но ее начала исполнять Кристина Орбакайте, потом неожиданно запела вся страна - тогда и Аксенов изменил мнение. Забавно, что как-то в интервью у Василия Павловича спросили, нравится ли ему эта песня, и он ответил: «Еще бы, ведь это я сам напел мелодию Журбину».

- В начале 90-х вы уехали жить в Америку. Почему туда, а не в Израиль? И как вы считаете, если бы вы тогда приземлились в аэропорту «Бен-Гурион» - сложилась бы ваша судьба так же творчески удачно?

- Это был фатальный год. – 1990. Страна в полном смысле развалилась. Мой брат по приглашению Зубина Меты эмигрировал в Израиль. И у нас возник извечный еврейско-русский вопрос - что делать? Я очень нежно отношусь к Израилю, но я всегда понимал, что вряд ли смогу реализоваться в этой стране. Ведь в Израиле, насколько я знаю, нет ни одного музыкального театра (в бродвейском смысле) и всего две киностудии. Что бы я здесь смог делать? А в Америке множество музыкальных театров, Бродвей, офф-Бродвей, и очень развитое кинопроизводство, безусловно лучшее в мире. Но, несмотря на это, Америку очень тяжело завоевывать, если ты в ней не родился. Это уже удел наших детей. Вот мой сын уже чувствует себя в этой стране, как рыба в воде. Есть такая притча у Кафки в романе «Процесс»: человек приходит в канцелярию и говорит, что ему надо к начальнику. Привратник останавливает его и просит подождать. Человек ждет день, месяц, год, жизнь и наконец спрашивает у привратника, когда же его пропустят? На что привратник отвечает, что никогда, поскольку и двери - то здесь нет, а есть одна глухая стена... Так вот, я ждал, когда в Америке откроется для меня дверь и вдруг понял, что двери там для меня нет в принципе.

- Как вы считаете, существует ли нынче такое понятие, как эмигрантская культура?

- Сегодня для творческого человека местонахождение большого значения не имеет. Интернет полностью уничтожил границы.

А что касается эмиграции. Понимаете, эмиграция - это невозможность вернуться назад. А сегодня бери билет и лети куда хочешь.

В Америке, кстати, я решил заняться созданием этой самой эмигрантской культуры и основал театр «Блуждающие звезды». И хотя в нем играли известные и талантливые актеры, в том числе, скажем, Елена Соловей - мы не смогли выжить. Зачем американской «нашей» публике смотреть «своих», рядом с ними покупающими огурцы на Брайтоне, если приезжают далекие и громкие «Современник», «Сатира», «Таганка»... И в какой-то момент я четко понял, что заветной американской двери для меня нет. Поэтому, сейчас я большую часть времени нахожусь в России, там моя основная работа.

Зато мои выступления стали гораздо более востребованными в США - ведь теперь я там гость.

- Вы автор нескольких книг прозы, в том числе одна из них с очень точным названием - «Композитор, пишущий слова». Замечательная проза - музыкальный строй фразы, ритмика текста, довлатовский «воздух фраз» - пауз от пауза. Вам бы не хотелось написать традиционный роман, манновского размера, что-то вроде «Александра и его братьев» в широком смысле?

- Скажу по секрету, я написал два романа, но никогда их никому не покажу, потому что, как мне кажется, что у меня нет художественного дара к сочинительству. Мне больше подходит писать тексты в жанре «нон-фикшн». Сейчас я заканчиваю новую книгу «Музыкальные перекрестки» - о стилистических сдвигах, «сшибках» в музыкальных произведениях разных эпох.

- Ваша, мягко говоря, нелюбовь к опозданиям и необязательности - это то, что ваш любимый Томас Манн называл «ясность творческого плана жизни»?

- Я человек точный и не люблю, когда опаздывают на встречи. И хотя всякий художник, в принципе, где - то разгильдяй (ведь творчество - вещь спонтанная, и на часы мало обращает внимание), я не могу себе этого позволить, ведь в серьезном музыкальном бизнесе свои законы, которые за 35 лет работы приучили меня к порядку и обязательности. Кроме того, я всегда заодно стараюсь создать комфортные условия для тех, с кем сотрудничаю.

- Вы живете на три дома, в самом, пожалуй, «бермудском» из треугольников сегодняшнего мира: Израиль, Россия, Америка (кстати, аббревиатура вашей жены - ИРА). Конечно, Б-г еврея метит и хранит, но каким лично вы видите Израиль, и отличаются ли, по - вашему, «русские» евреи, живущие в этих славных местах?

- Конечно, каждая страна накладывает свой отпечаток. В отличие от американских евреев, русские израильтяне очень политизированы и вовлечены в вечный процесс борьбы. А вот в Америке русскоязычная община практически не принимает реального участия в политической жизни. Между прочим, когда в России смотришь телевизор, то ситуация у вас видится совсем иначе, чем она выглядит на месте. Конечно Израиль - это страна чудес и кроме «Железного купола» ее защищает Б-г. Надеюсь, и дальше Он будет хранить наш народ.

- Как складывалась судьба одного из ваших самых «еврейских» мюзиклов «Дибук»?

- Вообще у меня на ЭТУ тему целых 4 мюзикла. Очень успешный «Биндюжник и Король» по Бабелю, «Блуждающие звезды» (по Шолом-Алейхему), «Шалом, Америка» по Шолому Ашу.

«Дибук» - последний в этом ряду. Он существует (на бумаге) уже лет 7. Но постановки все нет. Не могу понять, в чем дело. Может мистика не дает? Но я очень надеюсь, что его премьера все - таки состоится в 2013 году.

Был разговор о постановке и с театром «Гешер», но пока там что-то не складывается. И это, наверное, не случайно, ведь основа этого произведения - трагическая каббалистическая легенда. Когда я писал музыку, со мной даже происходили странные истории - например, мое пианино в обычной тональности стало вдруг звучать на октаву ниже, чем положено, и это было похоже на мистический утробный звук Дибук. Что, впрочем, меня насторожило – но вовсе не испугало. Мюзикл «Дибук» я благополучно закончил. И один из музыкальных московских театров сейчас собирается его поставить.



- Иосиф Райхельгауз, вспоминая о совместной работе над вашей «Чайкой», говорил о «бешеной энергии композитора», втягивающего всех в водоворот рабочего азарта. Вы - человек, выплескивающий энергию, заряжающий других?

- Да, конечно, я экстраверт, так как мне жизненно необходима аудитория, ее отдача и интерес. Все, что я пишу, я пишу для людей и о людях. И я полностью согласен с Гете, который говорил, что «Самое интересное для человека - это

человек». Я всю свою жизнь пишу для своего «альтер-эго», в расчете на понимание современников и, надеюсь, потомков.

- Ваша симфония «Город Чумы», где литературная подстежка от пророка Даниила до Камю. Вы хотели показать «духовный лик зла», как называл чуму Антонен Арто?

- Чума, в символическом смысле - это болезни, войны, зависть, ненависть, болезни - словом, все то, что губит человечество. И все это живет в человеке. Возможно, провидение насылает чуму на народы за какие-то грехи. А ведь были люди, которые и во время эпидемии чумы проходили по зараженному городу и не заболели, и были врачи, спасающие больных и выходящие из этого ада невредимыми. Но моя 4-я Симфония - не только о зле. Главная ее задача, как и каждого художественного произведения - дарить надежду.

- Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

Израильтянам – прежде всего мира, спокойствия, порядка. Понимаю, что это почти недостижимо, израильско-арабское противостояние – это надолго, может навсегда. Но все-таки банальное «худой мир лучше доброй войны» здесь очень подходит. Поскольку арабов куда деть не возможно, надо пытаться как можно дольше удерживать состояние по violence, то есть без насилия. Понимаю, это звучит наивно.

Но иногда банальные и наивные вещи – самые правильные. Поэтому я абсолютно банально хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, и наивно пожелать всем здоровья, удачи и любви. И чтобы Новый год был лучше старого! А это не так уж трудно...



Виталий Аронзон

42 года без Леонида Аронзона

Краткий обзор событий и публикаций



«*семидесятью годами ушедший из жизни Леонид Аронзон был самой притягательной и живой фигурой в ленинградской поэзии того времени. Его поэтика и судьба интригуют, завораживают каждого, кто в это время становился свидетелем или участником независимого культурного движения – новой русской контркультуры. Еще бы: невероятная, взрывчатая смесь абсурда и чистого лиризма, насмешки и патетики, грубой, на грани непристойности, витальности и буддистской отрешенности от мира.*

В сравнении с утонченным эстетизмом его коротких стихов многословный и обстоятельный Бродский в 70-е гг. казался архаически тяжеловесным, слишком приземленным, рассудочным. Стихи же Аронзона шли «путем слетевшего листа», оставляя на слуху слабый осенний шорох, перерастающий в органное звучание потаенной музыки смыслов, недоступной обыденному сознанию, но открывающейся как психоделическое озарение, как пространство продуктивных повторов и постоянных возвращений к уже сказанному, – чтобы снова и снова обозначать новые уровни метафизического познания того, что на языке современной философии именуется отношением Бытия к Ничто».

Виктор Кривулин. Леонид Аронзон – соперник Бродского/
Охота на мамонта (СПб., 1998)

«Аронзон, в отличие от Бродского, поэт райской памяти, в его стихе есть та гармония, которая с древности почиталась царским путем поэзии. Ни райского, ни детского, ни царственного в стихе и мысли Бродского нет. Это его, Аронзона, позиция – и такова природа его дарования».

Интервью с О.А. Седаковой в память поэтессы Елены Шварц (17 мая 1948 - 11 марта 2010)

«Он читал свои стихи так, как будто на острие этого чтения замерла Вселенная. Сказать, что аронзоновское чтение стихов экстаично, – еще ничего не сказать. Каждое произнесенное им слово насыщено и самодостаточно, оно похоже на небесный плод, наполненный мякотью, соками, свежестью, силой. Слову не тесно рядом с другими, паузы между ними гулки и глубоки, в его стихах рождается небывалая мужественная и упругая, радостная и певучая гармония».

Аркадий Ровнер. Из книги «Вспоминая себя» («Золотое сечение», Москва, 2010)

«Аронзон создал для возникающего литературного течения новый идейно-эстетический плацдарм. Социальный эскапизм независимого культурного движения получил иную, позитивную траекторию развития: от чувственной предметности и экспрессионизма – к созданию своей духовной и культурной миссии».

Борис Иванов. Как хорошо в покинутых местах/Петербургская поэзия в лицах. (НЛЮ. Москва, 2011)

«Леонид Аронзон умер, когда ему было тридцать один год. Это произошло 13 октября 1970 года под Ташкентом. Мы поехали туда отдохнуть и попутешествовать».

Там в горах, в случайной пастушьей сторожке ему попалось это злосчастное охотничье ружьё, и он ночью вышел из сторожки и выстрелил в себя».

Меня не было с ним рядом, но я слышала, как в этот момент загрохотали горы, померкла луна и заплакали друзья – его ангелы на небе. И я всё поняла, находясь за сотню километров от него».

Его смерть была основным событием его жизни. Таким же, как поэзия, детство, Россия и еврейство, любовь, друзья и веселье. Родом он был из рая, который находился где-то поблизости от смерти. Хотя прожил он всю жизнь в Ленинграде. Из своих тридцати одного года двадцать пять лет он писал стихи, двенадцать лет мы прожили вместе в огромной любви и счастье. Он работал учителем русского языка, литературы и истории, а также грузчиком, мыловаром, сценаристом и геологом. Стихи его при жизни не печатали никогда. Настроение было плохое».

Рита Аронзон-Пуришинская

«...Но я в жизни не встречала человека более весёлого, остроумного и обаятельного, чем он».

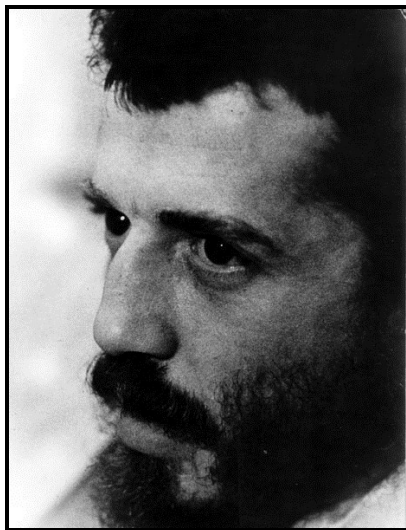
Прошло 42 года, как не стало Леонида Аронсона (*далее ЛА*).

Удивительное число «сорок»: в русском написании этого числа содержится слово «рок», и сорок лет водил Моисей еврейское племя по пустыне. И привёл в Ханаан.

Почти сорок лет имя Леонида Аронсона было мало известно, кружились вокруг его имени статьи, публикации, мемориальные вечера, документальные фильмы, но в свой «Ханаан» он вошёл недавно.

При жизни ЛА произведения его распространялись в рукописях и сам- и тамиздате (см. «Иерусалимский библиофил», альманах IV, Иерусалим, 2011, с.118. Леонид Аронзон в сам- и тамиздате).

(Леонид Аронзон. Стихотворения/ Сост. Вл.Эрль - Лен. Комитет литераторов, 1990)



К настоящему времени практически всё, что им создано за короткую жизнь, опубликовано, и, более того, ряд лучших произведений переведено на другие языки. Его творчество получило признание литературного сообщества и читателей: опубликован сборник научных статей, посвященных его творчеству, разошлись тиражи его книг.

Сегодня, вспоминая Леонида Аронсона, уместно рассказать о малоизвестных фактах, связанных с трагедией в горах, и подвести итог судьбы его наследия.

По общему мнению, поэтические произведения поэта не только в большой степени посвящены его жене Рите Пуришинской, но и вдохновлены ею, а его взросление как поэта происходило под её влиянием. Можно с этим соглашаться или не соглашаться, но Рита, без сомнения, была его поэтической музой.

Возможно, с годами совместной жизни пыл влюблённости ослаб с обеих сторон, и у супругов появились иные предпочтения. Кроме того, необходимость материально обеспечивать семью (а оба супруга были инвалидами с мизерной пенсией) заставила ЛА работать на студии научно-популярных фильмов как сценариста.

Кризис ли отношений супругов, сложности ли осознания этого кризиса, а также смена работы и невозможность опубликовать свои произведения, привели к надлому психики. Это сознавали сам поэт и его близкое окружение. Темы ухода из жизни, поиска и отторжения жизненных стимулов ясно звучат в его стихах.

С началом работы на киностудии в семье появился некоторый материальный достаток, но одновременно обострилось противоречие между непреодолимой потребностью выражать себя в стихах и вынужденной работой над сценариями. По словам поэта: *«Невозможно эти два дела выполнять хорошо»*. Ситуация его тяготит, и он решает бросить сценарную работу. Между этим решением и его уходом из жизни всего два месяца.

Так и осталось неизвестным: самостоятельно, по своей воле ушёл из жизни поэт в горах под Ташкентом или случайно выстрелил в себя, неосторожно обращаясь с ружьём. Раненый, понимая, что находится на грани жизни и смерти, поэт просит врача спасти его. Спасти не удалось – не хватило крови для переливания. Неслучайная гримаса советского здравоохранения.

За *случайность* выстрела говорят и характер ранения, и необычно радостный день, предшествовавший трагедии. ЛА был весь день в эйфории оттого, что находится среди прекрасных гор, гуляет, любит любимыми бабочками, катается верхом на лошади, восхищается грацией своей подруги и ее умелостью в верховой езде.

*...и ты, узбечка, столь ты хороша,
что пред тобой и ангел безобразен.*

*...но нежности твоей благодаря
Я воскресаю.....*

Последнее стихотворение)

За предположение о *неслучайности* выстрела говорит беспокойство Риты о состоянии ЛА: она следом за ним вместе с другом поэта Александром Альтшулером (Аликом), предчувствуя трагедию, прилетает из Ленинграда в Ташкент. В подтверждение этого приведу несколько строк из двух ташкентских писем Риты к близкой подруге.

9 октября: «...Лёник молчит, а если говорит, то такое, что лучше бы молчал... Самое логичное уехать домой... Лёник вчера и предлагал уехать. ...И город, и люди, и всё путешествие или кажутся, или на самом деле ужасно нелепые и дурацкие...»

12 октября: «...Лёня и Алик ушли в горы, вчера, в воскресенье, 11 окт., в среду должны вернуться... Лёник в последний день немного отошёл, а может, взял себя в руки, как я ему велела. Любезно и настойчиво звал меня в горы, обещая ишака. Но я, имея в виду его и себя, не согласилась. Хотя боюсь, что в горах с ними что-нибудь случится...»

Очевидно, что ЛА метался между чувством долга и новым романтическим увлечением.

Незадолго до описываемых событий (примерно за два года) постоянным гостем в доме ЛА и Риты стал кинодокументалист Феликс Якубсон (далее ФЯ). После гибели ЛА он несколько лет живёт в гражданском браке с Ритой.

Перед началом совместной жизни ФЯ и Рита встречаются с нашей мамой (ЛА и я - родные братья) и просят её согласия на их гражданский союз, подчёркивая тем самым приверженность памяти ЛА. Мама, естественно, ничем не выдаёт своего огорчения, понимая бытовую подоплёку ситуации, но переживает неверность Риты: какими бы не были причины заключения нового союза.

В 1983 году после тяжёлой и изнурительной болезни умирает Рита.

Такова общая картина событий до и после трагедии в горах. Теперь посмотрим что произошло с литературным наследием ЛА.

Незадолго до ухода из жизни Рита решает отправить архив ЛА за границу. Перед отправкой архива она приглашает к себе писателя, поэта, литературоведа Владимира Эрля, в прошлом друга ЛА, и просит его сделать копию архива. Ему помогают Александр Альтшулер и Мила Ханкина, подруга Риты. После отправки архива в России остаётся полный комплект копий. Одновременно Рита передаёт уезжающему в эмиграцию Вадиму Бытенскому, самому близкому в ее окружении другу ЛА, комплект перепечаток архивных материалов. Такой же

(предположительно) комплект она передаёт нашей маме. Позже эти перепечатки я размножаю машинописным способом и делаю пять книг, каждая в красном переплёте с тиснением золотом «Леонид Аронзон». Один из экземпляров этой книги я подарил Феликсу после смерти Риты, т.к. она не доверила ему копию архива (дома у них такой копии не оказалось).

При жизни Риты её попытки издать произведения ЛА не увенчались успехом. Благодаря литературным и светским связям Вадима Бытенского, ему удалось опубликовать несколько стихов для детей в газете «Литературная Россия» в 1971 г.

Усилиями друзей ЛА в 1975 году был организован литературный вечер, посвящённый памяти ЛА. На вечере присутствовала Рита, наша мама и я.

Имеются аудиозаписи выступлений на вечере и подробный отчёт в приложении к самиздатовскому журналу «Часы». Том с этими материалами Владимир Эрль подарил мне незадолго до моего отъезда в эмиграцию в 1992 году.

Литературные вечера были также организованы Якубсоном в Петербурге в 1995 г. и в 1999 г., в Иерусалиме (Израиль), а мною - в 2000 г. и 2007 г. в Балтиморе и в 2009 г. в Филадельфии (США).

Владимир Вихтуновский в 1992 г. создаёт документально-игровой фильм «Сказки Сайгона», в котором одна новелла посвящена ЛА. В фильме имеются эпизоды с моим участием. Этот фильм показан на одном из упомянутых вечерах в Петербурге.

Максим Якубсон (сын ФЯ от первого брака) заканчивает ВГИК и в 1998 г. представляет дипломную работу – фильм «Имена», частично посвящённый Леониду и Рите. Фильм демонстрируется в одном из кинотеатров Петербурга и на телевидении.

Татьяна и Гарри Меламуды (США, Балтимор) создают фильм о ЛА «Путь слетевшего листа», в который включены многие его стихотворения, часть которых читает автор. Фильм демонстрируется на частных просмотрах в Америке, Израиле, Германии и России, а также на вечерах памяти ЛА в Балтиморе и Филадельфии.

Архив ЛА, переправленный в дипломатической почте во Францию, получает сестра Ирэны Ясногородской, близкой подруги Риты, и перевозит его в Израиль. Ирэна готовит к печати и издаёт в издательстве «Малев» в 1985 г. первую книгу произведений ЛА «Избранное» с подборкой стихов, составленной Еленой Шварц.

В России Владимир Эрль в 1990 г. издаёт «Стихотворения» – вторую книгу стихов ЛА с послесловием Риты Пуришинской (см. ее высказывание, помещённое в предисловии к данной статье). Тираж этой книги издательство передаёт Якубсону как наследнику авторского права ЛА. Он унаследовал это право в качестве мужа умершей правонаследницы произведений ЛА. Абсурдный юридический казус: при жизни самого близкого родственника ЛА, его брата (т.е. меня), авторским правом владеет другой человек. Феликс Якубсон отказался передать авторские права мне, несмотря на желание всех живущих родственников и друзей ЛА.

Феликс Якубсон знакомится с издателями Аркадием Ровнером и Викторией Андреевой и передаёт им подборку стихов ЛА, а они издадут в 1997 г. книгу «Смерть бабочки» с параллельным переводом стихов Аронзона на английский язык, выполненным английским поэтом-переводчиком Ричардом Маккейном. Это первое наиболее полное издание произведений ЛА на русском и английском языках. Однако оно изобилует неточностями и ошибками как в текстах, так и в датировках. Феликс узнаёт от Ровнера об издании книги и сообщает об этом в письме, направленном мне в США, куда я эмигрировал в 1992 году.

Ирэна Ясногородская выходит замуж за литератора Генриха Орлова и переезжает в Америку. Архив ЛА она передаёт мне, так как считает меня, родного брата поэта, единственным, естественным наследником авторского права. Других ближайших родственников уже не было в живых. С этого момента возникает моя ответственность за судьбу наследия ЛА.

Передо мной встала задача найти специалиста, который мог бы разобрать архив и позаботиться о публикации произведений ЛА. Помог случай: я познакомился с филологом-исследователем Ильёй Кукуем, сотрудником мюнхенского университета в Германии, который был знаком с произведениями ЛА и заинтересовался архивом. Илья Кукуй привлёк к работе над архивом Владимира Эрля, имеющего копию архива, и Петра Казарновского, автора дипломной работы о творчестве Аронзона. В 2006 году книга «Собрание произведений Леонида Аронзона» (далее «Собрание») в двух томах с комментариями составителей выходит в свет. Это было первое издание, опирающееся на оригинальные рукописи автора.

В Петербурге и Москве прошли презентации «Собрания», которое было признано в России лучшим поэтическим сборником 2006 года.

Ричард Маккейн в 2012 году издаёт произведения ЛА на английском языке, положив в его основу «Собрание» - «Life of a Butterfly: Collected Poems». Показательно изменение названия его переводов. Теперь – это «Жизнь бабочки».

Гизела Шультке и Марина Бордне, немецкие переводчики, нашли меня через интернет и сообщили, что они уже несколько лет занимаются переводом стихотворений Аронсона на немецкий язык, но имеют ограниченное число его произведений. Я подарил им «Собрание», и они в издательстве «Эрата» (Германия, Лейпциг) в 2008 году издают сборник переводов стихов ЛА на немецкий язык с параллельным русским текстом «Innenfläche der Hand».



В 2008 году выходит в свет «Венский альманах» № 62 (Германия, Мюнхен; редакторы – Илья Кукуй и Johanna Renate Döring) со статьями исследователей разных стран (Россия, Германия, США, Италия), посвященных творчеству ЛА, с переводами его стихов на несколько иностранных языков (английский, немецкий, сербский, польский, итальянский) и впервые опубликованными «Записными книжками» ЛА. Как отмечали литературные критики в статьях, опубликованных в газетах Германии, Швейцарии и Италии, выход «Альманаха» стало значительным литературным событием европейского масштаба.

В 2002-2009 годах выходят три аудио диска «Антологии современной русской поэзии» (издатель дисков - Александр Бабушкин, Пермь), где свои стихи читает сам ЛА, а также Виктория Андреева и Дмитрий Авалиани.

И наконец, в этом году вышел из печати сборник стихов ЛА для детей «Кому что снится и другие интересные случаи» с

моим предисловием. Составители сборника – известные авторитетные публикаторы произведений ЛА Владимир Эрль, Илья Кукуй и Пётр Казарновский.

Таковы краткое описание событий и перечень публикаций за годы, прошедшие со дня трагической смерти Леонида Аронзона (не включены публикации в периодике США, России, Израйля и Германии).

**Ниже приведена подборка стихов Леонида Аронзона.
Фотопортрет поэта выполнен Борисом Понизовским.**

Филадельфия, США, 2012

Псковское шоссе

Белые церкви над родиной там, где один я.
Где-то река, где тоска, затянув перешеек...
Чёрные птицы снуют надо мной, как мишени,
кони плывут и плывут, огибая селенья.
Вот и шоссе. Резкий запах осеннего дыма.
Листья слетели, остались последние гнёзда,
Рванный октябрь, и рощи проносятся мимо.
Вот и река, где тоска, что осталось за ними?

Я проживу, прокричу, словно осени птица,
низко кружась, все на веру приму, кроме смерти,
около смерти, как где-то река возле листьев,
возле любви и не так далеко от столицы.
Вот и деревья. В лесу им не страшно ли ночью?
Длинные фары пугают столбы, и за ними
ветки стучат и кидаются тени на рощи.
Мокрый асфальт отражается в коже любимой.

Всё остаётся. Так здравствуй, моя запоздалость!
Я не найду, потерю, но что-то случится.
Возле меня, да и после кому-то осталась
рваная осень, как сбитая осенью птица.
Белые церкви и бедные наши забавы!
Всё остаётся, осталось и, вытянув шею,
кони плывут и плывут, окунаются в травы,
чёрные птицы снуют надо мной, как мишени.
1961

Деревни деревянные, как шаток

настил мостков, где лёгкая стопа,
в пыли оставив слабый отпечаток,
ведёт меня, как смертника, к столбам.
И кажется: вот родина – ладонь,
собрание растительного царства,
где сходятся деревья, словно старцы,
на пиршество, на жертвенный огонь.

И медленен, как колокол, покой,
распластанный по выгнутым озёрам,
но, не достав до родины рукой,
я прижимаюсь к мёртвому простору
ночных полей. Как брошенный сосуд,
гудят поля далекими пирами,
и нища речь, и бык, застывший в камень,
лежит в траве, уставившись в росу.

Густою пеной заслан небосклон,
дрожат мостки, и воздух этот древний
с открытых настёж четырёх сторон
срывает шум с качнувшихся деревьев.
Скрипят, скрипят полночные стволы,
и крики птиц медлительней и реже,
всё исчезает в запахе смолы,
и чудится мне близость побережья.
1962

Лесничество

Не вождеаясь расстояньем
с холма, подъемлющего бор,
как бы в беспамятстве стоял я
один в лесничестве озёр.

Июль. Воздухоплаванье. Объём
обугленного бора. Редколесье.
Его просветы, как пролёты лестниц.
Олений мох и стебли надо лбом.
Кусты малины. Папоротник, змей
пристанище. Синюшные стрекозы.
Колодезная тишь. Свернувшиеся розы.
Сырые пни. И разъярённый шмель.

Таков надел, сторожка лесника.

Я в ней пишу, я под двумя свечами
мараю, чиркаю, к предутрию сличаю
с недвижимым лесом, чтоб любовь снискать
у можжевельника, у мелкого ручья,
у бабочек, малинника, у ягод,
у гусениц, валежника, оврага,
безумных птиц, что крыльями стучат.

В сырой избе меж столбиками свеч,
прислушиваясь к треску стеарина,
я вспоминаю стрёкот стрекозиный
и вой жука, и ящерицы речь.
В углу икона Троицы, и стол
углами почерневшими натянут,
на нём кухонный нож, бутылъ, стаканы,
пузатый чайник, пепельница, соль.

Кружат у свеч два пухлых мотылька.
Подсвечник, как фонтан оледенелый.
Хозяин спит, мне нужно что-то сделать,
подняться, опрокинуть, растолкать
хозяина, всю утварь, полумрак,
там, за спиной скрипящие деревья,
по пояс в землю врытые деревни,
сырой малинник, изгородь, овраг,
безумных птиц, всё скопище озёр,
сгоревший лес, шеренги километров...

Так вот вся жизнь, её итог засмертный:
два мотылька, малинник, свечи, бор.

19 августа 1963

Вроде игры на арфе чистое утро апреля.
Солнце плечо припекает, и словно старцы-евреи,
синебородые, в первые числа Пасхи,
в каждом сквере деревья, должно быть, теперь прекрасны.
Свет освещает стены, стол и на нём бумаги,
свет – это тень, которой нас одаряет ангел.
Всё остальное после: сада стрекозы, слава,
как, должно быть, спокойны шлемы церкви, оплывая
в это чистое утро, переходящее в полдень,
подобное арфе и кроме – тому, о чём я не помню.

5 апреля 1964

Послание в лечебницу

В пасмурном парке рисуй на песке моё имя, как при свече,
и доживи до лета, чтобы сплести венки, которые унесёт ручей.
Вот он петляет вдоль мелколесья, рисуя имя моё на песке,
словно высохшей веткой, которую ты держишь сейчас в руке.
Высока здесь трава, и лежат зеркалами спокойных небыстрых
небес
голубые озёра, качая удвоенный лес,
и вибрируют сонно папиросные крылья стрекоз голубых,
ты идёшь вдоль ручья и роняешь цветы, смотришь радужных рыб.
Медоносны цветы, и ручей пишет имя моё,
образуя ландшафты: то мелкую заводь, то плёс.
Да, мы здесь пролежим, сквозь меня прорастает, ты слышишь,
трава,
я, пришитый к земле, вижу сонных стрекоз, слышу только слова:
может быть, что лесничество тусклых озёр нашей жизни итог:
стрекотанье стрекоз, самолёт, тихий плёс и сплетенье цветов,
то пространство души, на котором холмы и озёра, вот кони бегут,
и кончается лес, и, роняя цветы, ты идёшь вдоль ручья по сырому
песку,
вслед тебе дуют флейты, рой бабочек, жизнь тебе вслед,
проводя тебя, все зовут, ты идёшь вдоль ручья, никого с тобой
нет,
ровный свет надо всем, молодой от соседних озёр,
будто там, вдалеке, из осеннего неба построен высокий и светлый
собор,
если нет его там, то скажи ради Бога, зачем
моё имя, как ты, мелколесьем петляя, рисует случайный,
небыстрый и мутный ручей,
и читает его пролетающий мимо озёр в знойный день самолёт,
может быть, что ручей – не ручей,
только имя моё.
Так смотри на траву, по утрам, когда тянется медленный пар,
рядом свет фонарей, зданий свет, и вокруг твой
безлиственный парк,
где ты высохшей веткой рисуешь случайный, небыстрый
и мутный ручей,
что уносит венки медоносных цветов, и сидят на плече
мотыльки камыша, и полно здесь стрекоз голубых,
ты идёшь вдоль воды и роняешь цветы, смотришь радужных рыб,
и срывается с нотных листов от руки мной набросанный дождь,
ты рисуешь ручей, вдоль которого после идёшь и идёшь.
Апрель 1964

Валаам

I

Где лодка врезана в песок,
кормой об озеро стуча,
где мог бы чащи этой лось
стоять, любя свою печаль,

там я, надев очки слепца,
смотрю на синие картины,
по отпечаткам стоп в песках
хочу узнать лицо мужчины.

И потому как тот ушедший
был ликом мрачен и безумен,
вокруг меня сновали шершни,
как будто я вчера здесь умер.

II

Где бледный швед, устав от качки,
хватался за уступы камня,
где гладкий ветер пас волну,
прибив два тела к валуну,
где шерстяной перчаткой брал я
бока ярящихся шмелей,
и чешуя ночных рыбалок
сребрила с волн ползущий шлейф,

и там я, расправляя лик твой,
смотрел на сны озёр и видел,
как меж камней стоял великий,
чело украсивший гордыней.

(Весна)1965

Бабочки

Над приусадебною веткой,
к жару полуденной воскреснув,
девичьей ленты разноцветной
порхали тысячи обрезков,
и куст сирени на песке
был трепыханьем их озвучен,
когда из всех, виясь, два лучших
у вас забились на виске!

(Лето)1965

Мадригал

Глаза твои, красавица, являли
не церкви осени, не церкви, но печаль их.
Какие-то старинные деревья
мне были креслом, ты – моей свирелью.
Я птиц кормил, я видел каждый волос
тех длинных лилий, что сплетал твой голос.
Я рисовал его на вязкой глине полдня,
потом стирал, чтоб завтра утром вспомнить.
(Осень) 1965

Лебедь

Вокруг меня сидела дева,
и к ней лицом, и к ней спиной
стоял я, опершись о древо,
и плыл карась на водопой.

Плыл карась, макет заката,
майский жук болотных вод,
и зелёною заплатой
лист кувшинки запер вход.

Лебедь был сосудом утра,
родич белым был цветам,
он качался тут и там.

Будто тетивою, круто
изгибалась грудь на нём:
он был не трелей соловьём!
(Март) 1966

Мадригал

Рите

Как летом хорошо – кругом весна!
То в головах поставлена сосна,
то до конца не прочитать никак
китайский текст ночного тростника,
то яростней горошины свистка
шмель виснет над пионами цветка,
то, делая мой слог велеречив,
гудит над вами, тонко вас сравнив.
(Лето) 1966

Утро

Каждый лёгок и мал, кто взошёл на вершину холма.
Как и лёгок и мал он, венчая вершину лесного холма!
Чей там взмах, чья душа или это молитва сама?
Нас в детей обращает вершина лесного холма!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
и вершину холма украшает нагое дитя!
Если это дитя, кто вознёс его так высоко?
Детской кровью испачканы стебли песчаных осок.
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был, дитя или ангел, холмов этих пленник,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,
на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там – душа, заключённая в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь!
Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях,
посмотри на вершины: на каждой играет дитя!
Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
это память о Боге венчает вершину холма!
1966

Где листья мертвенны и, тихо шевелясь,
колеблют надо мной поднятый воздух,
жеманны бабочки, стрекозы грациозны,
заполнен день гудением шмеля,
и ящерка, припавшая к песку,
ещё на миг нацелена в пространство,
тяжёлый жук, раздвоивший свой панцирь,
воспламенясь, озвучивает куст.

В объёме осени парадный сей костёл,
сей ровный свет, сей отражённый морем
огромный свет, и мысль моя растёт,
и рядом жизнь, и нет её со мною.
Здесь светлый день, шоссе, сгоревший лес,
меж листьев – лес, куда ни глянешь – листья,
лежи в траве, пока избыток мыслей
сведёт с ума иль просто надоест.

О, как просторна осень в светлый день
в осиннике, в высоком листопаде,
так вот итог! так что же ты утратил
и что обрёл, кусты рукой задев?
Какой-то день, какой-то тихий час,
ручей меж листьев и меж листьев небо,
лежи в траве и ничего не требуй,
к иной душе, к покою причастясь.

Вот светлый холм, подъемлющий тебя,
вот облака, спешащие так быстро,
что тени нет. Но всё-таки ты выслан,
но всё-таки, как осенью объят
весь этот лес, так ты объят иным
не этих мест привычным запустеньем,
не здесь твой сад, не здесь твои ступени
и весь твой путь, чтоб возвратиться к ним.
(1966)

1.

День с короткими дождями.
Мокрый сад под фонарями.
За его прямой оградой
в жёлтых листьях беспорядок.
Возвращённой тишины
окна вечера полны.
Поздно. Августа конец.
Ветви сада на стене.
Только ты светла, как будто
за окном июль и утро,
что увидел я, проснувшись
от громов, дождя и моря...

2.

Наш сад от ветра пострадал.
Ещё дождей ночных вода
с листа на лист, с листа на землю
спадает и поит песок,
но уже подняли лицо
цветов разогнутые стебли,
и утра влажного туман
уже поднялся над ветвями.
Как хорошо, любуясь Вами,
смотреть на мир, доступный нам!

3.

В нашей быстрой разговорной речи
трудно процитировать стихи.

Для стихов – условленные встречи,
свечи, сцены, тишина – для них.

Но в любой беседе, речь стреножа,
не пуская прочие слова,

на моих губах одно и то же:

полстроки – «Печаль моя светла!»

(1966)

Не сю, иную тишину,
как конь, подпрыгивая к Богу,

хочу во всю её длину
озвучить думами и слогом,

хочу я рано умереть
в надежде: может быть, воскресну,

не целиком, хотя б на треть,

хотя б на день, о день чудесный:
лесбийская струя воды

вращает мельницы пропеллер,
и деве чьи-то сны видны,

когда их медленно пропели,
о тело: солнце, сон, ручей!

соборы осени высоки,
когда я <в> трёх озёр осоке

лежу я Бога и ничей.
(1966?)

(1966?)

В пустых домах, в которых всё тревожно,

в которых из-за страха невозможно –

я именно в таких живу домах,

где что ни дверь, то новая фобия,

я в них любил и в них меня любили

и потерять любовь был тоже страх.

Любое из чудовищ Нотр-Дама

пустяк в сравненье, ну хотя бы с дамой,

что кем-то из времён средневековья

написана была на полотне,

затем сфотографирована мне,

как знак того, что мир живёт любовью.

Не говорю уже об утвари другой,
но каждая могла бы быть тоской,
которой нет соперниц на примете:
любая вещь имеет столько лиц,
что перед каждой об пол надо, ниц;
ни в чём нет меры, всё вокруг в секрете.

Не смею доверяться пустоте,
её исконной, лживой простоте,
в ней столько душ, не видимых для глаза,
но стоит только в сторону взглянуть,
как несколько из них или одну
увидишь через время или сразу.

И если даже глаз не различит
(увы, плохое зрение – не щит),
то явный страх на души те укажет.
И нету сил перешагнуть черту,
что делит мир на свет и темноту,
и даже свет, и тот плохая стража.

Не смерть страшна: я жить бы не хотел –
так что меня пугает в темноте?
Ужели инфантильную тревогу
мой возраст до сих пор не победил
и страшно мне и то, что впереди,
и то, что сзади вышло на дорогу?
(1966 или 1967)

Листание календаря

I

Как если б я таился мёртв
и в листопаде тело прятал,
совы и мыши разговор
петлял в природе небогатой,
и жук, виляя шлейфом гуда,
летел туда широкой грудью,
где над водою стрёкот спиц
на крыльях трепеща повис,
где голубой пилою гор
был окровавлен лик озёр,
красивых севером и ракой,
и кто-то, их узрев, заплакал
и, может, плачет до сих пор.

II

Гадюки быстрое плетенье
я созерцал как пенопенье
и видел в сумраке лесов
меж всем какое-то лицо.
Гудя вокруг собственного у,
кружил в траве тяжёлый жук,
и осы, жаля глубь цветка,
шуршали им издалека.
Стояла дева у воды,
что перелистывала лица,
и от сетей просохших дым
темнел, над берегом повиснув.

III

Зимы глубокие следы
свежи, как мокрые цветы,
и непонятно почему
на них не вижу я пчелу:
она, по-зимнему одета,
могла бы здесь остаться с лета,
тогда бы я сплетал венок
из отпечатков лап и ног,
где приближеньем высоки
ворота северной тоски
и снег в больших рогах лосей
не тронут лентами саней.

IV

И здесь красива ты была,
как стих «печаль моя светла».
1966

В поле полев я дышу.
Вдруг тоскливо. Речка. Берег.
Не своей тоски ли шум
я услышал в крыльях зверя?
Пролетел... Стою один.
Ничего уже не вижу.
Только небо впереди.
Воздух чёрен и недвижим.
Там, где девочкой ногой
я стоял в каком-то детстве,
что там, дерево ли, конь

или вовсе неизвестный?
(1967?)

Сонет в Игарку

Ал. Ал.

У вас белее наши ночи,
а значит, белый свет белей:
белей породы лебедей
и облака, и шеи дочек.

Природа, что она? подстрочник
с языков неба? и Орфей
не сочинитель, не Орфей,
а Гнедич, Кашкин, переводчик?

И право, где же в ней сонет?
Увы, его в природе нет.
В ней есть леса, но нету древа:

оно – в садах небытия:
Орфей тот, Эвридике льстя,
не Эвридику пел, но Еву!
(Июнь) 1967

I

На небе молодые небеса,
и небом полон пруд, и куст склонился к небу,
как счастливо опять спуститься в сад,
доселе никогда в котором не был.
Напротив звёзд, лицом к небытию,
обняв себя, я медленно стою...

II

И снова я взглянул на небеса.
Печальные мои глаза лица
увидели безоблачное небо
и в небе молодые небеса.
От тех небес не отрывая глаз,
любуюсь ими, я смотрел на вас...
Лето 1967

Напротив низкого заката,
дубовым деревом запряган,

глаза ладонями закрыв,
нарушил я покой совы,
что, эту тьму приняв за ночь,
пугая мышь, метнулась прочь.

Тогда, открыв глаза лица,
я вновь увидел небеса:
клубясь, клубились облака,
светлела звёздная река,
и, не петля между звёзд,
чью душу ангел этот нёс,
младенца, девы ли, отца?
Глазами я догнал гонца,
но, чрез крыло кивнув мне ликом,
он скрылся в тёмном и великом.
(Сентябрь?) 1967.

Видение Аронзона

На небесах безлюдье и мороз.
На глубину ушло число бессмертных.
Но караульный ангел стужу терпит,
невысоко петляя между звёзд.

А в комнате в роскошных волосах
лицо жены моей белеет на постели,
лицо жены, а в нём её глаза,
и чудных две груди растут на теле.

Лицо целую в темя головы.
Мороз такой, что слёзы не удержишь.
Всё меньше мне друзей среди живых.
Всё более друзей среди умерших.

Снег освещает лиц твоих красу,
твоей души пространство освещает,
и каждым поцелуем я прощаюсь...
Горит свеча, которую несу

на верх холма. Заснеженный бугор.
Взгляд в небеса. Луна ещё желтела,
холм разделив на тёмный склон и белый.
По левой стороне тянулся бор.

На чёрствый наст ложился новый снег.
То тут, то там топорщилась осока.
Неразличим, на тёмной стороне
был тот же бор. Луна светила сбоку.

Пример сомнамбулических причуд,
я поднимался, поднимая тени.
Поставленный вершиной на колени,
я в пышный снег легко воткнул свечу.
(Январь) 1968

Что явит лот, который брошен в небо?
Я плачу, думая об этом.
Произведением хвалебным
в природе возникает лето.
Поток свирепый водопада
висит, висит в сияньи радуг.
Повсюду расцвели ромашки.
Я их срываю проходя.
Там девочки в ночных рубашках
резвятся около дождя.
Себя в траве лежать оставив,
смотрю, как падает вода:
я у цветов и речек в славе,
я им читаю иногда.
Река, приподнята плотиной,
красиво в воздухе висит,
где я, стреноженный картиной,
смотреньем на неё красив.
На холм воды почти садится
из ночи вырванная птица,
и пахнет небом и вином
моя беседа с тростником.
(Март) 1968

Хорошо гулять по небу,
что за небо! что за ним?
Никогда я прежде не был
так красив и так маним!

Тело ходит без опоры,
всюду голая Юнона,

и музыка, нет которой,
и сонет несочинённый!

Хорошо гулять по небу.
Босиком. Для моциона.
Хорошо гулять по небу,
вслух читая Аронзона!
Весна, утро (1968)

Как стихотворец я неплох
всё оттого, что, слава Богу,
хоть мало я пишу стихов,
но среди них прекрасных много!
1968

Забывтый сонет

Весь день бессонница. Бессонница с утра.
До вечера бессонница. Гуляю
по кругу комнат. Все они, как спальни,
везде бессонница, а мне уснуть пора.

Когда бы умер я ещё вчера,
сегодня был бы счастлив и печален,
но не жалел бы, что я жил вначале.
Однако жив я: плоть не умерла.

Ещё шесть строк, ещё которых нет,
я из добытия перетащу в сонет,
не ведая, увя, зачем нам эта мука,

зачем из трупов душ букетами цветут
такие мысли и такие буквы?
Но я извлёк их – так пускай живут!
Май, день (1968)

Сонет душе и трупу Н. Заблоцкого

Есть лёгкий дар, как будто во второй
счастливый раз он повторяет опыт.
(Легки и гибки образные тропы
высоких рек, что подняты горой!)

Однако мне отпущен дар другой:
подчас стихи – изнеможенья шёпот,
и нету сил зарифмовать Европу,
не говоря уже, чтоб справиться с игрой.

Увы, всегда постыден будет труд,
где, хорошея, розаны цветут,
где, озвучив дыханием свирели

своих кларнетов, барабанов, труб,
все музицируют – растения и звери,
корнями душ разваливая труп!
Май, вечер (1968)

Вторая, третья печаль...
Благоуханный дождь с громами
прошёл, по-древнему звуча –
деревья сделались садами!

Какою флейтою зачат
твой голос, дева молодая?
Внутри тебя, моя Даная,
как весело горит свеча!

Люблю тебя, мою жену,
Лауру, Хлою, Маргариту,
вмещённых в женщину одну.

Поедем, женщина, в Тавриду:
хоть я люблю Зеленогорск,
но ты к лицу пейзажу гор.
(Июнь? 1968)

Рите

Хандра ли, радость – всё одно:
кругом красивая погода!
Пейзаж ли, улица, окно,
младенчество ли, зрелость года, –
мой дом не пуст, когда ты в нём
была хоть час, хоть мимоходом:
благословляю всю природу
за то, что ты вошла в мой дом!
(Сентябрь?) 1968

Приближаются ночью друг к другу мосты,
И садов и церквей блекнет лучшее золото.
Сквозь пейзажи в постель ты идешь, это ты
к моей жизни, как бабочка, насмерть приколата.
(1968)

Есть между всем молчание. Одно.
Молчание одно, другое, третье.
Полно молчаний, каждое оно –
есть матерьял для стихотворной сети.

А слово – нить. Его в иглу проденьте
и словонитью сделайте окно –
молчание теперь обрамлено,
оно – ячейка невода в сонете.

Чем более ячейка, тем крупней
размер души, запутавшейся в ней.
Любой улов обильный будет мельче,

чем у ловца, посмеющего сметь
гигантскую связать такую сеть,
в которой бы была одна ячейка!
(1968?)

Два одинаковых сонета

1

Любовь моя, спи, золотко моё,
вся кожей атласною одета.
Мне кажется, что мы встречались где-то:
мне так знаком сосок твой и бельё.

О, как к лицу! о, как тебе! о, как идёт!
весь этот день, весь этот Бах, всё тело это!
и этот день, и этот Бах, и самолёт,
летающий там, летающий здесь, летающий где-то!

И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг
усни, любовь моя, усни, не укрываясь:
и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик –
пусть всё уснет, пусть всё уснет, моя живая!

Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг,
отдайся мне во всех садах и падежах!

2

Любовь моя, спи золотко моё,
вся кожей атласною одета.
Мне кажется, что мы встречались где-то:
мне так знаком сосок твой и бельё.

О, как к лицу! о, как тебе! о, как идёт!
весь этот день, весь этот Бах, всё тело это!
и этот день, и этот Бах, и самолёт,
летающий там, летающий здесь, летающий где-то!

И в этот сад, и в этот Бах, и в этот миг
усни, любовь моя, усни, не укрываясь:
и лик и зад, и зад и пах, и пах и лик –
пусть всё уснет, пусть всё уснет, моя живая!

Не приближаясь ни на йоту, ни на шаг,
отдайся мне во всех садах и падежах!
(1969)

Пустой сонет

Кто вас любил восторженной, чем я?
Храни вас Бог, храни вас Бог, храни вас Боже.
Стоят сады, стоят сады, стоят в ночах,
и вы в садах, и вы в садах стоите тоже.

Хотел бы я, хотел бы я свою печаль
вам так внушить, вам так внушить, не потревожив
ваш вид травы ночной, ваш вид её ручья,
чтоб та печаль, чтоб та трава нам стала ложем.

Проникнуть в ночь, проникнуть в сад, проникнуть в вас,
поднять глаза, поднять глаза, чтоб с небесами
сравнить и ночь в саду, и сад в ночи, и сад,
что полон вашими ночными голосами.

Иду на них. Лицо полно глазами...
Чтоб вы стояли в них, сады стоят.
1969

Неушто кто-то смеет вас обнять? –

Ночь и река в ночи не столь красивы!
О, как прекрасной столь решиться быть смогли вы,
что, жизнь прожив, я жить хочу опять!

Я цезарь сам. Но вы такая знать,
что я в толпе, глазающей учтиво:
вон ваша грудь! вон ноги ей под стать!
и если лик таков, так что же пах за диво!

Когда б вы были бабочкой ночной,
я б стал свечой, летающей пред вами!
Блится ночь рекой и небесами.

Смотрю на вас – так тихо предо мной!
Хотел бы я коснуться вас рукой,
чтоб долгое иметь воспоминанье.
(Май–июль 1969)

Нас всех по пальцам перечесть,
но по перстам! Друзья, откуда
мне выпала такая честь
быть среди вас? Но долго ль буду?

На всякий случай: будь здоров
любой из вас! На всякий случай,
из перепавших мне даров,
друзья мои, вы – наилучший!

Прощайте, милые. Своя
на всё печаль во мне. Вечерний
сизу один. Не с вами я.
Дай Бог вам длинных виночерпий!
(Лето) 1969

Мой мир такой же, что и ваш, не знавших анаши:
тоска – тоска, любовь – любовь, и так же снег пушист,
окно – в окне, в окне – ландшафт,
но только мир души.
(1969)

На стене полно теней
от деревьев. (Многоточье)

Я проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?

В рай допущенный заочно,
я летал в него во сне,
но проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?

Хоть и ночи всё длинней,
сутки те же, не короче.
Я проснулся среди ночи:
жизнь дана, что делать с ней?

Жизнь дана, что делать с ней?
Я проснулся среди ночи.
О жена моя, воочью
ты прекрасна, как во сне!
(1969)

Увы, живу. Мертвецки мёртв.
Слова заполнились молчаньем.
Природы дарственный ковёр
в рулон скатал я изначальный.

Пред всеми, что ни есть, ночами
лежу, смотря на них в упор.
Глен Гульд – судьбы моей тапёр
играет с нотными значками.

Вот утешение в печали,
но от него еще страшней.
Роятся мысли, не встречаясь.

Цветок воздушный, без корней,
вот бабочка моя ручная.
Вот жизнь дана, что делать с ней?
Ноябрь 1969

Несчастно как-то в Петербурге.
Посмотришь в небо – где оно?
Лишь лета нежилой каркас
гостит в пустом моём лорнете.

Полулежу. Полулечу.
Кто там полудетит навстречу?
Друг другу в приоткрытый рот,
кивком раскланявшись, влетаем.
Нет, даже ангела пером
нельзя писать в такую пору:
«Деревья заперты на ключ,
но листьев, листьев шум откуда?»
(Ноябрь–декабрь) 1969

Всё лицо: лицо – лицо,
пыль – лицо, слова – лицо,
всё – лицо. Его. Творца.
Только сам Он без лица.
1969

Благодарю Тебя за снег,
за солнце на Твоём снегу,
за то, что весь мне данный век
благодарить Тебя могу.

Передо мной не куст, а храм,
храм Твоего куста в снегу,
и в нём, припав к Твоим ногам,
я быть счастливей не могу.
(1969)

Не ты ли, спятивший на нежном,
с неутомимостью верблюжьей
прошел всё море побережьем,
ночными мыслями навьюжен?
И не к тебе ли без одежды
спускался ангел безоружный
и с утопической надеждой
на упоительную дружбу?

Так неужели моря ум
был только ветер, только шум?
Я видел: ангел твой не прячась

в раздумье медленном летел

в свою пустыню, в свой надел,
твоим отступничеством мрачный.
(1969 или 1970)

Сквозь форточку – мороз и ночь.
Смотрю туда, в нору.
А ты, моя жена и дочь,
сидишь, не пряча грудь.

Сидишь в счастливой красоте,
сидишь, как в те века,
когда свободная от тел
была твоя тоска.

Вне всякой плоти, без оков
была твоя печаль,
и ей не надо было слов –
была сплошная даль.

И в этой утренней дали,
как некий чудный сад,
уже маячили земли
хребты и небеса.

И ты была растворена
в пространстве мировом,
ещё не пенилась волна,
и ты была кругом.

Крылатый зверь тобой дышал
и пил тебя в реке,
и ты была так хороша,
когда была никем!

И, видно, с тех ещё времён,
ещё с печали той,
в тебе остался некий стон
и тело с красотой.

И потому закрыв нору,
иду на свой диван,
где ты сидишь, не пряча грудь

и весь другой дурман.
(1969 или 1970)

Ещё в утренних туманах
твои губы молодые.
Твоя плоть богоуханна,
как сады и как плоды их.

Я стою перед тобою,
как лежал бы на вершине
той горы, где голубое
долго делается синим.

Что счастливее, чем садом
быть в саду? И утром – утром?
И какая это радость
день и вечность перепутать!

Красавица, богиня, ангел мой,
исток и устье всех моих раздумий,
ты летом мне ручей, ты мне огонь зимой,
я счастлив оттого, что я не умер
до той весны, когда моим глазам
предстала ты внезапной красотой.
Я знал тебя блудницей и святою,
любя всё то, что я в тебе узнал.
Я б жить хотел не завтра, а вчера,
чтоб время то, что нам с тобой осталось,
жизнь пятилась до нашего начала,
а хватит лет, ещё б свернула раз.
Но раз мы дальше будем жить вперёд,
а будущее – дикая пустыня,
ты в ней оазис, что меня спасёт,
красавица моя, моя богиня.
(Начало 1970)

Боже мой, как всё красиво!
Всякий раз, как никогда.
Нет в прекрасном перерыва.
Отвернуться б, но куда?

Оттого, что он речной,
ветер трепетный прохладен.
Никакого мира сзади:
что ни есть – передо мной.
(Весна? 1970)

В двух шагах за тобою рассвет.
Ты стоишь вдоль прекрасного сада.
Я смотрю – но прекрасного нет,
только тихо и радостно рядом.

Только осень разбросила сеть,
ловит души для райской альковни.
Дай нам Бог в этот миг умереть
и, дай Бог, ничего не запомнив.
(Лето 1970)

Как хорошо в покинутых местах!
Покинутых людьми, но не богами.
И дождь идёт, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.

И дождь идёт, и мокнет красота
старинной рощи, поднятой холмами.
Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!

Мы тут одни, нам люди не чета.
О, что за благо выпивать в тумане!
Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идём за нами.

Запомни путь слетевшего листа
и мысль о том, что мы идём за нами.
Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?

Кто наградил нас, друг, такими снами?
Или себя мы наградили сами?
Чтоб застрелиться тут, не надо ни черта:
ни тяготы в душе, ни пороха в нагане.

Ни самого нагана. Видит Бог,
чтоб застрелиться тут, не надо ничего.
(Сентябрь 1970)



Лариса Миллер

«СТИХИ ГУСЬКОМ»

Книга XI: октябрь 2012 г. - ноябрь 2012 г.

30 ноября 2012 г.



х, быть безмозглой, как щенок,
Как он – весёлой и шkodливой,
Чтоб даже окрик и пинок
Не помешали быть счастливой,
Чтоб, обитая под мостом,
На скучном месте, ставшим свалкой,
Крутя доверчиво хвостом,
Гоняться за котом и галкой.
2012

28 ноября 2012 г.

Не пойму то ли счастье в избытке,
То ль меня обобрали до нитки,
То ли я на победном щите,
То ли в горестях и в нищете,
То ли даль так призывно сияет,
То ли близкая бездна зияет.
2012

Ну вот и мы внесли свои пожитки
В огромный дом, где было всё в избытке
Ещё до нас, где гибли и цвели,
В любви клялись и клятву нарушали,
Впадали в ересь, берегли скрижали
И верили, что лучшее вдали.
Но что нам тяжкий опыт всех веков
И знание иных тысячелетий,
Когда мы снова не находим слов

И немые, точно первые на свете,
Перед лицом и счастья, и утрат.
И в доме, что Овидий и Гораций
Воспели и оплакали стократ,
Как братья за перо? И как не братья?
1971

27 ноября 2012 г.

Так и не зная, что она за зверь –
Морока эта – выскользнуть за дверь,
Исчезнуть с бестолковой вечеринки,
Оставив шарфик шёлковый на спинке
Дивана, стула, всё равно чего.
Пусть служит доказательством того,
Что я жила и что я тоже, тоже
Была во все круги земные вхожа.

2012

26 ноября 2012 г.

Хотелось бы осенью поздней недужной и хлипкой
Проснуться в предутренней мгле с беспричинной
улыбкой,
И чтоб в этих сумерках ранних мне что-то светило,
И чтобы улыбки счастливой надолго хватило.

2012

25 ноября 2012 г.

Я петь не могу, лишь могу напевать
Вполголоса или без голоса вовсе.
Я даже могу в эту позднюю осень,
Где долгая темень, на свет уповать.
И эту способность в себе берегу,
Как песню, что слышу, но спеть не могу.

2012

Храни молчание. Хранить
Его куда трудней, чем нить
Воспоминаний, разговоров,
Храни молчание от сора
Словесного. Не проронить
Ни слова – трудно, но продли
Молчание до той вдали
Маячащей миражной встречи,

Где тишина уже часть речи,
А небо – это край земли.

1996

24 ноября 2012 г.

И даже дома захотев остаться,
Продолжу, тем не менее, скитаться.
Спасибо, что не по чужим углам,
А в тех стенах, где мой родимый хлам:
Торшер, трюмо, ребячье одеяльце,
Скрипучий стул. Мы – вечные скитальцы
Из мига в миг, из часа в новый час,
Где не было живой души до нас.

2012

Давайте в черный день подумаем о снеге,
О медленном его и неустанном беге.
Летучие снега раскидывают сети...
Давайте в черный день подумаем о свете,
О будущем светло и ясно о минувшем.
Огромное крыло над озером уснувшим
Отбрасывая тень, в безмолвии качнется,
И сгинет черный день, и белый день начнется.

1990

21 ноября 2012 г.

Я места здесь себе не нахожу,
Наверно, потому что нет мне места.
Я, очевидно, из другого теста,
Другому миру я принадлежу.
И всё ж из мира чуждого, сего
Нет сил уйти на поиск своего.

2012

* * *

В ясный полдень и в полночь, во тьме, наяву
От родных берегов в неизвестность плыву,
В неизвестность плыву от родного крыльца,
От родных голосов, от родного лица.
В неизвестность лечу, хоть лететь не хочу,
И плотней к твоему прижимаюсь плечу.
Но лечу. Но иду. Что ни взмах, что ни шаг -
То невиданный свет, то невиданный мрак,
То невиданный взлёт, то невиданный крах.

Мне бы медленных дней на родных берегах,
На привычных кругах. Но с утра до утра,
Заставляя идти, дуют в спину ветра.
Сколько раз ещё свет поменяется с тьмой,
Чтобы гнать меня прочь от себя от самой.
Умоляю, на спаде последнего дня
Перед шагом последним оклики меня.
1974

20 ноября 2012 г.

На завтра планов никаких,
На послезавтра, впрочем, тоже.
Какое счастье, Боже, Боже,
Гулять среди ветвей нагих
В последних числах ноября,
Чьи так непостоянны планы:
То снегопады, то туманы,
То прямо вешняя заря.
2012

Плохо дело, плохо дело.
За ночь роща поредела,
И случившийся пробел
Дождик штопал, как умел.
Штопал жиденькою штопкой,
Нитью рвущейся и робкой.
Дождь, цепляясь за кору,
Штопал каждую дыру.
Мир со множеством отверстий
Ветер гладил против шерсти,
Супротив да супротив,
Ветви голые скрутив
До болезненного хруста...
Свято место нынче пусто,
И витают, где бело,
Только ветер да крыло.
1982

Аудио - № 17 на: <http://www.larisamiller.ru/disk2.html>

19 ноября 2012 г.

Ну что вам – жалко? Что вам – жалко,
Что я пишу с утра до ночи

Стишок, короткий, как считалка,
А иногда ещё короче?
И что пишу – хотите верьте,
Хотите нет, - я с наслаждением,
И, даже если стих о смерти,
Я говорю ему: «С рождением!».
2012

А пока из этой жизни нас не выбили
Вижу иву, что согнулась в три погибели,
Вижу иву серебристую, плакучую,
Примоститься рядом с нею рада случаю,
Примоститься рядом с ивою над речкою,
Где плывут овечка следом за овечкою,
То есть облако пушистое за облаком –
Жизнь морочит нас своим смиренным обликом.
И гляжу я на нее глазами кроткими...
Что-то дни опять становятся короткими,
Но куда ни гляну – всюду золото чистое,
Исключение лишь ива серебристая.
1995

Аудио: № 32 на <http://www.larisamiller.ru/disk1.html>
17 ноября 2012 г.

День прожить, его не видя,
Как письмо не распечатать.
Он на нас в большой обиде,
Хоть привык обиду прятать.
Всё, что он принёс с собою:
Птичий гомон, свежий ветер,
Солнце, небо голубое –
Ты, как прежде, не заметил,
Нянча лишь свои напасти.
И ушёл он, причитая.
В общем, ты письмо про счастье
Бросил в урну, не читая.
2012

И я сгораю в том огне,
Что отражен в моем окне
В час заревой и час закатный,
И жизнь, дарованная мне,
Не мнится больше необъятной.

Горят, охвачены огнем
Непобедимым, день за днем,
Горят и гаснут дни и годы.
Сей мир – души не чаю в нем,
Хоть он лишил меня свободы,
Не дав спокойствия взамен.
Какой чудесный феномен –
Любить лишь то, что душу ранит:
Над пропастью опасный крен,
Существование на грани
Невесть чего. Исхода нет.
Любовь? Она лишь стылый след.
Покой? Но он нам только снится.
Так что же есть? Небесный свет,
В котором облако и птица.

1993

14 ноября 2012 г.

А изюминка в том, что от мира совсем не убудет,
Если нас в этом мире воспетом, отпетом не будет.
А ведь нас в нём не будет. Бессмертия нам не сулит
Абсолютно никто, что, ей-богу, меня веселит,
Так как краткость визита эмоции все обостряет,
И вопрос очень вечный и очень больной заостряет.
То есть, жизни земной, что так рвётся зайти за черту,
Ненавистная эта черта придаёт остроту.

2012

* * *

Церемония ранних часов,
Звон посуды и шум голосов,
Умывание сонного чада.
Неизменность простого обряда,
Повторение жизни с азов,
С ранних проблесков, с первых минут,
С тех, к которым доверчиво льнут...
И заклатьем от гибельных сроков -
На стене расписание уроков:
География, чтение, труд...

1985

11 ноября 2012 г.

Сергею Гандлевскому

Боюсь, что я не потяну.

Не потяну ни то, ни это,
Ни музыку, ни тишину,
Ни зиму близкую, ни лето,
Ни триста с гаком дней в году,
Что моего хотят участия,
Ни непостижную беду,
Ни ослепительного счастья.

2012

Не держись, - сказали мне, - отпусти,
Шалый ветер ты зажала в горсти.
Не держись, - сказали мне, - не держись,
Это дым, который тянется ввысь.
Не держись, - сказали мне, - что за блажь?
Это вовсе не стена, а мираж.
Нет опоры никакой и нигде.
Только лунная тропа на воде.

1993

10 ноября 2012 г.

Пока я обретаюсь тут,
Часы, мудрейшие, как сутры,
Показывают, что ни утро,
Ноль-ноль часов, ноль-ноль минут,
Стирая всё, что намело
Иросло, и набежало,
И всё, что поперёк лежало,
И всё, что, вроде бы, вело
К желанной цели, в энный раз
Напомнив: «С жизнью осторожней:
Она ведь – то ли рейс порожний,
То ль мигов золотой запас».

2012

Такие сны бывают редко.
Во сне моём любая ветка
Роняет лист, едва задену.
Сбивает ветер листья в пену
И эту пену золотую
Возносит на гору крутую.
И коль взойдёшь на эту гору,
Откроется такое взору,
Что не расскажешь, как ни бейся.

Смотри и плачь. Смотри и смейся.

1983

8 ноября 2012 г.

Судьба мне хочет старость впарить,
Но не беру я, не беру.

Я не хочу в чужом пиру,

От рюмки захмелев, кемарить

И слышать чьи-то голоса,

И песенки знакомой ноту,

И смех весёлый – сквозь дремоту,

Когда нет сил открыть глаза.

2012

Купальщиков схлынул поток.

Забвение – грустный итог

Сезонных забав и пирушек.

И к берегу стынущих вод

Сегодня никто не придёт

Для отдыха и постирушек,

Не ступит на мокрый песок

И в тот приозёрный лесок,

Где дуб и берёза с осиной

На склоне осеннего дня

Своею печалью меня

Опутали, как паутиной.

1967

7 ноября 2012 г.

Сегодня 95-летие Великой Октябрьской Социалистической
Революции

“Bring out your dead”

(“Выносите своих мертвецов”)

Клич могильщика во время эпидемии чумы.

Англия 14 век.

Предъявите своих мертвецов:

Убиенных мужей и отцов.

Их сегодня хоронят прилюдно.

Бестелесных доставить нетрудно.

Тени движутся с разных концов.

Их убийца не смерч, не чума -

Диктатура сошедших с ума.

Их палач – не чума, не холера,

А неслыханно новая эра,
О которой писали тома.
Не бывает ненужных времён.
Но поведай мне, коли умён,
В чём достоинство, слава и сила
Той эпохи, что жгла и косила
Миллионы под шелест знамён.
1988

Немного прозы: «квартирные» выставки, песни Петра Старчика,
его арест и чудесное освобождение, Лубянка, обыск, «Где живет
Лариса Миллер?»: <http://www.larisamiller.ru/domadres.html>

А также:

- «Спасибо тебе, государство», Стихи, «Новая газета», 22.08.2011:
<http://www.novayagazeta.ru/comments/48135.html>

- «Резец века», стихи, «Новая газета», 10.10.2011:
<http://www.novayagazeta.ru/comments/48869.html>

6 ноября 2012 г.

Мне жить на свете так идёт!
Идёт мне осень золотая.
Она на мне ну как влитая,
К тому ж на музыку кладёт
Мои стихи. Да и зима
Идёт мне, да и краски лета.
Мне вообще к лицу вся эта
Божественная кутерьма.
2012

5 ноября 2012 г.

И я, и я хочу пробиться,
И мне необходим успех,
Хочу признания добиться
У всех берёз и клёнов всех,
У всех полей, у всех оврагов,
Где я брожу в начале дня.
Хочу поверить: столько флагов
Шуршащих, ярких – в честь меня.
2012

4 ноября 2012 г.

Посвящается фильму Феллини
«Ночи Кабирии»

А жизнь – она божественна. Она
Способна, позабыв про все угрозы,
Нам улыбаться солнечно сквозь слёзы
С небес высоких и с земного дна.
И тушь стекает по её щекам,
И дёргаются губы от обиды,
Но счастье вновь на нас имеет виды,
И горю нас слабо прибрать к рукам.
2012

Земля совсем не для того,
Чтоб было нам куда приткнуться,
А лишь – чтоб было от чего
Однажды с силой оттолкнуться,
Похерив взгляд её косою
И толчею, и график плотный.
Земля затем, чтоб полосой
Нам послужить – счастливой, взлётной.
2012

3 ноября 2012 г.

Как добиться взаимности, Господи, как
Сделать так, чтоб меня полюбил этот ветер,
Чтоб взаимностью дождик осенний ответил
И ревниво отслеживал каждый мой шаг,
Чтобы тени спешили за мной по пятам,
Чтобы кто-то неведомый ждал где-то там?
2012

Кто придумал бересклет?
Он стоит здесь много лет,
Никуда не улетает,
То цветёт, то отцветает.
Я знакома с ним давно,
Но люблюсь всё равно.
Рад и он коротким встречам.
Подтвердить мне это нечем.
2008

2 ноября 2012 г.

Ах, время, прекрасно, что ты – не зануда.
Ты к гибкости хочешь и нас приучить.
То рвёшься подарок бесценный вручить,
То чуть не взашей прогоняешь отсюда.
Ты учишь нас жить то в аду, то в раю.
Ах, нам бы изменчивость, лёгкость твою.
2012

Не под музыку, нет, а под звон тишины
И при свете колеблемой снежной стены
Жизнь идёт и идёт, на ходу истончаясь.
День текущий от прежнего не отличаюсь,
Заманил, закружил меня, посеребрил.
Ты когда-то о времени мне говорил.
Говорил мне когда-то, что времени нету,
И, о сроках забыв, я блуждаю по свету,
За кружащимся ангелом белым слежу
И сквозь снежную стену легко прохожу.
2008

31 октября 2012 г.

А если наша жизнь – сражение,
То мы попали в окружение,
И факт упрямый налицо:
Нас взяли в плотное кольцо –
Нас окружили сосны, ели,
Собаки, люди, дни недели,
А сверху облачная рать
Нам не даёт кольцо прорвать.
2012

30 октября 2012 г.

Этой ночью я стих заспала, как ребёнка.
Всё в нём было, наверное, хрупко и ломко.
И в какой-то момент он дышать перестал
И ребёнком моим драгоценным не стал.
Ни размера, ни рифмы - куда-то всё делось.
А ведь как ему, бедному, жить-то хотелось.
2012

29 октября 2012 г.

Земля плывёт и небеса крошатся,
Всё зыбится. Ну как не сокрушаться?
Ну как не тосковать, не горевать?
Ну как друг друга нам не согреть?
Как можно упустить счастливый случай
Согреть друг друга хоть слезой горячей?
2012

Проснуться вновь на белом свете,
Где ты живёшь и наши дети,
И, значит, я могу опять
Здесь всех увидеть и обнять,
В дела с головкой окунуться,
А завтра вновь сюда вернуться
К моим родным на белый свет.
И кто сказал, что чуда нет?
2009

28 октября 2012 г.

А небо тоже член семьи.
Я о небесном так забочусь,
Что на земном часов с семи
Никак я не сосредоточусь.
Едва проснусь – глаза горят.
Пора тонуть в лебяжьем пухе,
Небесной радуясь игре,
Грустя, коль небеса не в духе.
2012

Всё чисто, тихо, гармонично.
Я убедилась в этом лично.
Тихи снега и облака.
Не поднимается рука
Писать об этом мире плохо.
Какая б ни была эпоха,
Но плакаться в такие дни
И ночи – Боже сохрани.
2009

27 октября 2012 г.

А что здесь неискоренимо,
Хранимо и неистребимо,
Как небо и земная твердь?
Быть может, жизнь? А может, смерть?
А, может быть, и то и это?
Они, мечтая как бы вето
Им друг на дружку наложить,
Не могут друг без друга жить.

2012

И всё куда-то я иду
И дую в старую дуду,
Играю три привычных ноты,
А мне в ответ: «Уймись, ну что ты?
Ну жизнь, ну смерть, ну ночь, ну день.
Уймись, ну как тебе не лень?»

2009

26 октября 2012 г.

О, как я хочу, чтобы все поголовно
Любили меня и дышали неровно
Ко мне, и шептали: «Очей моих свет».
Чем плохо? И я бы шептала в ответ
Взволнованно что-нибудь нежное очень.
Я это стихами и делаю, впрочем.

2012

25 октября 2012 г.

Вплывай, как облако, врывай
В зарю. Меж днями нет порога,
Границы, за которой строго
Следят. На цельность уповай.
Вчера, сегодня – всё мираж.
Любые времена и сроки –
Всего лишь трепетные строки
Творца. Его порыв, кураж.

2012

24 октября 2012 г.

Идти по встречной полосе
По свежавыпавшей росе,

Чтоб встречным ветром обдувало,
Чтоб вечно что-то не давало –
Хотя б шальные ветры те –
К последней подойти черте.

2012

Повернулась земля на незримой оси.
Тихий дождь моросит. Мороси, мороси.
Мне с тобой веселей. Ты ведь мой собеседник
Да к тому же меж мною и небом посредник.

2007

22 октября 2012 г.

1.

Земля не держит нас, не держит,
Не держит, когда утро брезжит,
Не держит, когда ночь царит.
А в листопад земля горит
С холмами всеми, берегами
У нас с тобою под ногами.

2.

Земля не держит нас, не держит,
Не держит, когда утро брезжит,
Не держит, когда ночь царит.
«Пари, как этот лист парит,
И не привязывайся к дому», -
Земля могла б сказать любому,
Добавив вслед для куражу:
«Летай себе, я не держу».

2012

21 октября 2012 г.

А всё от того, что нам дома никак не сидится.
Философ сказал, что причина всех мыслимых бед
Лишь в том, что охота нам, суетным, встать, нарядиться
И выйти куда-нибудь в общество, на люди, в свет.
А если б сидели спокойно и книжку листали
Иль в окна глядели, как дождик пошёл, перестал
И снова пошёл, мы тогда б никого «не достали»,
И нас бы, наверно, никто бы тогда «не достал».

2012

И вчера я здесь была,

И тропа меня вела,
Тень моя перемещалась.
Я ходила и прощалась
С мигом сладостным, земным,
Ускользящим, как дым.
От забвенья защищала,
Долго помнить обещала.
2006

19 октября 2012 г.

«НГ-Exlibris», 18 октября 2012 г.

Лариса Миллер

Горячей галькой к морю выйду

Полуулыбка Таиах, фаюмочка и затонувший град Китеж
Прочитала в «НГ-Exlibris» за 4 октября репортаж о
десятом «Волошинском сентябре» в Коктебеле. Масштаб
фестиваля поражает. Замечательно, что много молодых
участников. Угнетает состояние Коктебеля, море, отравленное
канализационными отходами... И мне захотелось поделиться
воспоминаниями о другом Коктебеле 51 год тому назад, о
встречах с Марией Степановной Волошиной, о дружбе с
замечательным Виктором Андрониковичем Мануйловым – одним
из основателей музея в доме поэта...

И вот я поднимаюсь по скрипучим ступенькам на второй
этаж. Мария Степановна, маленькая, коренастая, седая, коротко
стриженная, радушно встречает Таню, которую знает давно. Она,
не приглашая нас в комнату, усаживает тут же на веранде, садится
рядом, подвернув под себя ногу, и принимается расспрашивать
Таню о Москве. Я разглядываю древесные корни, висящие на
стенах дома. Они похожи на фигурки бегущих животных и
танцующих людей. Заметив мой взгляд, Мария Степановна сняла
один корень и протянула его мне. «Габриак», – услышала я
странное слово. Так коктебельцы назвали эти фигурки. Я гладила
корень, а Мария Степановна рассказывала историю придуманной
Волошиным загадочной поэтессы Черубины де Габриак. Мимо
дома тек пестрый, летний, людской поток, слышалась музыка,
доносился запах съестного. Мария Степановна с горечью говорила
об исчезающем Коктебеле, о том, что его безбожно уродуют и
терзают. Все иное: море, берег, звуки, запахи.

Но в следующие свои приезды я вспоминала Коктебель
61-го как девственную и безнадежно утраченную планету с еще не
исчезнувшими окончательно разноцветными камушками на берегу,
с диким кизилом и вечерними цикадами в горах, с морскими

бухтами, куда добирались на лодках или пешком, с табачной плантацией на пути к Мертвой бухте...

Подробнее: http://exlibris.ng.ru/kafedra/2012-10-18/4_koktebel.html

Тебя помилуют, не бойся.

Ложись и с головой укройся.

Ложись и спи лицом к стене.

Ночной покой всегда в цене.

Дыши всю ночь легко и ровно.

Да будут те, с кем связан кровно,

Хранимы ангелом самим.

Да будет ангел сам храним.

2007

18 октября 2012 г.

А любовь до того молода, до того молода,

У неё всегда счёт на мгновения, не на года.

А любовь до того молода и легка на подъём,

Что шутя покидает того, с кем ей было вдвоём,

Хорошо и тепло. А любовь так легка и юна,

Что, убив, не способна понять, что убила она.

2012

Этих дней белоснежная кипа.

В перспективе – цветущая липа,

Свет и ливень. Не диво ль, не диво,

Что жива на земле перспектива?

С каждым шагом становятся гуще

Чудо-заросли вишни цветущей,

Птичьи трели слышнее, слышнее,

А идти все страшнее, страшнее.

Ведь осталась любовь неземная

За пределами этого рая.

1977

15 октября 2012 г.

А, может, прав философ Диоген,

Что он, бомжюя, поселился в бочке,

Чем и довёл простую мысль до точки:

Мол, все границы тутошние - плен.

А бочка - она круглая, она

Куда угодно может укатиться,

Ей всюду хорошо, ей всё годится -

И твёрдая поверхность и волна.
«Куда влечёт меня свободный ум...» -
Не Диоген ли - тайный вдохновитель
Строки вольнолюбивой. Ах, обитель,
Покинуть бы тебя и наобум
Отправиться незнамо что искать
Незнамо где. И корни не пускать.
2012

Ко мне относятся нестрого:
Дарован дом, дана дорога –
Земное золотое дно.
Да мало ли что мне дано?
И мне никто не угрожает,
Меня заботой окружают,
И нежный шёпот всё слышней,
А мне чем дальше, тем страшней.
2007

14 октября 2012 г.

Люблю плестись в хвосте событий,
Люблю смотреть, плетясь в хвосте,
Как уйма серебристых нитей
Дождя запутались в кусте,
Как листья, в пустоту ныряя
Под грузом капель дождевых,
Кружась и тихо умирая,
Пленяют танцем нас живых.
2012

12 октября 2012 г.

В который раз изобретать
Колёса, лампочку и порох,
И крылья, чтоб на них летать,
Плодя стихов бескрылых ворох,
Где кровь – любовь миллионный раз
Рифмуются. О Боже, пыла
Не охлаждай. Не мучай нас,
Не говори, что всё уж было.
2012

Я проснулась рано, в пять.
Поглядела – дождь опять.

Дождик серенький, негромкий.
Нахожусь на самой кромке
Яви призрачной пока.
Под щекой моя рука.
По окошку дождь стекает.
Это время истекает.
Загуманилось стекло.
Это время истекло.
2007

11 октября 2012 г.

Вы помните, куда мы едем?
Ну да, в далёкие края.
А кто мы – знаете? Соседи,
Как нам поведал, не тая,
Создатель песенки старинной.
С тех пор и едем тра-та-та.
Дорога оказалась длинной,
Зато короткими лета.
К тому же кот шипит соседский,
Не отличаясь добротой,
К тому ж маршрут совсем не детский -
Весьма ухабистый, крутой.
2012

Поманили снова дали,
Снова листья нашептали
И опять я верю им,
Что любой из нас храним
И любим на этом свете.
Верю в то, что все мы дети,
И пока хлопочем тут
Где-то там нас очень ждут.
2007

10 октября 2012 г.

Я каждый новый день люблю, как плод запретный.
Меня могло не быть, а значит и его.
Как сладко разгадать и код его секретный
И ключик подобрать ко всем до одного
И дверцам и ларцам. Но если даже нету

Ни клада, ни ларца, ни прочих тайников,
То значит, я могу порадоваться свету
И пению скворца, и лепке облаков.
2012

Малютка жизнь, дыши
Арсений Тарковский.

Я под утро сплю так чутко.
Тихо дышит жизнь – малютка.
Дышит, крылышки сложив.
Я жива. Ты тоже жив.
И смешались наши вздохи.
Нет ни века, ни эпохи.
Лишь в рассветном серебре
Двое спящих на заре.

2007

08 октября 2012 г.

Бог знает где, Бог знает как,
Лишь Бог и знает. Как чудесно,
Что нам всё это неизвестно,
И стоит только сделать шаг,
Как вдруг - возможность велика -
Несчастье счастьем обернётся,
И всё, что рушилось, взметнётся
Стремительно под облака.

2012

Любить душой неутолённой
Край неба вечно удалённый.
Край неба – алые мазки –
Любить до боли, до тоски.
Любить любовью безнадежной
Небесный край. Его тревожный
Меняющий оттенки цвет,
Сходящий медленно на нет.

2006

06 октября 2012 г.

Молчанье знает всё о свойствах звука,
О свойствах встречи ведает разлука,
О свойствах счастья ведает тоска,
И к смерти жизнь немислимо близка.

И говорить о высях бесполезно
С тем, кто не знает, что такое бездна.

2012

А вечность – это море тьмы,
Где нет ни лета, ни зимы,
Ни вех, ни времени, ни даты.
Куда ты, маленький, куда ты?
Смотри, утонешь в темноте.
А, может, все слова не те.
И вечность – это море света,
В которое впадает Лета.

2007

04 октября 2012 г.

И мнится мне, спустя года,
Что я светила вполнакала,
Что я перо своё макала,
Увы, куда-то не туда.
Мне мысль так трудно выносить,
Что жизнь я слушала вполуха
И что теперь не хватит духу
И сил её переспросить;
Что я шагала вполноги,
Вполглаза я вокруг глядела,
И, коль Тебе до нас есть дело,
О, Господи, то помоги
Здесь задержаться. Ведь сейчас
Я точно знаю, чем заняться,
И мне такие выси снятся,
И так остры мой слух и глаз.

2012

А далее, далее – с красной строки,
С дыхания свежего, с лёгкой руки,
С рассветного блика, с дрожащей росинки,
С замысленной, но не рождённой картинки,
Со звука, что только что был тишиной
И с линии рвущейся, волосяной.

2007

03 октября 2012 г.

Ты что рычишь, мой дикий век?

Ну говори, как человек.
Скажи, чего от нас ты хочешь?
Ты просто нервы нам щекочешь?
Свой норов хочешь показать?
Свои причуды навязать,
Чтоб часом мы не заскучали?
А, может, это мы рычали?
А, может, это наш оскал?
А, может, ты нас зря впускал?
И не от нашего ли рыка
Ты озираешься так дико?

2012

Подумать как бедные люди живут,
Какое мучение жизнью зовут,
Как непостигаемы, невыносимы
Их дни скоротечные, вёсны и зимы.
Зачем в час творения создал Господь
Ранимую душу, ранимую плоть,
И мукой земной искажённые лица,
И жаркую кровь, что готова пролиться?

2007

02 октября 2012 г.

Я люблю разводить канитель,
Например, со словами возиться,
Так, чтоб вдруг с головой погрузиться
В восемь строчек на много недель,
Чтоб все дни на свету и во мгле
Перекраивать их и мурыжить.
Нету лучшего средства, чтоб выжить
В этом веке на этой земле.

2012

Жизнь оказалась быстротечной,
А ты достоин жизни вечной,
Как появившийся на свет
Тобой написанный букет,
Роскошный на небесном фоне
Букет гортензий и бегоний,
Букет, что радует сердца,
Не помня своего творца.

2006

01 октября 2012 г.

Всё празднуй, всё. Проснулся на заре,
Открыл глаза - будь счастлив, что проснулся,
Что ты опять к себе домой вернулся,
Пусть даже будни на календаре,
Пусть ты застрял во временах тугих,
Пусть дождь и хмарь - попробуй наслаждаться
Живым дождём. Ведь можно не дожидаться
Вовек причин и поводов других.

2012

Все страньше и страньше...

"Алиса в стране чудес"

Всё страньше жизнь моя и страньше,
Еще странней она, чем раньше,
Еще причудливей, чудней,
Еще острее тоска по ней -
- Чудной и чудной. Что же дальше?
А дальше - тишина, стена...
Смотри-ка, лампа зажжена
В чужом окне, где жизнь чужая
Проходит, старый провожая
И привечая новый миг.
Попробуй не сорвись на крик
И не воскликни: "Стой, мгновенье,
Постой", но ветра дуновенье
Возможно ли остановить?
Сухие губы шепчут: "Пить".
А может, "Жить". Дадут напиться,
Но жажда вряд ли утолится.
И длится бег ночей и дней,
Чей тайный смысл все темней,
А видимый и чужд и странен...
Любой из нас смертельно ранен
И мучим жаждой без конца,
А из тяжелого свинца
Небесного все льют живые
Живые воды дождевые.
1996



Игорь Гельбах

Играющий на флейте

1.



тридцать лет я полнобил ресторан по вечерам. Была зима, шли дожди, а я сидел и слушал, как звякают ножи и вилки, хрустят скатерти. Потом на белой скатерти появлялись зелень и редис. Я жевал редис с солью, выпивал полбокала темно-желтого вина в ожидании мясного блюда, а на столе появлялся тонко нарезанный белый сыр. Белый сыр, зелень, редис и темно-желтая явь на столе, - слегка желтеющий на глазах сыр, медленно сползающая по стеклу бокала капля вина, - можно сидеть, слушать музыку и глотать пахнущее землей вино.

В ту пору я много работал и начал уставать, по вечерам хотелось яркого света и шума, и я начал ходить в зимний полупустой ресторан, выпивал пару зеленых бокалов вина, жевал красную перченую капусту и слушал оркестр.

Посетителей в ресторане бывало немного, - два, три столика. Позднее играли заказанную посетителями местную, кавказскую музыку.

Иногда в зале дрались, тогда музыканты смеялись и играли громче, а однажды увидел я в ресторане сосредоточенно пляшущих мужчин в черных пиджаках...

После перченого мяса с луком, вина и длинных застольных речей, после обмена поцелуями с товарищами по столу им хотелось танцевать и они выходили в круг перед маленькой эстрадой, где танцевали самозабвенно и сосредоточенно, ощущая, наверное, удвоение не только от ритмичного похлопывания и быстрого движения, но и от сознания того, что здесь, среди таких же как они людей, протекают естественные и важные жизненные дела, - они едят, пьют и танцуют, завершив трудовой или бездельный день, и продолжая естественную для них череду событий...

Они танцевали самозабвенно. Выделявая замысловатые фигуры под грохот барабана и повизгивание флейты, они неслись по кругу, высоко подпрыгивая и раскидывая руки, пяясь и

нагибаясь к полу, чтобы схватить зубами платок, брошенный на затертый паркет под желтым, зимним электрическим светом...

Вновь и вновь кидали они деньги оркестрантам, и те повторяли бодрящие мотивы, посетители плясали, а потом опять шли пить вино...

Да и я не оставался безучастным, - порой к концу вечера музыка в ресторане будила ощущения почти той же силы, что и услышанная в детстве на похоронах...

Я бежал по улице, и вдруг черная толпа у дома на углу зазвучала, взревела, и через мгновение сверкнула серебром и медью, будто плакала...

Потом я вспомнил как чернели в желтом поле фигуры, на похоронах дедушки вели меня за руки мать и отец в черных пальто, лица их теперь видятся словно маски до того они молоды; затем жидкая грязь, куда мы отступаем, а мимо плывет гроб, в котором уже четыре дня лежал дедушка, умерший на улице от приступа “ грудной жабы”, и огромное, сырое поле ромашек, с утопающими в них каменными плитами надгробий.

Музыки не было, пел кантор...

Почему же я слышу голос флейты?

Вот так я захаживал в ресторан, попивал дешевое вино прошлогоднего урожая и вскоре познакомился с музыкантами. Как-то раз я разговорился с саксофонистом.

- О, работа очень интересная, - сказал он, усмехнувшись, - когда я вечером иду на работу, я знаю, обязательно что-нибудь произойдет. Обязательно. Заранее не знаешь что, но обязательно что-нибудь происходит. Или подерутся, или кто-нибудь захочет спеть, или мы с кем-нибудь познакомимся.

Он играет, прислонившись к тумбе усилителя, не меняя выражения лица. Иногда музыканты переговариваются, смеются или шутят, тогда я вижу, как брови его лезут вверх и блестят зеленые глаза.

Однажды я встретил его в субботу днем.

Шел дождь и в кофейне старики сидели за несколькими сухими столиками, навес пропускал влагу во многих местах. Он пришел в кофейню с высокой, худой, черноволосой девушкой. За ухом у девушки был цветок с красными шершавыми лепестками. Я заказал коньяк, мы разговорились и саксофонист рассказал, что недавно прочел рассказ Фленнери О'Коннор, - сознание старого генерала вытекало из черепа через маленькую дырочку, как влага. Генерала возили в коляске.

- Мне хочется, чтобы меня возили в инвалидной коляске, кормили и одевали. А я был бы тридцатитрехлетним идиотом,

ведь мне тридцать три, - сказал он и тут же спросил, - а смогу я играть при этом?

- Наверное, нет, - сказал я, - но если даже ты будешь играть, то не поймешь, что играешь. Кроме того, идиот пускает слюни и мочится под себя.

- Тогда мне это не подходит, - сказал он, - я хочу быть чисто одетым и причесанным. Я читал, что есть один астроном или физик, его вот так возят в коляске по всему белому свету...

- Ну, это последствия совсем другого заболевания, - сказал я, - это совсем другое...

- Но быть тридцатитрехлетним идиотом, наверное, все-таки здорово, - сказал он.

Девушка с цветком в волосах засмеялась, в ее чашку с кофе попала капля дождя, саксофонист состроил гримасу и они ушли.

2.

- Так не лучше ли стать тридцатитрехлетним идиотом? - спросил я однажды профессора Штейна, он был уже стар и достиг того положения, когда дозволительно обсуждать любые вопросы.

В то время, после смерти матери, я снова жил в доме на горе Чернявского и рано уходил на работу, а машины, собиравшие мусор приезжали позднее, и я, как и многие соседи, стал по ночам вываливать мусор на обочину.

Однажды, когда Штейн спросил у меня, почему же не видим мы в космосе следов астроинженерной деятельности, каких-нибудь преждевременно взорвавшихся звезд или тому подобного, я вспомнил о ночных выходах с мусором и сказал, что те, *другие*, очевидно, не хотят нарушать естественной экологии вселенной. Штейну мое замечание понравилось, и он попросил разрешения привести это соображение в своей очередной статье.

- Естественно, с указанием источника, - добавил он, и я согласился, мне показалось это забавным.

А вообще меня всегда преследовало ощущение того, что пока я сижу и беседую с профессором в одной из комнат его огромной квартиры, дома эти были выстроены военнопленными сразу после войны, в других комнатах происходит что-то тайное, скрываемое от глаз. Квартира полна домочадцев, им лень слушать Штейна, это я заметил, и, наверное, он рад найти во мне слушателя.

Он сидел против меня, похожий на старую куклу мудреца, поредевшие волосы над его лбом были уже совсем седые, улыбался, что делало его похожим на куклу паяца, и говорил... В

интервалах, когда он внимательно глядел на меня небольшими, почти круглыми, обезьяньими глазами и слушал, лицо его бледнело, вокруг рта прорезались две круглые складки и свет играл на лбу и под глазами.

Потом все это исчезало, и оставалась настороженность в глазах, легкая неуловимая нотка иронии в движении нижней губы, и вдруг, - тень улыбки и недоумения,

- Но я уже не раз высказывал вам эту мысль, - заключил он.

Я согласился и заговорил о чем-то не очень важном. Разговаривая с ним, я вдруг почувствовал, что меня приводило к Штейну нечто вроде потребности обрести новых родителей или наставника, связь с которым была бы не столь догматически определенной, как мои отношения с отцом, что должно было бы быть восполнено... Но я не мог ясно представить себе, чего мне, собственно, не хватало и что бы мне хотелось услышать или узнать, а сидевший против меня Штейн, подавив вздох, стал рассказывать мне притчу о толковании текстов.

Когда-то давно, в местечке, где он родился, профессор Штейн получил начальное религиозное образование.

Много лет прошло со времен юности, когда один из мальчиков постоянно превосходил в толковании священных текстов другого, ныне сидевшего перед ним знаменитого толкователя Библии. С почтением осведомился он, могут ли они вновь, как в юности, сравнить свои силы в толковании текстов. И выбрана была история Ионы, проглоченного китом, и каждый предложил свое толкование, и тот, что предложил начать состязание, с удивлением заметил про себя, что снова, как и во времена юности, его толкование глубже и интереснее. Но тут знаменитый соперник его предложил новое толкование, а тот, что начал состязание ответил ему и вновь нашел свое толкование более удачным... И вновь соперник его предложил продолжить состязание, и так каждый из них предложил множество толкований... И тот, кто и в пору юности, да и теперь почитал себя за более удачливого и проницательного, спросил, считая состязание завершенным.

- На чем же зиждется слава собеседника моего?

- На неустанном толковании текстов, - услышал он в ответ.

Жена профессора Штейна пригласила меня ужинать, и вот когда я уже пил чай и высказывал соображения о сорте варенья, я пытался разгадать, груша это или айва, а мне предлагалось варенье из терновника, взгляд мой случайно упал на Штейна, он ел белые

мучные ракушки с красной подливкой, он был голоден и рад тому, что ему не мешают есть.

Позднее, когда я вспоминал его, домочадцев и эту жизнь, полную скрытых напряжений, мне представилось, что по ночам профессор выходит на морской берег, собирает ракушки и гложет их, низко наклоняясь к песку. Ракушки становятся видны, когда набежавшая волна, разбиваясь, разбрызгивает свет, но море редко выбрасывает на берег мидии.

3.

Стены в лечебнице выкрашены в бледно-зеленый цвет и внутри здания всегда присутствует ощущение легкой прохлады, порой даже сырости и полной ирреальности происходящего, - каждый знает, что такое психиатрическая лечебница. Но сад, великолепный сад окружает недавно отремонтированное здание и обшарпанные вспомогательные строения. Кое-где видны кучи песка и гравия, а жестяное корыто, полное сохнувшей извести оставлено под водосточной трубой. Ну а дальше, - кипарисы и пыль на дороге, плотная зелень камфарных деревьев, одиноко стоящее на холме гинкго, и сосны, сосновые иглы под ногами.

Иногда мне казалось, - выпустить больных в сад и заставить их жить в тени сосен, под проливными дождями, под редкими пятнами зеленовато-белого снега, - и они выздоровеют...

Их выводят в полдень, - процессия безликих мужчин и нежных юношей, опустившихся старух с небрунными седыми космами и молодых еще женщин в сиреневых платьях. Они бредут по утоптанному кругу, а кто устает, - отходит к скамье у кипариса на краю поляны.

Говорить с Ятой под деревьями трудней, чем в палате, - всегда наступает момент, когда я смотрю на стволы кипарисов, слышу потрескивание веток, она молчит, и я ухожу.

Лет десять назад, когда я познакомился с ней в Ленинграде, там я учился, розоватые пятна на скулах медленно опускались на ее худые щеки, разрезанные крупными губами. Она внимательно смотрела на меня ореховыми глазами, голос у нее был низкий, слова она произносила, закругляя их, и очень темные волосы падали на худенькие плечи. Ходила она очень легко, легко несла вперед свою маленькую грудь и чуть наклоненную голову с темными кудрями.

Наверное, мне не следовало привозить ее сюда, на Юг, но когда-то, в Ленинграде, все было очень хорошо. Тогда она училась, потом стала преподавать музыку как моя мать, но отношения у них сложились совершенно невозможные, а после смерти матери что-то сломилось и в наших отношениях.

С годами ее смех становился все более глубоким, я бы сказал так, - когда она смеялась, мне казалось, - она говорит с собой, и я слышу отзвуки этой неясной беседы. Она стала вздрагивать и худела все больше, а румянец медленно полз к худым щекам, когда она говорила, все больше растягивая слова. Ей уже нельзя было пить вино, ей нравились красные, почти черные вина, хотя она и раньше пила немного, лишь когда к нам кто-нибудь приходил, или когда мы встречались в городе и отправлялись посидеть где-нибудь на набережной, - обычно это происходило днем.

Разговаривая с ней, я стал избегать многих тем, - когда-то ее старшая сестра, пятилетняя девочка, была расстреляна во время войны вместе с дедом, длинноносым и худым стариком, - он шел в длинной процессии ко рву, посадив девочку на плечи. Это было в Западной Белоруссии. С годами я все яснее видел эту сцену, длинную процессию в поросшем ромашками поле.

Со временем мне становилось все труднее объяснить хотя бы себе ее мысли и поступки, и пришли времена, когда я смотрел на нее и понимал, что это говорит и действует не она, а некий испорченный механизм за ее лбом, оттененным длинными черными кудрями.

Порой, по дороге в лечебницу я думаю, что приезжаю туда из-за великолепного сада, тишины и одинокого гинкго на холме. Но потом я начинаю говорить с Ятой, и всегда наступает момент, когда я начинаю смотреть на кипарис, что-то в его кроне притягивает мой взгляд, во мне пробуждается старое чувство волнения и тревоги, она молчит, и, проведив ее в палату, я ухожу вниз по пыльной кипарисовой аллее.

4.

Из лечебницы я обычно направлялся пить кофе.

Сию в конце дня под тентом в ресторане на воде и пью кофе. Небо напоминает скатерть со столика в ресторане, на которую в суете кто-то опрокинул стакан “Саперави”. Вода внизу спокойная и прозрачная, видны тарелки, вросшие в песок на дне, темнеют розовые дома на берегу, и в сырых растрепанных перьях пальмы висит ярко-желтый таз солнца.

Середина марта. Через несколько дней пройдут дожди, и начнется сырая, солнечная и прозрачная наша весна.

Я легко узнаю состояния пейзажа. По-моему это одна из причин, неосознанных причин нашей любви к природе. Почти всегда мы знаем, чего можно ожидать от пейзажа, и это неизменно из года в год. Это знают и старики-рыболовы на причале из ресторана, и лотошницы, продающие им булки на наживку, и

рыбы, из года в год плывущие на крючок за хлебным мякишем. Что же до людей, - то большинство человеческих лиц мы воспринимаем как маски с играющими камешками глаз, вставленных в дырочки для оживления куклы. В молодости индивидуальное дыхание зачастую окрашивает маску, придавая ей иногда подобие некоторого единства, но постепенно индивидуальное начало исчезает, глаза, как и всякие камни, тускнеют, и почти все старики одинаковы.

Я встречал людей, что сами или волею обстоятельств развили свое индивидуальное дыхание. Совсем непросто расти и плодоносить подобно виноградной лозе, искать и находить случайную, шаткую и ненадежную опору, доверять ей и тянуться дальше, зная, что грозди, созревающие под зеленоватым светлым небом, рано или поздно склюют птицы.

5.

Наступило безоглядное лето, темная и плотная зелень кипариса кажется безнадежно сухой театральной декорацией рядом с глубокой, темной и безоглядной синевой моря, его сбивчивым дыханием и спокойным, завораживающе ласкающим прикосновением, пухнувшей темнотой его ночей, прорывающихся в иссиня-черную пустоту, увешанную сине-зелеными светильниками с нечеловечески сильным ароматом, - магнолиями начала лета.

Потом лето добралось до середины, и иногда днем свет лежал на набережной столь плотной и горячей пеленой, что идти пить кофе не хотелось, и тогда я сворачивал на веранду гостиницы пить чай, темно-красный, с ломтиками лимона и кусками сахара в сахарнице на голубом пластике стола.

Собирались здесь обычно пожилые мужчины из тех, что тщательно следят за чистотой манжет, бывали здесь музыканты, часовых дел мастера и случайная залетная публика. Косо посматривали они на греков и армян из кофейни через дорогу, перебирающих четки, обсуждая политические бури последних лет и вырезая при этом звезды из алюминиевой фольги, оставшейся на столиках после случайных посетителей, поивших девиц шампанским. Тише и спокойней говорили на веранде о деньгах, выгодных местах и здоровье. Эти люди сидели здесь и ранней сырой весной, и зимой, в сырую погоду, ожидая проблеска солнца. По утрам, направляясь на работу, я проходил мимо полной плащей и шляп веранды, но ближе к вечеру веранда с одиноким светильником под пластиковой крышей была обычно пустой. Поначалу разговоры и поведение завсегдатаев веранды показались мне плохим маскарадом, но позднее я уверился в их полной

серьезности, не уступающей серьезности посетителей кофеен, и даже обнаружил в их поведении некий элемент стоицизма. Постепенно место это стало наводить меня на мысль о никогда не пережитом мною состоянии длительного одиночного заключения, о стоическом, бесцельном бодрствовании мозга и полной неподвижности постепенно немеющего тела, - но какой смысл мог заключаться в стоицизме подобного рода?

А теперь, летом, я заходил на веранду по дороге к автобусной остановке, - обычно я отвозил в лечебницу безобидные, хорошо иллюстрированные книжки, монографии, посвященные бабочкам или обитателям океана.

- Нет ничего красивее бабочек, - сказала мне Ята однажды, когда я встретил ее у ростральных колонн, - она направлялась в Зоологический музей.

То был конец мая, время белых ночей, и я не удивился ее словам, мало ли что не приходит в голову во время белых ночей. После того как мое первое удивление померкло, белая ночь казалась мне благодеянием усталой природы, не знающей настоящего солнца.

6.

А в ресторане, где играл саксофонист, все совершенно переменялось.

Летними вечерами в ресторанном жарком и блеклом тумане гремела музыка, официанты разносили плотно уставленные снедью и винными бутылками подносы, мелькали яркие одежды танцующих. Музыка гремела непрерывно, лишь иногда музыканты делали перерывы, вели разговоры с девицами и парнями из публики, ловили скомканные ассигнации и складывали их в бубен. Рядом волновалось море как неостывшее первое блюдо, а снаружи подъезжали и гудели автомобили, и вся атмосфера вокруг была пропитана легким душком имморализма.

Саксофонист, мой знакомый, играл иногда и на флейте.

Ближе к полуночи, однако, напевы разыгрываемых на флейте восточных тем сменялись обычно отрывистым, синкопированным, дребезжащим, хриплым, вибрирующим звучанием его импровизаций, разыгрываемых отрывисто и точно, неожиданно и волнующе живо, и, в то же время, достаточно прохладно, благодаря никогда не нарушаемому, ясному и четкому ритмическому рисунку.

Однажды днем, во время перерыва я купил в ларьке на улице свирель с шестью дырочками, напоминавшую флейту, и направился с нею в ресторан. Там было пусто, музыканты релетировали, и во время перерыва саксофонист опробовал

свирель. Оказалось, что у нее правильный строй. Перочинным ножом он проковырял еще одно отверстие, и вскоре я начал брать у него уроки. Это его забавляло, и в перерывах мы говорили об обезьянах, что они ощущают и как, - это его особенно занимало.

- Хотел бы я стать обезьяной, чтобы потом все это сыграть на флейте, - говорил он.

Как-то раз он пришел ко мне в гости со своей девушкой и долго играл на свирели. На следующий день я направился в ларек и занес ему в ресторан такую же свирель.

- Жаль, что на ней нельзя играть в ресторане, - сказал он, - звук слабоват... Но если играть для записи, то я бы обязательно сыграл на ней... И еще хорошо бы на ней поиграть где-нибудь в тропиках...

Пару лет назад он плавал музыкантом на пароходе, обслуживавшем итальянскую коммерческую линию, побывал в разных краях и много об этом рассказывал, больше всего ему нравились острова у побережья Южной Америки, там была замечательная подводная охота.

Через пару недель я уже мог разыгрывать несложные мелодии, но больше всего меня интересовал процесс импровизации. Постепенно я начал понимать, что именно в способности к ней и обнаруживается подлинная музыкальность, но когда я расспрашивал об этом саксофониста, он смеялся, это был спокойный и тогда еще неясный мне смех, напоминавший по тону его беседы с девицами в ресторане, во время перерывов. Беседы были очень короткие и в каком-то смысле откровенные.

7.

Однажды после пляжа я зашел к профессору Штейну.

Вновь приглядываясь к его небольшим, круглым, глубоко посаженным глазам, маленькому приплюснутому носу и круглой голове, я осознал, что в его лице и крепком маленьком теле присутствует что-то обезьянье, - мудрое, чужое и родственное, обнажающее наше одиночество и в то же время отсутствие уникальности.

В тот вечер мы затронули и занимавшую его тему.

- А вот когда появятся *другие*, скажем с небес, не окажемся ли мы в положении обезьянок? - спросил я, - маленьких, интересных обезьянок в вольере, - и *они*...

- *Они*, - сказал он, - это слово всегда разделяет, - и когда вы отделяете себя, вам кажется, что вы лучше, и имеете право на то, что вы осудите, если это сделают *они*....

В тот вечер я надеялся получить для прочтения рукопись одной из его неопубликованных работ, с которой он, как будто,

решил меня познакомить. Штейн работал над ней уже несколько лет, но, оказалось, что он и сам не был уверен в том, что работа его над текстом уже завершена, и в последний момент он передумал.

- По-моему, лучше пока подождать, - сказал он, - да и я еще не уверен, завершил ли я ее. Ведь у вас найдется что почитать? - он посмотрел на меня внимательно, - в конечном счете, когда человек находится в таком состоянии как вы, не так уж и важно, что прочитать, есть много хороших работ, важно что-то почувствовать...

Брови его поднялись, и на лбу одна за другой пошли складки. Скорее всего, он был прав.

Недавно я проходил мимо городского пляжа, где полоса гальки, усеянная лежащими телами, прерывалась каждые метров пятьдесят волнорезами из цементных плит, уходивших в море, все еще прозрачное под вдруг набежавшей тяжелой синей тучей.

Я шел, глядя на цветные полосатые тенты, людей и прозрачную воду, пока фигура черноволосого горбуна, - он только что вылез из воды на волнорез, - не привлекла моего внимания.

Он твердо стоял на плите, почти слившись с ней, неподвижный и мокрый, лишь глаза его бегали, - и я подумал, даже физически ощутил, сколь отлично должно быть то, что видел он, от того, что видел я.

8.

После работы я обычно ездил купаться на пустой каменистый берег за мысом. Вода здесь была чище, и народу было меньше чем на пляже. Меня подвозил туда товарищ, живший неподалеку.

В таких местах люди быстро начинают отличать друг друга, и однажды я заметил, что молодая женщина, на которую я обратил внимание, заплывла довольно далеко. Она была невысокого роста с гладкой линией темных плеч и зелеными глазами и слегка напоминала Яту. Я поплыл за ней.

- Не надо так далеко заплывать, - сказал я, - здесь тяжелее плыть обратно, это ведь не бухта.

Мы повернули обратно.

Отдышавшись, она сказала:

- Спасибо.

Трудно говорить, когда выходишь из воды на ровный, в камнях берег, а руки и ноги становятся вдруг тяжелыми и на глаза давит что-то изнутри.

- Ну что вы, - ответил я, - я ведь работаю спасателем.

- Правда?

Она присела на камни, вся еще влажная, и темные камни потемнели.

- Я вас обманываю, скорее я мучитель.

- А кого, кого вы мучаете? - ей все еще не хватало дыхания.

- Обезьянок, - сказал я.

- А у вас их много?

- Целая вольера, но вот дарить их нельзя.

- А посмотреть их можно?

- Можно, - ответил я.

Поначалу вольеры производили неприятное впечатление на посторонних, когда они попадали на территорию института.

Отвратительный запах огрызков полусгнившей капусты и бурака, грязь и видимое отсутствие отопления за железной решеткой, наводили на мысль о зимних холодах, потом люди вспоминали о наших экспериментах, так или иначе связанных с болевыми ощущениями.

Но позднее, когда они узнавали, что для того, чтобы уберечь обезьян от пневмонии их следовало содержать на свежем воздухе, посетители успокаивались. Потом их увлекала эта чужая и близкая жизнь за железной решеткой, и, переходя от вольеры к вольере, - вольеры располагались на большой поляне под соснами,- они забывали о первых впечатлениях и со все большим интересом глядели на обезьян.

Потом мы несколько раз встретились в городе, на длинной, в бесконечных пальмах и кафе набережной.

Наконец я встретил ее в городе днем, было ослепительно светло, море зеленело, а по бульвару шел городской сумасшедший, в зеленом мундире и офицерской фуражке с красным околышем.

Мы долго разговаривали за кофе, и, спускаясь со второго этажа ресторана на воде, я сказал ей, - лучше распрощаться сейчас, - она уезжала следующей ночью, - кругом была зелень, и было жарко, но не душно, с моря дул ветер.

- Странно, я приезжаю сюда вот уже несколько лет, приезжаю и уезжаю, забываю все на целый год, а теперь что-то изменилось, - сказала Марина, - я напишу тебе...

- Хорошо, - сказал я, - только пиши мне на почтовое отделение, то, что рядом с верандой, где мы пили чай, пиши до востребования, так будет лучше...

Она сказала, что удивляется себе, она не думала, что с ней может случиться такое. Я кивнул, дал ей номер своего почтового отделения, прикоснулся к ее плечу и направился в сторону дома. Пройдя полквартила, я оглянулся, она шла по улице к гостинице,

где жила, мимо огромной цветочной клумбы и будки сапожника, обклеенной яркими фотографиями и журнальными снимками.

На следующий день я приехал на пустой каменистый пляж за мысом, мы пошли плавать, кожа у нее в воде была очень гладкая, она потянулась ко мне, мы вместе нырнули и под водой я поцеловал ее. Когда мы вышли на берег, я обнял ее за плечи и сказал, что мы могли бы поехать ко мне.

Дома не было света, я обнаружил это со странным чувством облегчения, за окном становилось все темнее, и я ощутил дыхание деревьев. Было очень хорошо, казалось, мы медленно гуляем по саду, чередуя солнце и тень, все это время пока я терял и находил ее взгляд, - все это было неожиданно вновь, почти без слов, но потом нам казалось, что мы давно знаем друг друга.

Не знаю, отчего сунул я в карман легкой летней куртки свирель, она оделась, и мы отправились в гостиницу за вещами, а оттуда к причалу по ночному уже городу, по теплому асфальту сонных улиц, мимо растворяющихся во тьме зеленых и синих деревьев.

Вечер уходил с длинного бульвара позднее, оставляя за собой мерцание рекламы, смятые стаканчики из-под мороженого на тротуаре, неясные голоса, белые силуэты в синей тьме, шум фонтана и звон посуды из ресторана. Долетали обрывки музыкальных фраз, последние гуляки медленно расходились с набережной, и чем дальше мы шли по причалу, тем больше я ощущал ночь и спокойствие. Мы почти не говорили. За освещенной изнутри будкой фотографа, с навеки запечатленными на глянце неизвестными лицами, темнота опускалась сразу, видны были огни города, легкая дымка над горами, внизу плескалась вода, а вокруг висели звезды.

В конце причала, в небольшой зоне света, выбитой из тьмы прожекторами парохода, крутилось несколько фигур, посадка заканчивалась, и, пройдя по тяжело позвякивавшему трапу, она скрылась в брюхе парохода.

Я поднялся по бетонной лестнице на плоскую крышу длинных складских помещений, превращенную в некое подобие ресторанчика, уже закрытого, уселся на стул, закурил и стал глядеть на освещенный паром.

Подошел старик сторож и присел рядом, появилась Марина на второй палубе и стала у борта, прозвучали отданные в мегафон команды, паром подобрал трап, и, тяжело дыша, тихо отплыл. Я вспомнил мелодию, случайную мелодию, услышанную в ресторане, и наиграл ее на свирели.

Пароход отошел, и я остался на бетонной крыше, посреди темного ночного неба, вдали от амфитеатра городских огней, под легким ветерком, налетевшим издали, от ушедшего парохода.

Потом я шел по причалу, и в темноте слышно было медленное движение волн внизу и звук шагов по асфальту. Дойдя до середины причала, я услышал шум и крики, послышался сзади топот, мимо меня пробежали двое, и, когда я вышел с причала и шел уже по освещенной площади, ко мне подбежал человек с усиками и спросил:

- Ты играл?

Я остановился. Меня усадили в коляску мотоцикла и увезли.

9.

Через полгода, когда я вернулся, был светлый ясный день, солнце слепило, отражаясь в мытых стеклах автомобилей, и люди на набережной стояли, задрав головы вверх, - рабочие подрезали старые пожелтевшие за зиму ветви пальм, стоя в стаканах ремонтных машин.

Только сапожник, вытащив кресло для клиента из оклеенной яркими фотографиями будки, неумоимо чистил туфли, а сидевший в кресле полный мужчина тоже глядел вверх, поглаживая усы. Когда обрезанные ветви летели вниз, толпа вздыхала.

Я зашел на свое почтовое отделение. Три письма, пришедшие за полгода на мое имя, были направлены обратно. По стенам были наклеены яркие почтовые открытки и на барьере стояли горшки с комнатными растениями. Я сказал, что полгода был в отъезде, подивился ботаническим чудесам на стойке и ушел.

- Тебя били? - Ята коснулась моей руки и медленно погладила ее.

- Нет, совсем нет, - ответил я.

- Это страшно?

- Нет, скорее интересно, я ведь знал, что это долго не продлится.

Почему я верил, что вскоре выйду из заключения? Конечно, я был непричастен к попытке кражи со склада на причале в ту летнюю ночь, но об этом знали лишь я да еще те двое, их задержали первыми, а мое объяснение причины, по которой я находился на причале, отнюдь не исключало ряда возможностей... Кроме того, я был шапочно знаком с задержанными, они работали у нас на территории, но подобным же образом я знал и других людей, которых видел почти ежедневно на набережной и в ресторане. Но главным оказалось мое нелепое музицирование.

Следователь считал, что я задался целью отвлечь сторожа, а те двое, естественно, утверждали, как и я, впрочем, что никакого отношения к попытке кражи они не имели, - так или иначе, в ходе следствия я превращался из соучастника в пособника, и вновь в соучастника....

В конце концов, я был осужден вместе с остальными и отправлен в лагерь в двухстах километрах от города, откуда позднее был освобожден благодаря усилиям адвоката и моего друга саксофониста.

Отнесся я к случившемуся с любопытством, словно был готов к этому, ощущение это не покидало меня. Вообще же многие ситуации на суде, да и во время следствия производили впечатление затертое, смазанное...

Впервые увидев меня, следователь задал несколько вопросов, а потом сказал:

- Зачем это вам, еврейю, в такое дело влезать было?

Я переспросил его, как это следует понимать, и он сказал:

- Да бросьте вы дурочку валять, Бронгаузер...

К концу пребывания моего в заключении я уже понимал, что надежда моя на досрочное освобождение основана была, в сущности, на бессознательной вере в существовании интимной близости между “правосудием “ и “справедливостью”, что, в принципе, вовсе не доказано.

Но, поняв это, я, в конечном счете, не смог разобраться, в силу чего я вновь оказался на свободе, в силу ли сработавшей, но бессмысленной для меня ассоциации, или в силу каких-либо иных механизмов. Когда я в беседе с адвокатом попытался разяснить ему мою точку зрения, мы не нашли общего языка.

Адвокат, полный пожилой седой мужчина с неожиданно короткими ручками, с необычайной ловкостью орудовал ими за столом, и порой, в наиболее важных, как ему казалось, местах беседы, переходил на драматический шепот, оглядываясь на зимнее, выцветшее море. Мы сидели в ресторане, где по вечерам играл мой друг саксофонист, теперь это был ресторан поплавков, отопления в ресторане не было, но было не холодно, - дневное зимнее солнце набирало силу, грея сквозь стеклянные огромные окна.

Вдали лежал большой причал, там швартовался белый лайнер, а снаружи, меж перилами и окнами обосновались рыболовы с мотками месины, блеснами и крючками, - шла игла, было суетно и интересно, и мы порядочно выпили.

Собеседник мой упрямо сцеплял все события, приведшие к моему освобождению в одну причинную цепь, наводя меня на

мысль, что и заключение мое было вызвано столь же безукоризненной причинной цепью. Но тогда и заключение мое и освобождение явились некими весьма естественными событиями той жизни, что я вел. Следовательно, казалось мне, я был поглощен как нечто безличное и через некоторое время исторгнут безличным же процессом, т.е., во всяком случае, был совершенно незначительной фигурой или, говоря попросту, пешкой в большой игре.

Но остальные, те, кого я встретил в заключении, мог ли я почитать их чем-либо иным? Многие, согласно моей первоначальной реакции, заслуживали того, что с ними произошло, но такая мысль посетила меня под влиянием первоначальных страхов и естественного ощущения отчужденности от массы заключенных, покоившегося на вскоре исчезнувшей вере в собственную “невиновность”.

Постепенно я стал рассматривать большинство этих людей, так же как и себя, - каждый из нас двигался своим путем, но с той же универсальной неизбежностью был захвачен единым процессом....

И лишь один эпизод, относящийся к той поре, не давал мне покоя....

10.

Случилось это в тот день, когда из-за предстоявшего мне свидания с адвокатом, я получил назначение на дежурство по бараку вместе с Али. Мы должны были убрать огромный барак и поддерживать огонь в печи, была зима, горная гряда на горизонте давно уже была покрыта снегом, а по ночам лужи замерзали по всему обширному, влажному предхолмью лагерной зоны. По утрам нас выводили на перекличку, распределяли по командам, а затем под конвоем везли на завод строительных конструкций. Там мы разгружали вагоны с химикалиями, песком, гравием и цементом, замешивали раствор и заполняли формы, где отвердевали конструкции и панели для будущих жилых домов и промышленных объектов. Иногда, когда старое оборудование выходило из строя, часами сидели у стены одного из заводских цехов, спасаясь от ветра и холода, в ожидании ненадолго проглядывавшего солнца, разглядывая длинные, петлявшие ряды чайных кустов на холмах.

К концу дня мы возвращались в лагерь, нас обыскивали, отнимали ворованные инструменты, приобретенные или переданные наркотики или лекарства, а затем мы отправлялись по баракам, где получали свой хлеб и вечернюю “хряпу”. По вечерам нам выдавали двойную пайку хлеба и сахара, вечернюю и

утреннюю, поэтому обычно по вечерам мы съедали половину хлеба, оставляя вторую половину на утро, к чаю.

Али был худощавый смуглый человек с невысоким лбом и темным, в морщинах и складках лицом с густыми, кустистыми бровями, под которыми почти исчезали маленькие коричневые глаза. Определить его возраст было непросто. На деле же он приближался к шестидесяти, и мог ожидать сокращения срока. Родом он был крымский татарин, и как многие другие, не сумевшие после выселения вернуться в Крым, попал в наши края. В местах заключения не принято спрашивать, за что человек находится в заключении, называют обычно лишь статью, по которой отбывают наказание, но из обрывков разговоров я понял, что Али несколько раз пытался вернуться в Крым, но безуспешно, и уже второй раз был осужден как *бомж*, человек без определенного места жительства.

Несколько раз в день он молился, что вызывало кое у кого смех, он был молчалив, возможно, оттого, что плохо говорил по-русски, и некоторые его презирали, говоря, что крымские татары поддерживали Гитлера и потому выселены были из Крыма заслуженно. В последние несколько дней кто-то смазывал остатки его хлебной пайки салом, и он выбрасывал хлеб, настороженно глядя из-под темных густых бровей.

В тот день адвокат выглядел весьма воодушевленным обещанием одного из моих школьных друзей, недавно вернувшегося в город и работавшего в системе госбезопасности, посодействовать в ускорении пересмотра дела.

Вернувшись со свидания с адвокатом, я, не обращая внимания на Али, суетившегося у печки, прилег на нары. Внезапно он спросил у меня:

- Кто это делает, не знаешь? - в руке он держал кусок хлеба.

Кто-то смазал его салом, когда он выбегал с утра по нужде, а, может быть, когда он уходил молиться.

Я промолчал, мне не хотелось влезать в эту историю. Потом я задремал, но вскоре, проснувшись, увидел, что Али толчет угли в консервной банке, постепенно подливая туда воды. Потом он вытащил из кармана обрывок бумажного листа, и, пользуясь щепкой как пером, принялся выводить на обрывке листа какие-то письмена, обмакивая щепку в приготовленное из угля и воды подобие чернил. Перед тем как снова уснуть я заметил, что он засунул исписанный обрывок бумажного листа под порог.

Проснувшись я от нарастающего гула толпы, постепенно заполнявшей барак, люди растекались по углам, лишь четверо

чем-то напоминающих друг друга парней, чернявых, с толстыми длинными ногами не могли, казалось, отойти от порога. Они стояли дрожа и несвязно выкрикивая бессвязные слова, поначалу их обходили, и по мере того как барак наполнялся, вокруг них создалась пустота.

Люди стояли вокруг и молча смотрели на то, как первоначальная дрожь сменялась эпилептическими конвульсиями. Один цеплялся за стену, другой за порог, третий за переплет двери. Четвертый упал, другой карабкался вверх, разрывая кожу на пальцах о штукатурку, выкрики их совершенно уже смешались, и, постепенно теряя силы, они превратились в конвульсирующее человеческое месиво на пороге.

Потом кто-то побежал в лазарет, оцепенение прошло, парней вытащили из барака во двор, а Али, выходя наружу, легко нагнулся и пошарил рукой под порогом, там, где прибитые ржавыми гвоздями доски отходили друг от друга.

11.

Итак, я снова вернулся к своим обезьянкам, я снова работал с ними, но зная кое-что о создаваемых нами раздражителях, я не мог не задуматься о реакциях обезьян, описывая которые мы использовали такие привычные термины как “боль”, “страх”, “гнев” или “радость”.

Согласитесь, выражения эти несколько эмоциональны для терминов. Или неясная анатомия чувств человека должна оставаться ключом к анатомии чувств обезьян?

И что я мог знать о том, что составляют для них эти чувства? Точно так же как я не знал, что ощущает камень, лист или медуза. Это ускользало от меня как смысл узнаваемой, но неопознанной мелодии. Чтобы не быть голословным, посоветую вам еще раз вслушаться в звуки второй части “Юпитерной” симфонии Моцарта.

Приходил я и в ресторан, где играл саксофонист. Отопления в ресторане не было, за стеклами по вечерам была темнота, холодное море и дрожащие от холода белые огни города. В зале обычно сидело несколько человек, и заработка у музыкантов не было. Они играли в пальто, и иногда, чтобы согреться, сами заказывали водки, сыра и зелени.

Иногда угощали их городские шлюхи, заходившие в ресторан погреться с холодного бульвара, а иногда музыканты играли для себя.

- Не хочется выходить из формы, - смеясь, говорил мой друг саксофонист, - ведь обязательно пригласят в выходной сыграть на свадьбе или на похоронах, или на крестинах...

Однажды поздно вечером, направляясь, домой по темно-синему от холода бульвару, я решил заглянуть в ресторан.

Я прошел мимо заснувшей у электрической плитки гардеробщицы и прошел в совершенно пустую залу, где под электрическим светом играли музыканты

Саксофонист отпустил бороду.

- С ней теплее, - сказал он, - я теперь много играю, сижу дома, отращиваю бороду и играю, а к лету хочу снова податься на пароход.

Потом я встретил его днем, на холоде и солнце, на втором этаже ресторана на воде, где мы обычно пили кофе. Мы долго говорили об импровизации и музыкантах. Допивая свой кофе, он сказал,

- Обязательно должна быть какая-то другая сторона, некоторые музыканты играли так, словно глядели с этой другой стороны.

Наступал вечер, море словно застыло в фиолетовой тьме, а снизу, из ресторана донеслись глухие звуки настраиваемого баса и барабанная дробь. И саксофонист спустился по узкой винтовой лестнице вниз, через кухню в ресторан.

А потом снова наступила весна, и Ята сказала мне, что ее скоро выпишут из больницы. В тот день мы гуляли по саду и увидели первую бабочку-капустницу. Она выплясывала свой танец в воздухе над зеленоватыми цветами олеандра, и я подумал, что все начинает устраиваться.

А вот еще притча, рассказанная Штейном. Она напомнила мне о временах, когда мальчишкой я любил бродить по предгорьям и доходил до ближайших деревень.

“Вот мальчик с хворостиной гонит стадо быков по пыльной горной дороге. Как могут быки повиноваться мальчику?”

Ответ: “ Каждый бык считает, что его гонят остальные быки, да еще и мальчик с хворостиной”.



Елена Матусевич

Мешок на колесах



- звините, можно с Вами поговорить? Я вижу, Вы русские журналы смотрите.

Как часто это со мной, прям как с нечистой силой в сказке, «сам пожаловал, в уста просится, съешь меня».

- Так можно?

Можно, съем.

На верхнем конце раздутого спального мешка небритая, седая, орлоносаемая голова. Мешок свисает с инвалидной коляски, из мешка торчат толстые пальцы на кнопках и рычагах. Запах.

- Извините, я очень давно не говорил по-русски. Вы здесь сколько? А я двадцать семь лет! Я армянин, из Еревана, знаете, такой город? Вы ведь тоже не русская, Вы же не русская, да? Прапорщик я, бывший, конечно. Сам служить пошел. У нас тогда, знаете, шли только те, кому откупиться нечем, а мне было. О, мне было! Папа мой, такой человек был, директор школы. Все мог. Интеллигентный. Так он мне говорил: слушай, зачем тебе туда к русским ходить? Ты, что, сирота? У тебя папа и мама есть. Я за тебя деньги дам, и ты будешь, как король. У нас все было: хрусталь там, ящиками, ковры персидские, одеяла, эти, как их, прям в полиэтилене, нераспакованные, ну и полотенца махровые, мебель там, люстры. Все, как у людей. Но я упрямый очень был, знаете, бывает такое? Уперся. Молодой. Сам захотел. Думаю, Союз большой, посмотрю, поезжу. Пошел. Я Вам скажу: хорошо было. Стал старшина прям сразу. Уважали меня. Предложили остаться, ну, я остался. Под Калугой. А что? Деньги хорошие и доход, Вы меня понимаете? То есть сначала я, конечно, не брал. Неприятно. А потом ... Ну, как, если они сами несут и несут. Что сделаешь? Я часто на всей территории один трезвый за главного оставался. Командиры, политруки, все в запое. Никого. И в округе на километры также, и все несут. Русские, они ж за водку все, все готовы. Сначала мне страшно было. Жалко их. Наутро пойду, семье обратно отдам. А потом, что я им, нянька, что ли? И тоже, я им отнесу, а они мне это же самое через неделю опять. Прсят,

лезут, ползают, только продай им. Потом-то у меня уже размах был, ну, с этим делом. Капитал. Но меня сюда, в Германию, перевели. Тут, конечно, нельзя было так. Порядок. Строго. Мне нравилось. Но тут стена обвалилась. А мы, в первое-то время, остались, болтались так, пока назад отправлять не начали. И я болтался, смотрел, слушал, думал. Я думать предпочитаю. Вижу: Германия объединяться будет, а Союз – наоборот. Понял я это и женился. Успел. На немке, на ком же еще. Она старше меня, с деньгами, и родители ее тоже, ну, я и взлетел. О, как я взлетел! Вы бы меня тогда встретили. Я бы Вам показал. Что мы крутили! Бизнес у меня был, понимаете? Каких людей я знал! Вот, я Вам сейчас покажу, нет, нет, ничего, не беспокойтесь, я сам достану, у меня всегда с собой, вот тут, немного стерлось, но ничего, читайте, видно еще, можно прочитать? Какие люди! Видите? Это моя фирма была. Машины гоняли с Германии. Везде свои люди были. Они гоняли, я думал. Миллионером быть хотел, верите? Обязательно миллионером. Машина у меня была – БМВ. Знаете такую машину? Вот у меня была. Седьмой серии. Кожаные сиденья были, натуральные. Внутри, все само, Вы не знаете? А денег! Ведь я те-то, армейские, успел спасти, понимаете? Правду говорю. У всех пропали, а я успел. Потому что я вперед смотрел. Миллионером себя видел. И был, почти был! Верите? Не хотел я не миллионером в Ереван возвращаться, понимаете? Думал, вернусь миллионером, немку брошу, сосватают за меня девушку настоящую, буду жить, как человек. Все меня уважать будут. Немного мне и оставалось, верите? Я Вам правду говорю, у Вас лицо такое. Вот, посмотрите сами еще, видите, еще карточка, это мой банк. У меня и сейчас там, знаете, сколько? Хотите, скажу?

Только вот мне не надо теперь. Сами видите, какой стал. Парализовало меня, от подмышек, вот отсюда, все. В той самой БМВ. Тот, который в меня врезался, на сто сорок ехал, да мы оба. Но виноват он был. Теперь пожизненно мне платит. Тут, в Германии, с этим строго. Жена, конечно, бросила сразу, они здесь все такие. Но Германия меня, как инвалида, всем и так обеспечивает: квартира, обслуга, уход, все дали. Я ведь тогда основные деньги в Люксембург переправил, чтобы Германия не узнала. Из больницы организовал. Успел. Они и сейчас там, деньги эти, только не знает никто. Никто. Вот Вы теперь. Знаете, сколько? Я скажу, я только Вам скажу, Вам – первой. Что Вы, разве это много? Такая женщина и не знает, что такое много! Да я бы Вам все отдал, если бы тогда, и женился бы на Вас сразу бы. Вы – такая женщина! Вы замужем? Ведь я сейчас еще не очень старый, а тогда...

Заговорил я Вас, извините, что так долго. Я же все один да один. Вас сынишка ждет. Это ему детский журнал? Мальчику? А я вот, газеты приехал посмотреть. Я всегда сюда приезжаю. Тут бесплатно можно, знаете? Такой магазин у них, смотри, сколько хочешь, и покупать не просят. Я вот набрал, видите, за биржей слежу, таблицы сравниваю. По-немецки научился. Думаю. Интересует меня. Момент сейчас подходящий, кризис, и, если с умом, можно выгодно вложить. Я ведь вперед смотрю, понимаете? Главное, успеть.



Алекс Тарн

Бирьоска

Неадаптированный отрывок албанского блога из романа «Гиршуни»



чира привел дамой бирьоску. Фсигда хотел аддраить пелотку из ансамбля "Бирьоска". Была уминя такая мичта. Ашто, низзя?

Ктота мичтаит амаршальскам жезли, а ктота – апелотках. Я – апелотках. Аа бирьоске из ансамбля "Бирьоска" я мичтал ищо такда, какда дажи низнал штаана пелотка. Наверна так. Мне такда была лет пять, можит, шесть. Их паказыволи паящиду, а я играл накавре перид елкай. Это была пад Новыйгот, как шас помню. Я такда очинь верил во фсякий креатифф про Детмароза и фсе такое. Взрослые митались фсваих приднавагоднех хлопатах, ая играл на кавре и ждал Детмароза и ево Снигурку. Вакруг пахла как абычна пахла такда фтакые маменты.

У савецкава новава года был такой асобиный запах, какова нет сичас уже никде, можете мне паверить. Я шас жеву фбруклени, но дела нивэтам. Дела фтом, што эта вапрос нитолька места, нои времени. Канечна фбруклени той атмосферы нивассаздать, эта ясна. Но ее нивассаздать уже дажи иврасии. Врасии так ни пахла уже вавримина пиристройки. Пачиму - низнаю. Вроди фсетोजи. Салат аливьє, шпроты, йолка, марозный воздух с приаткрытава балкона и привычной креатифф смяжковым ииво пелоткой паящиду.

Наверна, эта ищо нифсе. Наверна так. Наверна дела ищо внадежди, вотшто. Такда я помню была многа надешд. Нашто? Ахрен евознаит. Налутшее. Проста налутшее. А Новыйгот был типа ежигодная кульменация. Наверна так. Апатом надежды типа стали сбывацца и тут выиснилась што никакии эта нинадежды, а гавно-креатифф. Што надеились насамам дели нахутшее, авовси ниналутшее, такое вот фигасе. Карочи пришлось надежду

пакоцать, штоб больши ниврала. Ну, аснею и Новыйгот акачурелся. Наверна так.

Новирнемся фто давние время, када Новыйгот был ишо жыфф. Када мне было пять, аможит шесть, и я играл накавре и ждал Детмароза и ево Сингурку, а нада мной играл ипел теліящек. Ивот тамто, фтом теліящеке явдрук иувидил ансамбель "Бирьоска". Япомню тот мамент дасихпор. Ани хадили так, бутта ног уних небыла вовси! Бутта пад длинными юпками был самакат сматорчеком или ишо што. Ани улыбалесь красивыми лицами, развадили красивыми руками, ая сматрел наних идумол тока анагах. Есть ани там, падыюпкой? Или нет?

Этаг вапрос абирьоскиных нагах мучел меня патом всю жизнь, причем к ево пирваначальному вареанту я памери взрасления пастаянна дабавлял все новыи иновыи прадалжения. Напремер: есть ли ани там пад юпкой иесли есть, токакие? Длиннннныи? Прямый? Или кривыи и валасатыи, как упапы? Вдесить лет яначил прицтавлять как низаметна забераюсь туда падыюпку ихажу вмести сыхними голыми нагами, аснаружи так ини видна сафсем ничиво, ая внутри, аани голыи, ая симиню между ними ибоюсь фсглинуть наверх, патамушта там можит ниаказацца трусофф.

Ещо черис пару лет яуже асмелевался сматреть вверх, хотя каждый такой рас стоил мне мокрава питна на прастыне, патамушта аказывалась што трусофф диствительна нет. Смишно сказать, но миня досехпор валнуют те васпаминанея. Досехпор! Как я стаю мешду длинннх и голых бирьоскиных ног, сматру вверх идуша мая замераит, атам нет ничиво, тоисть нитока трусофф, авапще ничиво кромѣ тимнаты, страшнай и вликущий тимнаты. Ия думаю: авдрук ана щас начнет присидать? Что случицца такда самной? И атадной этой мысли мая ишо нивпалне дастроинная боллистическая ракета фзрываицца как навагодняя хлапушка ия выплюскеваю мой слаткий илипкий страх пряма напрастыню.

Наверна паэтому я патом сума схадил падлиннннх юпкам. Наверна так. Фсеэти мини-шмини и джинс ваптяшку миня никакда нивалнавали. Авот длинная юпка... асобина если типа бирьоскинава сарафана – эта вапще. Тут я фсикда начинал заводицца нипадецки.

Яи нивиннасть сваю патирял изза юпки. Мне такда исполнелась тринацать. Абычна мы есдили летам выстонию окала Чуцкова озѣра. Снимали нахутари. Мужа ухазайки небыла, зато была дочь, натри года миня старши: талставатая и налицо очинь дажи ниочинь, хатя гуляла вафсю, сафсей истонией. Так ей

кречала ейная мамахин, наша хазяйка: "Ты гуляиш сафсей истонией, праститутка!" Абычна ани дрались паутрам, причем Наташка – ее звали Наташка – давала сваиму мамахину сдачи сафсем непадецки. А мамахину была абидна, само сабой. За Наташкой присажали вечерам на машинах, и ана выпархевала ис дома наоблаки духоф, свиркая голыми ляшками, накрашина как Чингачгук.

- Апять? – кричала ей фдагонку мамахин, выскакевайа иссарайа – ана вечна была то фсарайе, то фхлеву, то наагароди, патамушта хазяйство было бальшее, аана адна. – Апять?! Ой, горе мне, горе! Кто тибя патом вазьмет, такую расдолбанную?

- Мая далбилка, яи гуляю! – агрызалась Наташка. – У тебя у самой зарасло, вот изавидуишь!

Хлопала дверца машины. Хазяйка пливала и уходила назат фсарай. Возвращалась Наташка падутро и спала даабеда, апатом прасыпалась, выхадила вадвор и наченалась ачериднайа ссора, пирихадящая фдраку. Такайя вот была эта Наташка.

Вы наверна ришили, что онато и стала майей первой пелоткой? Авот и нет! Наташка хадила вминиопках или фбекини и патаму нивалнавала миня вофси. Авот ейный мамахин... Хазяйка фсигда насила длинный сарафан спиредникам, прастой палатняный сарафан, дажи бес вышивки. Абычнайа рабочайа кристьянская адежда, паразитильна пахожайа пакроим на бирьоскину. Паразитильна.

Ближи кканцу лета наозири устроели какойта месный празник – нито руский, нито истонский. Мая мама ссистрой уехали в горад давечира – падальши ат пьянки, каторайа гудела ссамава утра пафсиму пабирежью. Я ехать атказался: миня больши фсиво интирисавал такда хазяйкин сарафан. Фчсть праздника ана надела другой – красный, свышевкой и красивый пиредник, сафсем негрязный идажи низастираный. Накануни за Наташкой никто ниприехал, а патаму утро прашло бесдраки. Мать и дочь дажи пирикидывались шутками, а фполдинь заабедом выпили пастакану. Миня абедать пазвали, но вотки ниналили. Хазяйка сказала:

- Тибе, жирибенак, нипридлагаю, а то мать заругаит.

Так ана миня звала: "жирибенак", и мне эта нравилась.

Была ищо свитло, какда удома астанавилась машина спьяными парнями и Наташка выпархнула к ним нафстречу, уже гатовайа нафсе сто. Как ана успивала так быстра пириадецца и накраисица – досехпор непанимайу. Хазяйка вэта время визала за домам карзину: такой характер - нисикунды нимагла бесдела, хята ифпразничнам сарафани.

- Апяць?! – загаласіла ана. – Ты же абишчала, бятыца!

- Тибя ниспрасіла! – атвiчала Наташка. – Мае дабро, нитвае!

- Да заіпісь ты, давалка праклятай! – хазяйка уперла рукі фбокі і савершыла свой традэцiонны пливок.

- Сама іпісь слапатай! – нiасталась фдолгу Наташка.

Свай пiследнiй слава ана пракрiчала ўже в акно атызжаюцiх "жыгулей". Хазяйка ішо рас плонула, вытiрла лоп ладоньў іпашла фдом. Я как рас седел накрывьце і вырiзал пiрачыным ножекам узор на каре толстай асiнавай палкi. Эта была майо любiмае занятiе, патамушта с крыльца был лутше фсiво вiдiн весь двор, азначит і сарафан. Наверна так. Помню, шта палка была очiнь сукаватай, но мяккая.

Хазяйка прашла мiма мiня, блiска задефф палой сарафана. Ат нiе пахла каровай і сонцем. Я услышал, как звякнула дверца буфета, патом графiн апстакан, патом стакан апстол, патом снова зашлепали попалу ее басые ступнi. Наверна іменна вэтат мамент я понiл, што сiчас штота случiцца, штота очiнь важнае, но ішо нiзнал што, а проста седел збьўющемся серцем іждад, прiсланiв пiрочiный ножек к палкi, кабутта к чьiмута горлу.

Ана вышла накрывьцо, вставила ногi в свай разнoшiнныи резiнавыи калошi фкаторых абычна хадила снаружi і снова прашла мiма мiня, задеф сарафаном і пахнуф малаком, сонцем і воткой. Ана прашла, спустилась скрывьца і... нiчiво нислучилась. Нiчiво. Я ждал, апустив голува к сваему ножеку. Ана сделала нескалька шагоф і вдрук астанавилась, бутта чевота вiспомнiф. Патом абернулаь і пасматрела на мiня. Прашло ўже столька лет, ноя досехпор вiжу ее, стаящую пасреди двара. Вiжу ее сумрачнае нiулыбающееся лецо. Виду ее светлыи глаза, вдрук стафшiе чiрными. Вiжу ее полураскрытый рот і блеск слоны на зубах. Фсе эти знакi, значенiя каторых я такда еше нiпанiмал вофсi. Вiжу ее сарафан, ее бiрьоскiн сарафан.

- Ну что ты фсе на мiня смотрешь? – сказала ана, фсе такжi безулыпки. – Фсе смотрiшь і смотрiшь... второй месiц... тыже ішо жирибеначiк. Или ўже нет?

Я не смок вымалвить нiслова, даи што я сказал бы, ели бы дажi мок? Ана павiрнулаь і пашла фсарай ксваей карзiне. Ана скрывлась за дверьў. Итут я палажил свой ножек і палку на крыльцо. Я фстал. Ябыл как наафтапелоте. Наафтапелоте ксваей первай афтапелотке. Или нет. Наверна я проста нiмог вынести таго, што пiристал вiдеть ее бiрьоскiн сарафан. Наверна так.

Какда я вашол фсарай, ана ниплила карзину. Ана проста стаяла там лецом кафходу, прежав оби руки кжевату, какбутто удержевайа штото, рвущиися аттуда наружу.

- Нушто? – сказала ана, какда я астанавился фдвирях. – Пришел фсетаки...

Я падумал, что эта вапрос, што ана спрашеваит, зачем я тут, и такда я показал на сарафан, патамушта он ифсамам дели был пречиной фсему.

- Сарафан, – сказал я шопатам, хята никто нимок нас услышать.

Ана усмихнулась. Ана атнила руки атжевата, паднила их вверх и сделала штота, атчиво волосы, собранны дотаво падплатком, вдрук хлынули, как вада какда извидра, адним махам. И руки упали вмести сваласами паоби стороны сарафана.

- Сарафан... - сказала ана, трогайа пальцами ткань. – Вот што тебе интиресна... сарафан?

Я молча кевнул. Мне была трудна дышать изза сердца.

- Хочишь пасматреть? – ана начала комкать ткань, забераая ее в кулаки паабейм бакам, такшта падол сарафана дрогнул и паполс вверх.

Я снова кевнул. Пад сарафанам диствительна аказались голые ноги. Длинннныи бельи гольи ноги. И никаких трусофф. Я закрыл глаза, патамушта баялся умереть.

- Нравицца? – спросила ана аткудата блиска. – А типерь давай пасмотрим, што там утибя выросла...

Наверна ей тожи панравицась тошта ана увидила. Наверна, так.

Сначала мне была очинь нилофка ией преходилась фсе делать самой. Но ана нижаловалась. Ана фсе шиптала штота пра жирибеначка и прасила прашения нипанятна укаво. Ана мычала, вципившись зубами фсопственное запястье, патамушта иначи ее криг услышали бы на соседним хутари. Я был уже дастатачна большой штобы панимать што эта ниат боли иат этава чувствал сибя ищо болии нилофка, бутта эта был ктота другой, авофси ния, сапливый азабочиный падростак, каторый ищо десить менут, полчаса, час таму назат седел накрыльце, кавыряя пирачиным ножеком какуюта дурацкую палку.

Ана вазилась самной пака ниустала – я понил эта па ее вдрук абмякшему атежелефшиму телу, каторай было дотаво пахоже на горячую упругую пружину. Ана дажи паднилась трудом, сафсдохом. Паднилась, адернула сарафан, сабрала волосы патплаток и ушла наозира, дажи ни аглянуфшиис. Ая астался фсарай превыкать кноваму сибе. Я превык быстра.

Какда мать ссистой вирнулись истроада, я какфсигда седел накрыльце, хята ини стругал палку. Я проста седел и сматрел на вечер, каторый паднимался изза леса как край хазайканава сарафана.

- Ты что, выпил? – спросила мать. – А ну, дыхни!

Я дыхнул. Мать пасматрела на миня испуганными глазами. Думаю, ана сразу фсе панила. Наверна так. Но што ана магла сказать? Я диствительна ничиво нипил.

Наутра я праснулся ишо затимна и лижал саткрытыми глазами, преслушеваясь, какда ана накануне зашлепаит басыми ступнями на сваей палавини, иэта нитирпиливае ноющее ажидание тожи была частью маево новава я. Это новое я вышло надвор пачти сразу занею. Ана ждала миня тамжи фсараи. Наэтат рас я сам задрал падол ее сарафана и низакрывал глаз. Мы тарапились как напажар и сами гарели как напажаре, и ана снова мычала и кусала запястье.

Черис день мать увизла миня фпитер, пачти наниделю раньши запланиранава. Досехпор нимагу панять чиво ана так испугалась. Бугто фпитере небыла пелоток и сарафанафф. Можит, ривнавала? Наверна, так. Ани схазайкай были примерна аднаво возраста. Наташка тожи эти два дня хадила присмеревшая и сматрела на сваю мамахин вафсе глаза, бутта тока увидила.

Вот такая исторея.



Сергей Ребельский

Я знаю?

Итак, я жил тогда в Одессе

А.С.Пушкин

*Но если верить нам биндюжнику Арону, не променял бы
он Одессы на Верону*

Из репертуара Константина Беляева, автор неизвестен



лушайте сюда, скучно не покажется! Впрочем, воля Ваша, можете и не слушать. История эта из ряда вон уникальная, однако ж, начинается она, вроде как все такие стародавние майсы: давным-давно в некотором царстве-государстве, в захолустном местечке на юге Российской империи, а после уж и в самой красавице-Одессе, жил-был один портной, по имени Соломон Порт. В ту пору как раз выдавали евреям фамилии, и сдаётся мне, свою Соломон получил в аккурат от «портного», хоть в портовой местности кто Вам даст голову на разрез? Был Соломончик из приличных портных, а коли уж я такое сказал, мог себе позволить не только селёдку, но и солидный кусок кошерной говядины, и даже имел зараз двух учеников-подмастерьев. Вдобавок, известен был обширным умом: умел читать Тору, рассуждал, как настоящий раввин, и даже любил с богатыми заказчиками пошутить по-русски. А шились у него, надо сказать, не одни только евреи, но даже и некоторые дворяне. Говорят, он самому Пушкину такой сюртучок сработал – пальчики оближешь. Но тогда уж был он глубокий старик. Монины шедевры сидели, как влитые, и, глядя на довольного заказчика, он вынимал-таки булавки из своего рта и острил: «Если би я бил цар, я би жил лучше, чем цар: я би ещё немножечке шил!» Какой такой цар, Вы интересуетесь? А вот какой: завязалась эта трагикомедия ещё при Екатерине Великой, а уж конец пришёлся при Александре. Который был, между прочим, довольно-таки либеральный царь: нет, евреев он тоже презирал, какой же русский царь их любил? – но дал всё ж кой-какие поблажки. Причём здесь крепостные, я Вас спрашиваю, тогда уже царил следующий Александр, племянничек

первого! И про кого я Вам, наконец, толкую – про евреев или про гоев?

Но цимес совсем не в этом. Реб Соломон Порт всю свою жизнь мечтал, чтоб такое прибыльное дело осталось за семьёй, но, как на грех, Беся-Двойра производила ему исключительно одних девок, без перебоев. Накопилось у них уже четыре дочки, и которые ещё младенчики недолго прожили – да упокоятся, как говорят, души их в мире. Наконец, совсем уж под старость, когда обоим захало хорошо за 30, выродила Беся сыночка. Назвали мальчишку Беньямином, в честь деда со стороны матери, бакалейщика. И, чуετε, зря всякие там пишут, вроде как у пожилых родителей – слабенские детки. Такой уродился крепыш, загляденье, никакая зараза не приставала, холера два раза прошла, а ему как с гуся вода. И умник был, в хедере первый, хоть Гору учить, откровенно говоря, переносил с трудом. Зато русский верхним чутьём брал, от папашиних заказчиков, и хотите верьте, хотите нет, болтать сподобился без акцента и даже книжки читал, особенно если про королей или там важных полководцев. Шить он тоже выучился, и даже недурно, но чтоб наследовать отцовское дело – разговоров не терпел. Отец, понятно, убивался, но Бенчик был совсем не такой идиот, никогда прямо не скажет «Нет». Говорил: «Там видно будет», а про себя, известно, прикидывал, нужны ему больно эти иголки да глаза портить. Он даже фамилию свою норовил выговаривать на иной манер, чтоб не Порт, а Парт: без малого «фарт», а Беся очень уважал, когда человеку фартит. Но одну вещь из шитья он себе признавал: всякие там шапки, береты, чепчики, тубетейки, я знаю? Он сам вперёд выдумает фасон, скроит и пошьёт. Так он потом до конца жизни самому себе шил шляпы.

Чем же он, Вы спрашиваете, увлекался? Как всякая молодёжь - погужеваться, ну и, понятное дело, женщинами. Был он из себя, надо сказать, невысокого росточка, только ему это, представьте, не мешало. Что-то чуялось в нём этакое, теперь сказали б - харизма: стоило Бенчику бровью повести, и уж любая сама к нему летит, груди наперевес. Ну не любая, не любая, Ваша правда, так он правоверных иудеек и сам не особо привечал: на кой, спрашивается, обижать веру отцов, когда вокруг прочих-разных без числа? И многие-таки к нему и впрямь бегали, и гойки, и даже, по секрету скажу, из благородных. С пацанами тоже так: очень рано сложился у Бени козырный авторитет, многие уже хотели бы иметь его в дружках, только не больно были они ему нужны. Из всех выбрал он в товарищи мальчишку Фишмана, меламедова сына, так ему одному Беся доверял собственные свои

мысли. А выдумывал он такое, Вы не поверите. Бывало, сидят они вдвоём в тенёчке, за баней, и Бенья скажет: «Александр», он любил, чтоб полным именем. Откуда Александр, перебиваете Вы меня? Да оттуда, что евреи стали называть мальчиков Александрями как раз после Александра Великого Македонского, который очень давно оказал нам кой-какие услуги. Какие такие услуги, Вам надо теперь знать? Слушайте, Вы же интеллигентный человек, с верхним образованием, найдите себе в энциклопедии! Или нет... Вы вот при компьютере, так взгляните на этом Вашем Гуголе... эээ... Николай Васильиче. Так если Вы не перестанете меня всякий раз отвлекать, и взад, и вперёд, я-таки никогда Вам не закончу этого водевиля, а он, уж Вы мне доверьтесь, чем дальше, тем круче! Стало быть, Бенья говорил: «Александр, мне больно смотреть, как к евреям допускается такая историческая несправедливость! Я этого не могу больше сносить, я принесу всем евреям свободу!» «Ты у нас что, Мошиах?» - смеялся ему Фишман-младший. «А гоише коп, - отвечал Бенья хладнокровно, - что ж тут весёлого? Я, допустим, не Мошиах, но я-таки навсегда освобожу евреев этой блядской страны, мамой клянусь!» Именно так он и заявлял, а если Вы не согласны, что было уже в ходу такое словечко, так то Ваше дело, только позвольте Вам заметить, его ещё Пётр Великий любил и частенько вставлял, куда надо и куда не надо. Вам интересно, откуда я мог всё это разузнать? Со всех концов, с бору по сосенке. Тот же Фишман, к примеру, выучился и сделался известным человеком, раввином, и оставил после себя красивые воспоминания. Держит их один частный коллекционер, и хотел бы я посмотреть, как это Вы их без меня сами по себе прочтёте, даже если Вы разбираете на идиш. Вот и выходит, остаётся Вам верить мне на слово. Ну или не верить – это уж как Вам взбредёт.

Так дадите Вы дорассказать или нет? Вы уж смекнули, Бенчик чуял в себе силу, и планы у него были, с позволения сказать, наполеоновские, но, став чуток постарше, он рассудил, что на российской сцене бенефиса не справишь, иначе говоря, талантам его просто-напросто некуда было развернуться. Нужна была полная смена декораций. Он-таки пораскинул мозгами, утёр папины слёзы и нанялся матросом на греческое судно, когда оно у них швартовалось рядом в порту. Эта самая «Клеопатра» с полным трюмом пшеницы шла через Босфор напрямик в Саутгемптон, и вот туда-то Бенчик наладился прибыть и поглядеть, как пойдёт антреприза на европейских подмостках. Вы норовите подловить, отчего, дескать, греческий корабль звался римским именем? Так оно, чтоб Вы знали, не римское, это уж она после с

теми спуталась, да и почём мне знать, на кой сдалось хозяину такое имя. Мне, между прочим, другое невдомёк: какого рожна они там, на шхуне, схлестнулись. Я лично, могу Вам признаться, уйму времени перевёл по всяким архивам, что здесь, что за бугром, пока слепил до конца эту фантазмагорию и вычислил последние детали по крупицам. Прорва народу грезил бы навечно позабыть, кто такой был в натуре наш Бенчик, и они-то уж постарались все концы упрятать глубоко под воду. Вы себе не сможете вообразить, сколько сварганили всяких туфтовых писем, липовых ксив, метрик, свидетельств, я знаю? Но я-таки раскопал доподлинные оригиналы, видать я хотел всё их фуфло! А вот что там такое стряслось на шлюпе – это навсегда останется тайной. Я мог бы, понятное дело, присочинить, но Вы ж понимаете, нелепо свистеть по мелочи, когда всё сплошняком – натуральная истина. Это верно, Бенечкин характер я изучил, как никто другой. Бенчик был врождённый дипломат и умел прелестно ладить с самыми невероятными людьми, и понимал контролировать свой пыл. Но имелся один момент, как разъярить его до основания. Стоило только запустить какую-никакую гнусную парашу об евреях, и чем гаже, тем лучше, и он делался бешеный, как бешеный бык. Нет, «жидовская морда» б не прошла, тогда «жид» вообще считалось не оскорбление, а вроде как нормальное слово для каждого приличного еврея. Но Вы ведь знаете, у антисемита за словом не встанет, его же ж распирает изнутри. Видать, этот Ангелополус оборзел и что-то в таком духе накатило, и тогда Беня потерял себя и послал капитана в нокаут: мальчик он был крепкий, сейчас бы сказали – накачанный, и обожал подраться. Только кончилось это вовсе паскудно: матросы огрели Беню бом-брамселем по кумполу и вышвырнули за борт.

Сперва он потерял сознание и пошёл было ко дну, но от прохладной воды быстро очухался, вынырнул и отплевался. Корабль уже исчез с глаз, трещала башка, и хотелось тошнить. Вокруг качалось Средиземное море, и никакой земли, куда ни глянь, нигде не маячило. Что бы Вы или, скажем, я сделали на Бенином месте? Решили бы, что, мол, амба, песенка спета, и благополучно пустили б пузыри. Но Беня вырос, можно сказать, на лимане, и он-таки поплыл, благо, волна шла не крутая. Угадать, в какой стороне берег, было нельзя, и он плыл себе наобум, но, когда начало темнеть, и Беня делал свой водный моцион уже много часов кряду и стал легонько уставать, что-то задымилось на горизонте, и он замахал руками из последних сил. На скалах он рухнул шнобелем вниз и отрубился - и прокемарил, верно, почти сутки, потому что, когда он продрал глаза, снова был вечер, над ним стояли два шкета, довольно-таки странного вида, зырили на

него свысока и балакали по-заграничному. Потом они его подняли и повели к своему папаше - да нет, не к родному. Как бы Вам пояснить? Вы, небось, видали фильм «Крёстный отец», так Вы можете себе вообразить, к кому его притащили, только ещё на сто лет раньше. Этот дон Маржело был хозяин, не слишком законный, восточной части острова. Когда Бенья, грязный и рваный, весь в синяках, ссадинах и морских водорослях, предстал пред его чёрные очи, дон только что отужинал, выпил кувшин красного, и пребывал в снисходительном настроении. Ему заметно было невооружённым глазом, что человек возник прямиком из стихии. Поэтому дон не стал интересоваться, как да откуда. Он оглядел Беню довольно-таки пронзительно и спросил: «Как тебя звать, малыш?» И Бенья врубился, хоть сказано было по-итальянски, но, послушайте, у него ж бывали всякие подружки, и он трошки разговлял по-французски, и он-таки понял. Однако ж, с ответом не поспешил. Бенья чуял: момент решает всё. Он помолчал, поиграл желваками, посмотрел дону прямо в глаза откровенным взглядом, и спокойно так назвал: «Бенья Парт». Маржело вообще-то предпочитал, чтоб его боялись, и все, таки да менжевались! Но этот нездешний паренёк совсем не сдрейфил, даже наоборот, и всёж-таки он дону пришёлся. Вот тогда-то дон прищурил разбойный глаз и загнул свою историческую фразу: «Что ж, Бонапарт, - сказал он, - прибивайся-ка ты к нашей семейке, с нами не пропадёшь!»

Что дальше было, Вы и сами скажете. Не прошло нескольких лет, как Бенья заделался правой рукой дона Маржело, а когда того, не подумавши о кошмарных последствиях, отравили, прибрал к рукам сперва маржелово семейство, а потом и все прочие. Даже не хочется Вам говорить, что Бенья сделал с теми лохами, какие ускорили папашу Маржело. Ну а затем уже он благородно и без скандала взял в свои руки всю ихнюю Корсику. Только Бенчику того было мало: на хрена ему, спрашивается, сдалась эта зарубежная Корсика, когда он всю свою жизнь спал и видел, чтоб только освободить российских евреев? Так он прибрал себе Францию, после Европу, и накопил, наконец, довольно силёнок, чтоб заняться Россией. И он-таки почти выполнил свою клятву, почти уже освободил евреев этой блядской страны. И знаете, что я Вам скажу? Возьми он тогда верх, кому б это помешало? Всем на круг стало б исключительно веселее: крестьян бы он тут же распустил в разные стороны, евреям с инородцами дал бы полные жмени всяких прав – он так и сделал в Европе, ну и вообще, устроил бы тут хоть немножечко свободы и человеческой жизни. Зачем нам с детства полощут мозги, будто все эти уланы,

драгуны, партизаны – я знаю? – которые мочили французов, - заслуженные патриоты? Через них Наполеон и продул. Двадцать лет спустя великий Пушкин в своей секретной главе... Была уже в «Онегине» такая глава, Пушкин писал её тайным шифром, чтоб не загреметь в каталажку за критику. Но Александр Сергеевич не огорчался: он попивал себе кофе с восточной гущей, поглаживал модный сюртучок, пошитый Бонапартовым папой, и сочинял таким вот манером: «Гроза двенадцатого года Настала - кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклай, зима иль русский Бог?» Вы, конечно, в курсе, никакого такого специального русского Бога не было, нет и неизвестно. Если Бог есть, он-таки один на всех, и зачем только этому Богу ударило в голову отложить освобождение русских евреев ещё на 180 лет, я знаю?



Эстер Пастернак

Последнее рассеяние

Отрывок из повести "Остров Шазель"

*Посвящается Орне Эшель, Адак Туржеман,
Линой Саруси, погибшим от рук террориста
в ноябре 2002 года, в поселении "Хермеиш"
на севере Самарии. А Шем иком дамам!*



шутив первую утреннюю прохладу, Ася глубоко вздохнула. Сквозь полоски жалюзи просеивался молочно-серый свет. Сон уплывал, как бумажный кораблик. Неопределенное чувство охватило её. "Какая тишина... Я могу убежать в новый сон, ведь ещё так рано".

Настоящее утро наступило, рассеивая по стенам дрожащие солнечные пятна и тени от миндального дерева. "Зимой теряется половина этой прелести", - подумала Ася.

Из окна дома видно было, как лесистая, горная твердыня резко обрывается, свесившись над самой большой долиной в горах Самарии - долиной Дотан.



Долина Дотан

Широкий спуск долины утопал в зелени. Внимательно взглядевшись, вдали можно было увидеть верхушку насыпного кургана - "Колодец Иосифа", или, как его называют арабы - "Бир

Ёсэф". На несколько километров южнее начинается Санурская долина¹.

В дождливые зимы северная часть её превращается в бессточное озеро, в котором местные арабы умудряются выращивать рис.

Августовские холмы Самарии, выжженные до желтизны, оттенялись зелеными пятнами оливковых, инжирных и миндальных рощ. Золотой перезвон листьев, исторгнутый горным ветерком Самарийской арфы, погружал Асю в настроение легкой беспечности - с такой беспечностью взбегал по ступеням театра Моцарт.

На осенние праздники во двор приходил, навьюченный осенью, рыжий верблюд, и тогда Самарийский пейзаж, смешивая уходящую зелень винограда с фиолетовыми пятнами спелых гроздьев, одевался в красно-желтые цвета, и это означало, что лето кончается.



"Мы, подобно героям Достоевского, вытягиваем шею, чтобы разглядеть счастливую землю, раскрыть секрет ее счастья. А ответ прост, земля у каждого своя..."

В. Березин

Сад, точно скучающий клерк, сонно стоял за зеленой конторкой, и только руку протяни, как уткнешься в лапы высоких кипарисов. На траве валялся сломанный летний зонт. На крыше дома оживленно ворковали горлицы. Из-за куста выглянул ёжик.

¹ Поселений Санур, Кадим, Ганим и Хомеша больше нет, - разрушены израильским правительством в августе 2005 года.

Острые спицы лимонника ему нипочём – свои острее. Дно бассейна усыпано опавшими листьями от близко растущей груши.

Ася поднялась на второй этаж.

- Иони, посмотри, твои краски!

- Они давно пересохли.

Он развернул мольберт лицом к стене.

По стенам галереи время от времени пробежали разноцветные лучики. Розы на каминной полке источали запах позднего лета. Ася протянула к ним руку, – острые шипы вонзились в ладонь, перед глазами сверкнула молния.



Я рисую тебя, и наброски в камине сгорают.
На галерее светло. Мы с тобою сегодня одни.
Темно-бархатный грог позабыт – в стороне остывает,
И в него окунается ночь, как пятнистый налим.

Мы с тобою, как музыка в сотах любовного бреда, –
Жаркий воздух колеблется, как на ветру палантин.
На рисунке раскатанной шерсти шотландского пледа
Изумрудно-зеленые зерна клюющий павлин.

Ты останешься слогом на ветви фамильного древа.
Задышались вишни, зажатые в белой горсти,
И ладони мои перепачканы розовым мелом,
И горячие капли на лбу, словно капли росы.

На рассвете все грани отточены. Память острее.
И знакомится ночь с переводчицей нового дня,
И камин замолчал, догорают глухие поленья,

И беснуются тени, как черная грива коня².

В ванной, погрузившись в пенную воду, Ася думала о том магическом возрождении, которое переживает человек под воздействием воды. Здесь ей бывало уютно и спокойно, точно это теплая, утопающая в тиши комната, вмещала в себя спокойствие и волю всех вод Вселенной.

За окнами, процеженный густой зеленью сада, медленно остывал день; проскакивали, подрагивая на латуни дверных ручек, последние лучики света. Чуть слышно звеня, перекачивались сиреневые шары, в них свободно дышали и жили счастливые видения, какие бывают в замкнутом и непостижимом мире.

...Очередь за очередью. Волна пронеслась по комнате, пронеслась по дому. На втором этаже по всему фасаду летели стекла. Ася едва успела набросить халат, она дрожала от холода, ей казалось, что кожа стала стеклянной.

- Отойди от окна! – Крикнул Ионотан, передернув затвор автомата.

Следующая очередь прошла воздух, загрохотала падающая вниз черепица. В саду заскулил пёс Кили и замолк.

Еще не осознавая до конца, она уже знала, что происходит. Всё последнее лето к дверце холодильника магнитом прижат листок с инструкцией, как должны вести себя жители острова в случае теракта.

По экрану портативного передатчика, прикрепленного к стене, меняясь, бежали строчки:

"...оставаться в домах... есть раненые ...армия на месте..."

Казалось, что прошла целая вечность, пока из мегафона донесся голос офицера по безопасности: "Мехабель хусаль! (Террорист уничтожен!)"

Над островом зависли два вертолета. На кругу ждали бронированные "амбулансы". Двух девочек, женщину и мужчину эвакуировали в больницу.

Звенящая, дотоле незнакомая тишина, окутала остров, и Ася явно услышала: "Мир нуждается в избавлении..." Слова эти прозвучали настолько отчетливо, как она никогда не могла бы уловить их реальным физическим слухом.

В висках пульсировало. Босые ноги ступали по холодным плитам комнаты, которая прежде была кабинетом. Она открыла входную дверь и по ступеням, усыпанным мелкими стеклами,

² Все стихи Э.Пастернак.

вышла в сад и пошла по гравию в осколках черепицы, бывшему прежде садовой дорожкой.

С этой минуты ничего уже не будет прежним.

Ася шла, и прохладный ноябрьский воздух словно застыл среди деревьев, не в силах шелохнуть облитые тусклым светом, потемневшие и засохшие в ожидании смерти, листья.

На улице никого не было, ни единого человека, и улица эта в обрамлении темных домов, в которых не светилось ни огонька, распростерлась перед ней, как безмолвный кратер безумия. Иони догнал её. Он обнял Асю за плечи, и она закрыла глаза. Возможно, он тоже закрыл глаза и не видел низко нависших над ними тяжелых звезд ночного неба.

Каждый из них, грешный в своем неодолимом порыве и непорочный в своей боли, давно знал, что нельзя преодолеть и самую краткую дорогу, если её не сопровождает вера в Творца.

חשוון מוחא לעצמו כפיים
אוויר מקרח – נושם לאט
מעל ענפים כמו טיפות המים
צלילי תחנון בע"פ וכתב.

אל תעזבני אפילו לרגע
אנא שלח לי מלאך רפאל
קולות צעקה בחושך נמוגו
'ממעמקים קראתיך האל...'

חיינו יתר שבריריים בחורף
יש ועצים מתים מרעב
תקופה אחרי תקופה נגררת
ישום דבר לקודמו לא שב.

Холодный ноябрь рукоплещет,
едва дышит застывший воздух.
Поверх деревьев несется вечный
мотив мольбы ножом острым.

Не оставляй меня ни на минуту –
пошли мне ангела Рафаэля,
мой голос уходит в глухую немоту
"Из недр глубоких зову тебя, Эль!"

Человек – дерево полевое. В инее
умирают деревья нежные.

Тяжелые облака проплывают мимо
и ничего не остаётся прежним³.

Ноябрь – 2002; Февраль – 2006;
Поселение "Хермеш",
Северная Самария



³ Перевод автора.

Александр Матлин

Слышно, как упала булавка



синагоге наступила тишина.

В таких случаях говорят, что стало слышно, как пролетит муха или как упала булавка. Но в синагоге не летали мухи, а все булавки находились на своих местах, и не было никакой причины им падать. Впрочем, об этом мы ещё поговорим.

В наступившей тишине не чувствовалось ничего зловещего. Напротив, тишина была вполне благоговейная, и произошла она не спонтанно, а по прямому указанию раввина, который предложил всем встать, открыть книги на странице 220 и молиться про себя до страницы 246. Со стороны прихожан не возникло никаких возражений, поскольку *амида*, то есть безмолвная молитва традиционно входит в состав каждой субботней службы.

Итак, стояла тишина, прихожане беззвучно молились, слегка кланяясь, когда встречалось имя Всевышнего. Казалось, ничто не препятствовало конгрегации достичь страницы 246, как вдруг тишину расколол пронзительный возглас:

– Ой!

Это отвратительное ”ой”, прозвучавшее в кроткой, беззащитной тишине, было громким, визгливым и настолько неуместным, что прихожане даже не успели испугаться. Они вздрогнули и, оторвавшись от молитвы, завертели головами, стараясь понять, откуда произошёл звук. Не найдя источника звука, они снова погрузились в молитву, так что надлежащая тишина продолжалась.

Но, как вы знаете, всё, что происходит один раз, как правило, повторяется. И точно: не прошло и двух страниц, как раздалось снова, ещё громче и визгливее:

– Ай!

Тут прихожане окончательно забыли про беззвучную молитву и начали тревожно переговариваться вполголоса и крутить головами, до тех пор, пока их взгляды не сошлись в одной точке, вернее на одном человеке, который не крутил головой и

вообще не шевелился, а стоял недвижимо, как соляной столб, тупо глядя в пространство. Стало ясно, что звук исходил именно от него.

Теперь, когда загадка частично прояснилось, следует рассказать, кто такой был этот остолбеневший прихожанин. Звали его Дэйв. На вид он был очень старым, а на самом деле ещё старше. В синагоге любили его за кроткий нрав и молчаливость. О том, что его зовут Дэйв, они узнали не от него, а друг от друга, потому что сам Дэйв ни разу никому не представился. Фактически, никто никогда не слышал, чтобы Дэйв произнёс хоть одно слово. При попытках прихожан заговорить с ним он улыбался, кивал головой, но звуков не издавал. В конце концов, прихожане убедились в том, что Дэйв был глухонемым, и это ещё больше повысило накал их симпатии к нему. Они стали обращаться к Дэйву жестами, чем-то вроде самодельного языка глухонемых, на что Дэйв всё так же улыбался и кивал головой. Несмотря на свою глухонемоту, синагогу он посещал регулярно, не пропуская ни одной службы, будь она в пятницу вечером или в субботу утром. Это прихожане ценили.



Ах, бедные наивные прихожане! Они даже не подозревали, что в действительности Дэйв не был глухонемым. Совсем наоборот, в кругу семьи и своих друзей он был чрезвычайно болтливым стариком. Я знаю, что никакая научная гипотеза не могла бы объяснить этого иррационального, можно сказать подозрительного поведения старого Дэйва.

На самом деле, объяснение оказывается до обидного простым.

Дело в том, что Дэйв был недавним иммигрантом из Кишинёва и не знал ни одного слова по-английски. В кругу семьи и друзей, несмотря на свой преклонный возраст, он был просто Додик. Жена его Клава довольно бойко жонглировала английскими словами, особенно такими, как *дискаунт*, *сейл* или *клиренс*. А Додик – совсем ни в зуб ногой. Эту свою англоязычную безграмотность он провозгласил чем-то вроде принципа. Дескать, зачем мне в моём преклонном возрасте мучить себя и портить остаток жизни какими-то паршивыми, нечеловеческими словами?

Томимый бездельем, Додик однажды посетил ближайшую синагогу, и это повернуло его жизнь в новое русло. На удивление самому себе, он страстно полюбил синагогу. Видно, проснулись в нём сладкие воспоминания детства, когда ласковый дедушка учил его петь за пасхальным столом:

– Ма-ниш-тана ха-лайла хазе мико-ол ха-лей-лот...

В синагоге Додик всё нравилось. Нравилось, как прихожане ему улыбались. Нравилось, как раввин мягко говорил что-то спокойное, не похожее на приказ, но все разом вставали. Потом раввин говорил ещё что-то, так же мягко, и все разом садились. Додик тоже вставал и садился. Ему нравилось, что никто на него не кричал. Попробовал бы этот раввин прикрикнуть на Додика, как, бывало, покрикивал в Кишинёве председатель парткома, – чёрта с два встал бы он!

Особенно Додик нравилось, что после службы все шли в другую комнату, и там можно было выпить чаю и съесть пирожное или бублик с красной рыбой, и всё совершенно бесплатно. В общем, полюбил Додик синагогу запоздалой стариковской любовью и стал ходить туда по пятницам и субботам, благо делать ему всё равно было нечего, а синагога располагалась в соседнем квартале. Жена Клава эту нелепую страсть мужа не осуждала и даже поощряла, поскольку это давало ей возможность на несколько часов избавиться от своего надоедливой супруга и посвятить себя серьёзным делам, таким, как *сейл* или *клиренс*.

Ну вот, теперь мы можем вернуться в синагогу, к тому моменту, с которого начался наш рассказ. Первые полчаса служба ничем не отличалась от всех остальных субботних служб. Ну, а что произошло потом, вы уже знаете. Поднялся жуткий переполох, переходящий в панику. Ещё бы: человек умирает прямо на виду у всей конгрегации. Одни кричат:

– Врача! Звоните врачу!

Другие тоже кричат, ещё громче:

– Зачем звонить!?! У нас тут своих врачей полсинагоги!

И точно, со всех концов зала, сорвавшись со своих мест, бегут к умирающему прихожане. Врачи, значит. А те, кто остались на своих местах – это, значит, не врачи, а наоборот – адвокаты. Им возле умирающего делать нечего. Вот когда он совсем отбросит коньки – тогда другое дело. Тогда, конечно, адвокаты проявят активность.

Первый, который добежал до умирающего Дэйва, то ли врач, то ли просто активист, заглядывает Дэйву в глаза и пытается с ним заговорить.

А Дэйв молчит. Стоит, не шевелится и не падает.

Врач-активист бьёт его по щекам, чтобы вернуть к жизни. А Дэйв молчит, как молчал. Не шевелится и не падает.

Конечно, было бы это дома в Кишиневе, Додик не позволил бы лупить себя по щекам. Он в ответ так бы врезал этому прихожанину, что тот бы долго помнил. Но тут – не Кишинев. И Дэйв молчит, только грустно смотрит перед собой невидящим взором.

Тогда другой врач, тоже, видать, активист, пытается подружески обнять Дэйва за плечи. У любого нормального человека от такого благородного жеста должны проснуться положительные эмоции. Но Дэйв почему-то проявляет другие, совершенно неприличные эмоции. Он вздрагивает и вскрикивает во всё горло:

– Ай!

И человек, который пытался его обнять, отдёргивает руку. И все пугаются. И смотрят в растерянности друг на друга. Один врач говорит:

– Мне кажется, у него инфаркт.

Другой врач говорит:

– Это вы бросьте! У инфаркта совсем другие симптомы. При инфаркте человек должен, прежде всего, упасть и лежать, а этого насильно не свалишь. По-моему это, скорее инсульт. Видите, у него речь поражена.

Третий врач говорит:

– Ах, право, доктор, что вы говорите! У него никакой речи отродясь не было. Он же глухонемой, как пень.

– Какой он глухонемой? Он только что кричал “ай”.

– Подумаешь – ай! Это ещё не речь.

– Конечно, речь. Он до этого ещё “ой” кричал. Может у него такой словарный запас.

Тут ещё один врач вмешался.

– Знает что? – говорит. – У него никакой не инфаркт и не инсульт, а просто геморрой. Поэтому он стоит, а не садится.

На это все прихожане разом возмутились:

– Вы что, не видите, что вся конгрегация стоит, потому что мы молча молимся? Что ж, у нас у всех геморрой, по-вашему?

– А что вы думаете? – защищается врач. – В нашем-то возрасте...

А один прихожанин высказал такую мысль:

– А может, – говорит, – он республиканец?

Ну, тут, конечно, все на него гневно зашикали. Дескать, ты говори, да не заговаривайся. Если человек глухонемой или страдает геморроем, значит сразу уж республиканец?

В общем, наступила полная неразбериха. Одни кричат, что нужно скорую помощь вызвать, другие – что больному надо на воздух, третьи – что надо позвонить его жене. На этом, в конце концов, сошлись: немедленно звонить жене! Стали искать номер телефона, а его, оказывается, никто не знает. И в списке членов синагоги Дэйва нет. И как его фамилия – никто не знает. Вот такой конфуз. Кто-то предложил вызвать полицию, чтобы идентифицировать личность Дэйва. На это сам раввин вмешался и привлечь к такому делу полицию запретил, чтобы не марать чистую репутацию синагоги.

Но тут, слава Богу, нашёлся один старичок прихожанин. Он по причине своей глуховатости поначалу не обращал внимания на весь этот переполох. Но потом вокруг Дэйва поднялся такой гвалт, что даже этот старичок забеспокоился и пришаркал к месту события. Увидел он Дэйва и говорит:

– А! – говорит. – Я его знаю. Он мой сосед по дому. Голдман его фамилия.

Ну, тут уж телефон Дэйва в два счёта разыскали, и сам раввин взялся позвонить его жене. К счастью, Клава дома оказалась.

– Здравствуйте, миссис Голдман, – вежливо объявляет раввин. – С вами говорят из синагоги. Пожалуйста, не волнуйтесь.

– Ох, уж не помер ли? – говорит Клава, и в голосе её звучит тревога с некоторым оттенком надежды.

– Пока нет, – говорит раввин и далее подробно рассказывает обо всём, что произошло в это утро в синагоге. И под конец объясняет Клаве, что у её супруга диагноз ещё не установлен: может быть, это инфаркт, а может быть инсульт, а может быть даже, не приведи Господь, геморрой.

Клава немного помолчала, а потом спрашивает:

– Какая на нём рубашка?

– Что вы имеете в виду?

– А то, что говорю, то и имею. Какая на нём рубашка – кремовая?

- Вроде бы да, кремовая.
– В полосочку?
– В полосочку.
– Ну, так я и знала. Идиот.
– Извините?
– Да нет, не вы. Это я про него. Он идиот.
– Понимаю, – говорит раввин, пытаюсь уловить связь между умственными способностями Дэйва и цветом его рубашки.
А Клава, бедняга, совсем разнервничалась. Говорит:
– Я ему эту рубашку вчера в Таргете на сейле купила. Новая рубашка, не распакованная была, понимаете?
– Понимаю – говорит раввин, делая такой участливый голос, как будто он и правда понимает, что говорит Клава.
– А этот болван, – кипятится Клава, – сегодня утром, пока я спала, распечатал рубашку и напялил на себя. Ну не идиот ли?
– Хм... Что же в этом такого... ммм... идиотского, позвольте спросить?
– Как что! – кричит Клава. – Знаете, как эти рубашки запакованы? Всё на булавках! Там в одной упаковке десятка два булавок! А этот дурак ничего не соображает, так с булавками рубашку и надел! Вот и орёт теперь!



Трудно сказать, что в этот момент подумал раввин, и какое у него было выражение лица. Замечу только, что в синагоге паника сменилась ликованием. Женщин попросили удалиться, после чего два волонтера осторожно раздели Дэйва до пояса и вытащили булавки из его рубашки и из него лично. Вполне возможно, что в процессе этой операции одна булавка упала на пол, но теперь этого никто бы не услышал. Дэйв оделся, снова стал улыбаться и охотно позволять обнимать себя за плечи.

И вот наша история подошла к счастливому концу, ибо что может быть счастливее чудесного исцеления человека, даже если он глухонемой? Дэйв был счастлив. Раввин был счастлив. Прихожане были счастливы. Только адвокаты немного огорчились.

Рисунки Вальдемара Крюгера



Артур Кальмейер

Путешествия

Подборка четырёх переводов

Уолт Уитмен: песня большой дороги

Из сборника Листья Травы

1



ешком, с лёгким сердцем, выхожу на большую
дорогу,
Здоров и свободен. Весь мир открыт предо мной,
И выжженная солнцем дорога ведёт меня, куда захочу.

Я не ищу удачи, потому как сам я удача.
Я больше не хнычу, не откладываю на потом, ни в чём не
нуждаюсь.
Конец попрёкам и жалобам, библиотекам и критикам тоже:
Сильный, готовый к любым переменам, выхожу на дорогу.

Земля – вот всё, что мне нужно,
И никаких созвездий поближе –
Я знаю, им комфортно там у себя:
Это то, в чём нуждаются обитатели дальних созвездий.

(Всё же я тащу в рюкзаке старый груз –
Куда б я ни шёл, всегда за плечами мужчины и женщины,
От которых, клянусь, невозможно избавиться –
Я полнюсь ими, и в отместку наполняю их тоже).

2

Ты, дорога, на которую ступила нога, я гляжу на тебя и думаю –
наблюдателю видно не всё;
Я верю: в тебе много невидимой сути.

Вот он, примерный урок восприятия – всех принять, никого не отвергнуть:
Негр с пыльной шерстью волос, преступник, калека, безграмотный парень –
никому нет отказа в дороге,
Если роды в дороге, добровольцы бегут за врачом, хромают откуда-то нищий,

спотыкается пьяный, гогочут подвыпившие мастеровые,
Вот сбежавший из дому подросток, карета богатого и фанфарон,
вслед за ними
любовная пара, удравшая от родни,
Торгаш, спозаранку спешащий на рынок, погребальные дроги,
повозка с мебелью
движется в город, а эти – обратно из города.
Все следуют мимо меня – а я мимо них – постоянно в движении,
никто никому не помеха,
Никто не нуждается в признании встречных, каждый равно другим безразличен.

3

Ты, воздух, необходимый мне для дыханья и речи!
Вы, предметы, вызывающие из небытия строфы, придающие форму стиху!
Ты, свет, окутавший меня и дорогу морозящим настырным дождём!
Вы, тропинки, протоптанные пешеходами по обочинам мокрой дороги!
Я знаю, в вас роятся невидимо жизни – потому вы и дороги мне.

Вы, мощёные улицы города! Вы, грубые камни бордюров!
Вы, паромы! Вы, доски, сваи пристаней! Ты, обшивка причалов и Вы,
уходящие в море суда!
Вы, ряды бесконечных домов! Вы, пронзённые окнами фасады и крыши!
Вы, веранды и входы! Ты, мельканье чугунных решёток!
Вы, окна – прозрачность пустых оболочек, обнажающих больше, чем стоит
открыть посторонним.
Вы, ступеньки, ведущие к дому, вы, двери! Вы, округлые арки!
Вы, серые плиты уходящих вдаль мостовых! Вы, исхоженные перекрёстки!
Из множества прикосновений вы удержали частицы бредущих,

чтоб поделиться со мной по секрету
посланиями живых или мёртвых, до меня побывавших на этой
бесстрастной дороге,
возникающими, словно духи, пришедшие с дружеской вестью.

4

Земля, простёртая влево и вправо.
Живые картины встают предо мной, выставляя себя в лучшем виде,
Если хочешь, прозвучит и музыка сфер, умолкая по твоему
повелению.
Радостен голос открытой дороги, освежающий чувства.

О, большая дорога, ты говоришь мне: «Не оставляй меня, путник!»
Не ты ли шепчешь: «Если не хочешь пропасть, не уходи от меня»?
Не ты ли мне намекаешь: «Я готова нести тебя дальше, наезжена,
благонадёжна»?

«О, большая дорога, – отвечаю я, – мне не страшно расстаться с
тобой,
просто я тебя полюбил,
Ты способна сказать за меня всё, что трудно выразить в строфах,
Ты стала мне ближе, чем другие стихи моих странствий».

Думаю, подвиги древних героев зародились под небом открытых
дорог
как вольные песни поэтов,
Наверное, сам бы я тоже мог здесь творить чудеса,
Я думаю, всё, что встретится мне по пути, достойно любви, и все,
кто увидят меня,
полюбят меня несомненно,
Счастлив будет любой повстречавшийся мне.

5

С этого часа я провозглашаю себя свободным от мнимых границ и
преград,
Иду, куда сам захочу, абсолютный хозяин себе самому.
Я согласен прислушиваться ко всему, что расскажут другие,
Внимая речам посторонних, размышляя, обдумывая варианты,
И со спокойной учтивостью, мягко, но твёрдо освобождая себя
От необходимости следовать посторонним советам.

Я пью большими глотками сквозняк открытых пространств,
Восток и запад – мои, так же, как юг или север.

Я стал больше, чем представлял себе раньше,

Никогда раньше не знал, сколько во мне доброты.

Прекрасным видится мир,
Я могу повторить многократно мужчинам и женщинам
встречным:
Вы мне дали так много добра,
Я хочу отплатить вам добром –
Расстараюсь для вас и себя по пути –
Смешаюсь с людьми на открытой дороге,
Бросая всем встречным выносливость с радостью вкупе,
Меня не озаботит, если кто-то отвергнет меня,
А приемлющих благословлю и приму благословение встречных.

6

Теперь, если бы тысяча совершенных мужчин предстала вдруг
передо мною,
я бы не удивился.
И если бы тысяча прелестнейших женщин явились сюда, меня
тоже это бы не удивило.
Потому что мне открылся секрет создания лучших людей:
Их надо растить под открытыми вширь небесами, чтоб питались и
спали
на голой земле.
Здесь есть место для подвигов без прецедента
(для деяний, способных покорить сердца поколений,
вливающих силу и волю, превыше законов и установлений,
выше правительств, аргументов, табу и запретов)

Вот испытанье для мудрых,
Для мудрости, не пройденной в школе:
Мудрость не передаётся от одного человека другому, лишённому
знаний,
Мудрость – в каждой душе, вещь в себе, неподвластная тьме
доказательств,
Приложима к вещам и объектам, она самодостаточна и не
криклива,
Это вещность реальности и бессмертия мира, совершенство
явлений природы;
Есть нечто в потоке вещей, что рождает мудрость души.

Время пересмотреть философии и правдивость религий.
Они хороши в стенах душевных аудиторий, но бессмысленны под
покровом
затянутых тучей небес или близ звенящих ручьёв.

Осознание:

Здесь каждый поймёт свою цену, узнает, чего взаправду он стоит:
Прошлое, будущее, величие природы, любовь – если они далеки от
тебя,
значит ты их лишён.

Пропитанье души – как зерно.

Где здесь тот, кто ответит шелуху для тебя и меня?

Где он, готовый открыть нам разгадку, сняв покровы неведомых
таинств?

Притяженье людей здесь взаимно, но не по согласованным ранее
планам, напротив:

Знаешь ли ты, как прекрасно идти по дороге, когда в тебя
влюбляется встречный?

Знакомы ли тебе слова внезапно перехваченных взглядов?

7

Теперь – откровенья души.

Избыток души истекает через тёмные шлюзы, провоцируя тучу
вопросов.

Томленье дороги, откуда оно? И зачем здесь неясные мысли?

Почему встречные мужчины и женщины, возбуждают жажду
близости

в напоенной солнцем крови?

Почему, когда они проходят мимо, флаги счастья обвисают на
мачтах?

Почему, проходя под незнакомыми раньше деревьями, я чувствую,
как в душе

начинают громно звучать певучие мысли?

(думаю, они обычно висят на ветвях, зимою и летом,
и падают лишь при моём приближенье)

Чем особым веду я обмен с незнакомым прохожим?

Или с кучером, усадившим меня рядом на облучок?

Или с рыбаком, когда я останавливаюсь поглазеть, как он тянет на
берег

упрямую сеть?

Откуда берётся открытость к добру у встреченных мужчин и
женщин?

И откуда она у меня в отношении встречных?

8

Излияние душ – это счастье, вот оно, счастье.

Я думаю, оно разлито повсюду, в ожидании каждого,

И теперь проникает в нас, наполняя до края,

Подымается в воздух, обретая черты незнакомца.
Эта жидкость и эти черты, словно свежесть и сладость мужчины и девы
(побеги утренних трав не бывают свежее и слаще излияния душ).

Сок любви привлекает любого, молодого и старого, на зов нежной неги,
От него расходятся волны флюидов, что сильнее самой красоты или воли,
Его жаждут утомлённые дрожью и болью души, ищущие контакта.

9

Идём поскорее! Кто бы ты ни был, отправляйся со мной!
Во мне ты найдёшь спутника, не знающего усталости.

Земля не устаёт никогда.
Сперва ты можешь подумать, будто она груба, молчалива, невнятна,
что Природа нам непонятна, чужда и груба,
Но ты не сдавайся, иди, впереди нас ждут удивительно новые вещи,
Клянусь, нас ждут чудеса, для которых и слов не найти.

Идём поскорее! Вперёд и без остановок,
Как ни чудны битком набитые лавки, как ни сладок ночлег в домах у дороги,
нам нельзя оставаться,
Как тиха б ни была эта гавань и как ни спокойны здесь воды,
мы не бросим здесь якорь,
Как тепло нас сейчас ни встречают, нам позволено присесть на одну лишь минутку.

10

Идём поскорей! Впереди ждут почище соблазны,
Поплывём без планов и карт по диким морям,
Туда, где рождаются ветры, где вздымаются бурные воды,
Куда мчит янки-клиппер, распустив паруса.

Идём поскорей! С нами сила, свобода, стихии,
Здоровье, восторг, бесшабашность, любознательность, гордость собой.
Идём же! Подальше от стылых доктрин!
От всех ваших формул, о, жрецы материализма с глазами летучих мышей.

Когда смрадный труп преградит нам дорогу – мы предадим его
тело могиле.

Идём же скорей! Но предупреждаю тебя:
Моему спутнику понадобятся лучшая кровь, сила мышц и
выносливость тела,
Пусть никто не поддастся искусу, кто не обладает здоровьем и
мужеством,
Не приходите ко мне, кто растратил себя на пустое,
Только те, кто здоров, силен и бесстрашен.
Здесь не место для слабых, пьянчуг и больных венерических
клиник

(Я и те, кто со мной, убеждаем не силой метафор и рифм и не
логикой аргументаций –
Наша жизнь – убеждение слабым).

11

Слушай! Буду с тобой откровенен:
Я не предлагаю тебе старых почётных призов – будут грубыми эти
награды,
Таковы будут дни, что тебя впереди ожидают:
Тебе не скопить по дороге того, что называют богатством,
Ты рассыпешь щедрой рукой всё, что сам наживёшь и создашь,
И когда судьба приведёт тебя в город, в который ты шёл, ты едва
ли
задержишься передохнуть, потому что дорога зовёт тебя в путь.
Остающиеся и отставшие станут глумиться над путником,
отпуская злые насмешки,
Какую б любовь ни нашёл ты, она оставит тебе только страстный
поцелуй на прощанье –
Тебе дано не больше того, как дотронуться до прощально
протянутых рук.

12

Идём поскорей! За великими покорителями дороги! Пойдём
вместе с ними!
Они тоже вечно в пути – быстроногие, сильные мужчины и
чудесные женщины,
Радующиеся спокойной воде и дикому шторму,
Плывшие по разным морям, прошедшие много дорог,
Привычные к дальним краям, ночевавшие под крышами чуждых
селений,
Внушающие доверие людям, одинокие труженики, исследователи
городов,

Останавливающиеся в пути просто полюбоваться пучками травы,
цветами
и ракушками на берегу,
Они танцуют на свадьбах, целуют невест, заботливо помогают
маленьким детям
и сами рожают детей,
Солдаты всех революций, они стоят у развёрстых могил,
это они опускают в могилы гробы,
Идущие год за годом вперёд, каждый год их страннее другого,
Мужчины бодро идут по дорогам рядом с собственной юностью,
с бородатой уверенностью собственных зрелых лет,
И женщины – полны женственной статью, счастливы невозмутимо.
Старость их величава, приемля возраст мужской или женской
природы.
Старость эта спокойна и так широка, что включает в себя
бесконечность вселенной
И свободно стремится к уже драгоценному, близкому
освобождению смертью.

13

Идём же скорей! К тому бесконечному, что не знает начала,
Впереди ждёт всё то же – марш-броски и ночлеги,
Идти, чтоб отдалиться походу, для него наши дни, для него наши
ночи –
начала других восхитительных странствий,
Чтоб не видеть в пути ничего кроме цели, а потом оставить и её
позади,
Чтобы, как далеко ни смотреть, исчезало бы само время, когда ты
нагоняешь его
и оставляешь потом позади,
Чтоб не было перед тобой ничего – лишь дорога, а ей всё равно,
сколько нужно тебя поджидать,
Чтоб не видеть ни создания живого, ни Бога, самому шагая вперёд,
Чтоб не ради сокровищ, но для владения всем – без трудов и без
денег –
избегая всех пиршеств и всё же участвуя в пире,
Чтобы взять всё лучшее из встреченной фермы и из вилл богачей,
из целомудренного счастья супружеских пар,
насладиться цветами, вкусить плодов садового,
Чтобы взять во владенье себе городки, через которые шёл,
Чтоб нести в себе дома их и улицы, куда ни вела бы дорога,
Чтобы при встречах с людьми забирать с собою их мысли, собрать
их любовь,

Увести за собою всех, кого полюбил по дороге, оставив им всё от себя,
Чтоб понять: вся вселенная – просто дорога, перекрестье
несчётных путей,
дорог для блуждающих душ.
Всё расступается, открывая дорогу шагающим душам,
Все религии, установленья, искусства, правительства – всё, что
есть
на этой планете и на любой из планет, прячется по углам,
скрывается в ниши
перед этой процессией душ, шествующих большой дорогой
вселенной.
Весь прогресс – только символ, эмблема, прообраз движения душ
мужчин и женщин, идущих по этой дороге.
Бессмертные души, устремлённые вечно вперёд,
В гордом достоинстве или печали, безумцы, не знающие покоя,
теряющие силы,
изломанные или неудовлетворённые жизнью,
Отчаявшиеся, любящие, больные, удостоенные признанья людей и
изгой –
Они идут! Они идут! Я знаю – они идут, но не знаю, куда.
И всё же я знаю, что это дорога к прекрасному, к чему-то
великому.
Кто бы ты ни был, выйди вперёд! Выходи же, мужчина и
женщина!
Нельзя оставаться в постели, хватит нежиться в доме,
даже в том, что построен тобой.
Прочь из тьмы заключенья! Выходи из-за ширмы!
Бесполезны протесты, мне известны твои отговорки, я их не
приемлю!
Я вижу тебя насквозь: ты паршивец, как все остальные.
Сквозь смех твой и танцы, званые обеды и ужины, мельтешенье
людей,
Сквозь одежду и мишуру украшений, сквозь умытые, холёные
лица
Я вижу твой сдавленный ужас и отвращенье собой.
Ни жене, ни мужу, ни другу не исповедуешься в этом уродстве,
В существовании двойника, дубликата, что прячется, мрачный,
Бесформенный и бессловесный, на улицах города, учтиво толкует
в гостиных,
В вагонах, пароходных салонах, в публичных собраниях,
В гостиных у таких же мужчин и у женщин, за столом или в спальне,
везде

Нарядно одетый, нарочито смеющийся, негнибаемо стойкий,
хранящий под рёбрами смерть, а в черепае – ад.
Под фраком и перчатками, под лентами и искусственными
цветами,
Вечно верны обету: ни словечка о подлинном страхе,
Толкующие обо всём, что угодно, никогда – о себе.

14

Идём же! Через сраженья и войны!
Цель названа, и её не дано отменить.
Удались ли тебе предыдущие схватки?
Кто тогда победил? Ты? Народ твой? Природа?
Послушай и постарайся понять – суть вещей такова, что плод
всякой победы
всегда выливается в нечто такое, что таит в себе новые войны.

Мой призыв – это тоже зов к бою, я готовлю восстанье,
И те, кто за мною пойдут, должны выбрать оружие получше,
Тому, кто со мною идёт, нужно быть готовым к голоду и к нищете,
ко встрече с жестоким врагом и к предательствам близких.

15

Вперёд! Перед нами открыта дорога!
Не бойся ступить на неё, я проверил её безопасность подошвами
собственных ног,
давай же, не медли!
Оставь белый лист на столе, и книгу оставь нераскрытой!
Пусть скучают инструменты в твоей мастерской!
Пусть остаются незаработанными деньги!
Пусть стоит опустевшею школа! Плевать на зовы учителей!
Пусть проповедник жуёт свою жвачку с амвона, адвокат
кривляется в зале суда,
пусть судья без нас вершит правосудье!
Товарищ, я протягиваю тебе руку!
Я даю тебе эту любовь, она драгоценней валюты,
Я даю тебе себя самого вместо проповедей и наставлений,
Отдашь ли и ты мне себя? Отправимся вместе в дорогу,
Друг с другом навек неразлучны, пока будем жить?

Йехуда Амихай: Еврейские путешествия ЕВРЕЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: ПЕРЕМЕНЫ - ЭТО БОГ, И ПРОРОК ЕГО - СМЕРТЬ

1.

Еврейские путешествия. Как написано: "Я подниму глаза вверх, к вершине горы, откуда придёт ко мне помощь".

Это не восхождение на пик ради того, чтоб увидеть величие гор, не карабканье по отвесной стене в поисках невиданной панорамы природы,

это тяжёлый подъём с заранее заданной целью – спрашивать помощь у Неба.

Как понимать: "Я подниму глаза вверх"? Тяжёлые еврейские глаза, их ещё нужно

поднять.

Там написано: "Кто взойдёт на гору Господню?"

Не распеваящий песни турист с рюкзаком за плечами, но хор Божьей паствы,

молящей о чистых руках и об искреннем сердце, здесь не нужны крепость мышц и упругие ноги.

Раздолье плодородных долин – лишь место для вознесенья молитв, ведь написано: "Из тёмных глубин я взывал к тебе, Боже".

"Зелёные пастбища" и "недвижные воды" – речь идёт не о лагере, разбитом в тени

у журчанья ручья для отдыха в летний солнечный полдень,

но о вознесении славы Всевышнему, потому что сразу за этим идёт:

"Долина Теней и Смерти" – тень смерти затмевает все прочие тени.

Еврейские путешествия. Сам Моисей лез на гору Синай

не скалолазом, влекомым вершиной, но за тяжестью груза Заветов.

Он карабкался на *Хар Нево* – Небесную Гору,

Не для того, чтоб спуститься, а чтоб умереть.

2.

Йехуда Галеви писал: "Востоку принадлежит моё сердце, хотя я обитаю на крайнем Западе".

Вот вам еврейские путешествия:

еврейские игры по метанию сердца между востоком и западом.

Между телом и сердцем, взад и вперёд, вперёд без возвращенья назад, или только

назад,

беглецом и бродягой без всяких причин и греха. Бесконечный поход, путешествие

Фрейда,

еврея, скитавшегося между телом и разумом, подсознанием и разумом,
только ради того, чтобы умереть в пути между ними.
Что же это за мир, где сердце существует само по себе, а тело – совсем в другом месте,
сердце, будто вырванное из нутра и пересаженное в другую размерность.
Я думаю о людях, которым даны имена в честь посёлков,
где они никогда не бывали и куда никогда не приедут,
или о художнике, рисовавшем портрет с фотографии – лицо человека, которого нет.
Или о евреях, по зову пропавшего сердца бродящих по свету,
невзирая на лето и зиму,
на жизнь и на смерть, вроде птиц перелётных.
Вот почему они так мертвы, и почему зовут своего Бога *Маком*,
что значит по-вашему – "Место".
А теперь, когда они вроде вернулись на Место, сам Господь их отправился в путь
по разным далёким местам, и теперь его именем будет "Места", а не "Место",
теперь это Бог Разных Мест.
Но даже воскрешенье из мёртвых – путешествие невероятной длины.
Так что ж остаётся? Чемоданы на верхней полке в шкафу, вот что нам остаётся.

3.

Моисей, стоявший на вершине горы *Хар Нево*, был первым, сказавшим себе:
"Западу принадлежит моё сердце, хотя я нахожусь на крайнем Востоке", но он же сказал:
"Востоку принадлежит моё сердце, хотя сам я на крайнем Западе",
и тем положил начало длиннейшей дороге, великому путешествию евреев.
Гора *Хар Нево* стала водоразделом, разделившим его устремленья:
хотя сердце тянулось к земле Канаана, которую ему не суждено было увидеть,
он повернул на восток, в пустыню сорока нескончаемых лет,
где было достаточно времени для написания Горы, мемуара о путешествии, путеводителя,
в каждой части которого он оставил часть самого себя,
одинокого, как дочь Фараона, как его сестра Мириам, как его брат Аарон,
как чернокожая жена его. Одинокого, как десять Заповедей.

4.

Моисей отправился на военные сборы, готовясь к долгому маршу в пустыне.

Он оставил патруль следить за возможным самовозгоранием кустов, объяснив, что делать в случае появления столбов огня или дыма, и вернулся в Египет, организовывать репетицию в костюмах, последнюю перед Исходом.

Акробат, он повторял каждое движение множество раз, пока не ощутил, что руки его чувствуют волшебную перекладину, как родную. Это манёвры со взрывчаткой, взаправду живые снаряды, здесь вас могут убить.

Те, кто ещё не знаком с топографией местности, изучите, пожалуйста, карту до марша.

Опоздавшим посланье: «Здесь я прошёл, здесь я уже был».

Значит: здесь состоялась печаль, и будет отныне печаль.

Так один из евреев – Иисус – отправил отряд на разведку к вершине Голгофы,

в долину вблизи Гефсемана и вверх по Via Dolorosa, внимательно осмотрел своё место захоронения, обмерял дотошно, проверил вес надгробной плиты, разузнал, какова здесь будет погода, и выяснил,

с какой глубины ему предстоит подыматься из ямы, чтоб предстать перед вами Христом.

5.

Каждый год наш отец Авраам водил своих сыновей на вершину горы Мориа, как я везу наших детей к негевским холмам, где когда-то гремела война.

Авраам водил сыновей по тропе: «Вот здесь я оставил всех слуг позади,

здесь, у подножья горы, привязал к оливе осла, а здесь, в этом месте, ты Исаак, сын мой,

спросил меня: “Благословенны дрова и огонь, но где твоя жертва для Бога?”,

и здесь вот, чуть выше, о том же спросил ещё раз».

Добравшись до самой вершины, они могли передохнуть, перекусить и напиться воды,

здесь он им показывал место, где горный козёл запутался рогами в кустах.

Когда Авраам умер, Исаак стал водить в то же место своих сыновей:

«Здесь я собирал дрова для костра, здесь у меня перехватило дыхание,

когда я спросил папу, а он отвечал: “Господь сам позаботится о жертвенном малом барашке, а здесь я и сам уже знал, что предназначен для жертвы”».

Когда под старость глаза Исаака затуманились дымкою лет, дети водили его туда же, на вершину горы Мориа, и рассказывали ему о местах,

где они проходили, обо всём, что, наверное, он давно позабыл.

6.

Мы больше не спрашиваем о том, куда исчезает Солнце, когда в небе восходит Луна,

куда исчез мой отец, где живёт Бог и где мой возлюбленный.

Наши вопросы теперь хитроумны, полны скрытого смысла, как крючки рыболовов с наживкой: куда делся тот человек, что был здесь минуту назад?

в каких точках меридианы пересекаются с параллелями? – вопросы с подмигивающей усмешкой, с прищуром смерти.

Где улица имени Пальмаха? Где улица, которую раньше звали «Пальмах»?

Где сам Пальмах, который они превратили в улицу, которая стала потом перекрёстком?

Что нам остаётся? Движение за и движение против.

Когда они сходятся вместе, возникает одна турбулентность.

Востоку и Западу не встретиться вместе, это две половинки туннеля,

которым не суждено повстречаться из-за ошибки тех, кто строил туннель.

Так что ж остаётся? Ощущение расширения – оно же и сжатие, так расширяются и сжимаются звёзды в ночи,

сжимаются в виде рта, вкусившего дольку лимона.

Всё о том же, что было и что могло бы здесь быть.

остаются наши дела, пустота наших жестов –

ровный ряд аккуратных деревьев, высаженных вдоль бровки бульвара.

7.

В петербургском музее недавно нашли брачный еврейский контракт,

датированный семнадцатым веком. Контракт с золочёным обрезом, обрамлённый изображениями фазанов и голубков, но без обличия жениха и невесты.

Слова хорошо сохранились, так же, как и золочёная вязь украшений.

Сегодня эта *кетуба* стоит больше, чем память о паре, вступающей в брак.

Голоса жениха и невесты навсегда позабыты, умолкли – это фокус воронки времён.

Как это было?

Он выдохнул «Я люблю тебя» до того, как сказал «Во имя Господа, ты мне дана»,

или после?

И как много вытекло времени между «Я люблю тебя» и формулой «Ты мне дана»?

Чему суждено было прорасти из этих слов, что случилось, что произнеслось, что шепталось, что осталось от праздничной ночи?

Чемоданы на верхней полке в шкафу, вот что осталось, чемоданы, пустые хранители снов.

8.

Еврейское путешествие совсем иного сорта: с женой и детьми я отправился в деревушку в Германии, где родилась моя бабка.

Дом с красной крышей стоит до сих пор, ручей возле сада струится, как прежде,

а между ручьём и игрушечным домом – разноцветье ухоженных клумб.

Мне пришла в голову мысль – хорошо бы украсить все клумбы цветами детского хора,

детьми с открытыми ртами, наподобье львиного зева, поющими песню о мёртвых.

Здесь девочка, ставшая потом моей бабкой, собирала малину, шелковицу,

мечтая, что потом, в незапамятном будущем, могут вырасти новые дети:

Шелковушка, Малинушка и Шелковинка, Малинка.

Тогда песня детского хора могла быть благовознесена к Богу...

В сухом жёстком суглинке Оливковой Горы похоронена бабушка, отсюда ушли теперь даже оливы, остались лишь камни и плиты могил.

Там лежит она, и память о ручье, бегущем у дома, о шелковице и о малине

лежит рядом с ней.

9.

Маленькое кладбище на невысоком холме среди плодородных полей –

еврейское кладбище за ржавой калиткой, прячущейся в кустах,

заброшенное и давно позабытое. Ни плача, ни звука молитвы здесь больше не слышно,
мёртвые не возносят Богу хвалы.
Только голоса наших детей разносятся звоном,
они ищут могилы и радостно восклицают всякий раз, когда им удаётся найти –
как грибы в осеннем лесу или как землянику.
Вот, здесь ещё одна! На ней имя матери моей мамы оставшееся с прошлого века. А вот ещё имя, и ещё!
Я пытаюсь счистить мох с одного из имён, вдруг –
гляди! Открытая ладонь – гравировкой на древней плите –
могила благочестивого,
пальцы протянуты в спазме святости, благословенья.
А эта могила спрятана в гуще ягодных зарослей,
и приходится раздвигать ветки, как пряди волос,
закрывающих лицо прекрасной любимой.

10.

Потом мы пришли к ритуальной купальне, спрятанной среди руин.
Добрый человек привёл нас сюда, как водят в одно из святилищ в джунглях Бирмы
или где-нибудь в Мексике.
Сорок лет эта *миква* лежала здесь без единой души, покрытая слоем еловых иголок,
некому их разгрести. Дождевая вода, очищавшая раньше бассейн, временами всё ещё падает с неба, но разрушен бассейн, больше здесь нечего чистить.
Малиновый куст вырос там, где на стене висело зеркало,
а вместо еврейки, глядевшей на своё отражение, растёт дикий папоротник.
Где над водой подымалось благоуханье, смешанное с запахом женщин,
плескавшихся в чистой струе, выросли плети вьюнка,
испарения стали запахом смерти:
женщины уничтожены в цикле грязи и очищения огнём,
в цикле Больших Перемен и Стремленья к Другому.
Говори, о, душа моя, Перемены есть Бог.
Цикл вообще есть Вселенная: кругооборот крови в телах, вод в Природе
и молитвенный цикл, отмечающий праздники в храме.
Говори, о, душа моя, пой о Боге, который и есть цикл жизни,
цикл восхвалений и жалобных всхлипов, молитв и проклятий.
Говори, о, душа моя, пой же, душа,
Перемены есть Бог, и пророк его – смерть.

11.

На закате, в последних лучах уходящего солнца, мы смотрели на маленькое футбольное поле в прогалине леса.

Белые меловые линии давно исчезли в траве, здесь больше не было ни границ, ни судей, ни правил игры. Мёртвые футболисты продолжали невидимо бегать по полю, и свисток разрывал тишину неслышным женским, жалостным вскриком.

Ворота – Правого Суда на одном конце футбольного поля и Ворота Милости – на противоположном конце, стояли без дела, с разорванной сеткой, не способной улавливать мёртвые души. Единственной вещью в центре футбольного поля, был старый чёрно-белый истрёпанный мяч, вполне реальный, такой же, каким был и раньше.

12.

Я бродил ночью один вдоль аллеи плакучих ив, опустивших бессильные ветви к земле, потом присел на скамейку, где маленьким мальчиком, многие годы назад,

ждал когда-то того, что случится.

Два поколения моих ожиданий пришли и ушли, теперь черёд поколения, которому предназначено забывать.

Цикл замкнулся – но сам цикл сломан.

Вот я сижу здесь опять, ожидая, под нависшими ветками ив, ожидаю появления мужчины. Другого.

В глазах моих слёзы серебром тянут нити ночных фонарей.

Если есть плакучие ивы, должны же где-то быть ивы восторга, у которых ветви тянутся вверх? (А когда ты сам последний раз плакал?)

Кольца ствола покажут в разрезе, как долго жила эта ива,

так же, как слёзы обозначат длину человеческой жизни.

Когда ты последний раз плакал?

13.

Он вышел из автомобиля, я предложил ему воды и спросил, откуда пришёл он, куда теперь держит путь, и действительно ли всё это нужно. Он отвечал сбивчиво, сам сомневаясь:

«Я в дороге. Путешествую туда и сюда. Это цикл отправлений, дорог и прибытий.

Я прибыл сегодня из давнишних дней, направляюсь к другим, но *Сейчас* постоянно со мною».

Он выпил глоток, вернул мне стакан и сказал:

«Они построили маленький храм там, где старый когда-то стоял.

Новый храм вполне современен, сияет, кондиционер работает без перерывов,
сиденья удобны и стенка, отделяющая женскую часть от мужской,
обита дорогостоящей тканью, дизайн высокого класса,
вот только они не могут собрать *миньян* для молитвы,
и в женской секции вовсе нет женщин.

Но вообще-то не забывайте про красный мемориальный фонарь,
это вечное пламя –
неизлечимый огонь, возбуждающий племя евреев.
Теперь вот построили новую *микву* на месте разрушенной старой,
а стены облицевали мрамором, покрыли золотом краны,
построили даже парилки и залы для гимнастических упражнений.
Проблема лишь в том, что женщин почти не осталось,
а те, что остались, не нуждаются в *микве*. С этим циклом
покончено. Всё».

14.

«Теперь мне опять нужно ехать.
Предстоит новый цикл возвращения памяти и забыванья.
Прощайте. Мы, может быть, встретимся снова», –
так он сказал, отворачиваясь от меня.
Я проводил его до чёрного автомобиля. Машина тронулась и
мгновенно исчезла.
Что же осталось?
Чемоданы на верхней полке в шкафу, это всё, что осталось –
как чемоданы, плавающие на поверхности масляных пятен, когда
корабль утонул,
пока и они...

15.

Я когда-то сказал: Бог есть Смерть, и Пророк Его – Перемены.
Теперь я успокоился, поразмыслил и говорю вам:
Перемены есть Бог, а Пророк Его – Смерть.

**ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ: ВОЛШЕБНО-ТАИНСТВЕННАЯ
ПОЕЗДКА**

Я веду спортивный приземистый автомобиль
ярко жёлтого цвета
под солнцем Италии.
У меня английский акцент.
Я в модных чёрных очках,
дорогой рубашке из шёлка,
и у меня под ногтями
нет грязи.

Радио играет Вивальди.
Со мною в машине
две дамы,
одна черноволоса, как ворон,
вторая – блондинка,
у них маленькие аккуратные груди,
красивые ноги,
и обе смеются всему,
что я ни скажу.

Когда машина идёт на подъём,
блондинка тискает моё колено,
придвигается ближе,
а прядь волос цвета воронова крыла
щекочет мне
ухо.

Мы останавливаемся перекусить
в тихом старинном отеле.
Перед ланчем
мы много смеёмся,
смеёмся во время еды,
да и после.

После ланча,
с другой стороны горы
за перевалом
спускает автомобильное колесо.
Блондинка начинает
ставить запаску,
а женщина с чёрными волосами
фотографирует меня,
пока я,
облокотившись на дерево,
раскуриваю свою трубку.
Совершенный пейзаж,
безупречно гармонирующий
с солнечным светом,
цветами,
облачками
и всяко поющими
птицами.

ЧАРЛЬЗ БУКОВСКИ: НИРВАНА

отрешён от жизненных целей
без шанса
на достижение успеха
молодой человек
сидел в автобусе
следовавшем
неизвестно куда
через Северную Каролину.
начинал идти снег
когда автобус остановился
в предгорьях
перед крохотным
придорожным кафе.
Пассажиры вышли
один за другим
и он уселся
у бара со всеми
заказал
и когда принесли поесть
оказалось
здесь готовят особенно вкусно
даже кофе.
официантка тоже
была непохожа
на других женщин
которых он знал.
она держалась естественно
от неё исходил
добрый юмор.
повар за стойкой
дурачась
отмачивал шутки.
посудомойка
в помещении сзади
смеялась
нормальным
человеческим
смехом.
молодой человек смотрел
на снег
густо сыпавший
за окном

и ему хотелось
остаться
в этом кафе
навсегда.
странное ощущение
овладело им
будто всё
здесь
было невероятно прекрасным
таким же
прекрасным
всё
здесь останется
навсегда.
потом водитель
сказал пассажирам
что пора отправляться
дальше
в дорогу.
молодой человек
подумал
я буду сидеть здесь
останусь и всё.
но потом
поднялся вместе со всеми
и побрёл на посадку
в автобус.
он нашёл своё место
взглянул на кафе
за окном
автобус тронулся
повернул за угол
ещё дальше
за гряды холмов.
молодой человек
смотрел не мигая
вперёд.
он слышал
голоса других пассажиров
обсуждавших
разные вещи
некоторые читали
или

старались уснуть.
они не заметили
волшебства.
молодой человек
склонил голову
набок
закрыв устало
глаза
притворяясь
что спит.
больше нечего
было делать
только слушать
гуденье
мотора
и шорох
шин
на снегу.



Виктор Гопман

Русский язык за рубежом

В каналах вода зелена нестерпимо.

И ветер с лагуны пронзительно сер.

«Вы, братцы, из Рима?» - «Из Рима, вестимо!»

«А я из-под Орши», – сказал гондольер.



рудно сказать, чему следовало больше удивиться в те времена, в конце семидесятых годов XX века, когда Александр Аркадьевич Галич написал эти строчки: русскому языку и русскому (точнее, белорусскому) происхождению венецианского гондольера – или появлению в Городе Дожей российских туристов. Впрочем, судя по диалогу, туристы эти – особого рода. Ведь что значит «Из Рима»? Значит это вот что: советские евреи репатриировались из СССР транзитом через Вечный город. Ну, а оказавшись в Италии (и будучи на пороге дальнейшего отбытия то ли в Израиль, то ли в Штаты), извечные советские узники, эти удачливые беглецы, старались не упустить представившихся им возможностей. И, в частности, убедиться, что и в самом деле существует на свете такое невообразимое место, как Венеция, своими глазами увидеть, как

Большой канал с косою ухмылкой

Оглядывался, как беглец...

Пастернак написал эти строки в 1913 г., пребывая в статусе туриста – то есть, человека, имеющего такой загранпаспорт и такую визу, которые позволяют, спустя произвольный, определяемый самим владельцем паспорта, срок, вернуться в страну, где этот паспорт был выдан. А герои Галича, плывущие в одной гондоле, имеют статус эмигрантов. Гондольер – тот, возможно, был солдатом Красной Армии, попал в плен и освобожден из лагеря союзными войсками, или же он принадлежал в свое время к категории так называемых «перемещенных лиц». Пассажиры гондолы – по всей видимости, репатрианты; на руках у них – советские паспорта с израильской визой и со штампом «Выезд на ПМЖ», то есть, на «постоянное место жительства». Пройдет какое-то время, и они – если жизнь

сложится благополучно, в материальном, в первую очередь, плане – могут снова оказаться в Венеции, и вот тогда-то, ставши обладателями израильских (или американских, или еще каких) паспортов, будут уже с полным правом именоваться туристами.

Мой туристический опыт с советским – собственно говоря, с российским – загранпаспортом в кармане крайне скуден: всего три выезда, причем первый раз я пересек государственную границу Российской Федерации, уже переваливши за полтинник, в 1993 году. Ведь в царствование Ильича Второго мне вряд ли светило разрешение на поездку – разве что в Болгарию, но видит Бог, как-то не стремился я собирать бесчисленные документы и характеристики, держать ответ перед выездными комиссиями райкома КПСС и обходить кожно-венерологические и психиатрические диспансеры с целью получения справки о том, что до этого момента я не переступал (по личной надобности, имеется в виду) порога этих почтенных учреждений и, следовательно, они меня не знают – с плохой стороны. И все эти мучения ради, в общем-то, сомнительного счастья оказаться на Золотых песках. Право же, хватало с меня и Рижского взморья, вполне хватало. Нормальный песочек, морская водичка (пусть слабосоленая и прохладная), приличное пиво, еще более приличное общество... Да и магазины города Риги располагали товарами, редко встречавшимися в России и в Москве – а если не поленился и сесть на электричку аж до Тукумса, то есть, подалее от протоптанных тропок, так там, в латвийской глубинке, можно было найти вещи, и для заграничной Болгарии немислимые.

По-настоящему мы с женой начали кататься уже с израильскими паспортами и объехали, наконец, почти всю Европу – благо, что израильтянам для посещения европейских стран виза не нужна. Свои путевые впечатления я уже неоднократно излагал в разных местах – а здесь мне просто хочется свести воедино несколько забавных историй о том, как нам доводилось услышать русскую речь «на всех широтах» (Иосиф Бродский), причем в самых неожиданных обстоятельствах.

Итак, начнем.

История первая. Брюссель. Вечер. Только что кончился дождик, мелкий и настырный, который мы с женой пережидали, за кружкой пива и блюдом сыров, в одном из соответствующих заведений бельгийской столицы. Выходим на улицу. Ну, вроде бы в направлении гостиницы нам сюда – через площадь, и потом забирать понемногу влево. Пошли. Идем, идем – а места все какие-то незнакомые. Хорошо бы уточнить у местного населения

– только на улице народу почти никого, да к тому же немногочисленные прохожие по-английски не очень... И начинает складываться нехорошее ощущение, что заплутали. А время, между прочим, уже к десяти. Дождя нет, но в воздухе висит мерзостная сырость, и под ногами лужи. Вдруг видим: дорогу переходит некая дама, в пальто с капюшоном. Бросаемся к ней наперерез, задаем вопрос, и – о чудо! – она отвечает, на хорошем английском, что сама идет примерно в том направлении, и мы можем держаться за ней. Пристраиваемся рядышком. И жена, не откладывая дела до гостиничного номера, приступает к разборкам – естественно, по-русски, хотя и вполголоса. Дескать, она же говорила, что надо было идти не туда, куда я ее потащил, а вовсе даже направо. Вот тогда мы как раз и вышли бы на ту улицу, по которой сейчас ведет нас наша благотельница... И тут благотельница на чистейшем русском спрашивает: «Вы из России?» Сами понимаете, услышать такое посреди почти ночного Брюсселя – ослобенеешь. Что мы и прodelываем, с трудом выдавив из себя: «Вообще-то из Израиля». И, переведя дух, который захватило от неожиданности, уточняем: «Впрочем, изначально – да. Из Москвы». Дама же оказалась – вы не поверите – из Вильнюса. Училась в Питере, работала и на берегах Невы, и на берегах Немана. А теперь представляет интересы – разумеется, Литвы – в какой-то комиссии ЕЭС. Но не успели мы толком разговориться, буквально не прошли и пяти минут, как она притормаживает и показывает ручкой в направлении поперечной улочки: вам сюда, а потом пару шагов налево... Конечно, любопытно было бы пообщаться побольше, о чем я честно сказал ей, вручая свою визитку с электронным адресом. Да только она до сих пор так и не отозвалась. А жаль...

История вторая. Вена. В австрийской столице имеется театр «Ан дер Вин», то есть «На реке Вене» - ведь город не ограничивается одной лишь рекой, Дунаем. Театр этот открыт в 1801 г., усилиями друга Моцарта, Эмануэля Шиканэдера, который был его первым директором, да к тому же автором либретто моцартовской "Волшебной флейты". На том же берегу Вены (реки) с 16 века существует прославленный далеко за пределами не только Вены (города), но и всей страны *Naschmarkt*. Буквально это означает «Рынок, где торгуют вкусными вещами», хотя русскоговорящие венцы давно уже переосмыслили название как «Наш рынок». А наших людей там хватает – да и где их нет! Идем мы с женой по рыночным рядам, любуемся горами овощей и фруктов, всяческих хлебцев, булочек и прочей выпечки, поглядываем на витрины павильонов, где выставлены разные

соления и маринады, служащие завлекающим фоном для доброй сотни сортов колбас и сыров, не считая рыбы и мяса. И слышим, как беседуют две девицы-продавщицы, звонкими голосами перекликаясь через проход между рядами. По-русски, естественно. «Так ты летишь к Милке на свадьбу?» – спрашивает одна. – «А как же! – бодро отзывается другая. – Ты бы видела, какую она мне обалденную *газману* прислала!» – «Знаешь, я, наверное, тоже полечу – сто лет в Хайфе не была». Такой вот милый диалог венских жительниц (Бог весть с какими паспортами), особую прелесть которому, несомненно, придает ивритское словечко *газмана*, что означает, как известно, «приглашение».

История третья. Верона. Место действия – площадь буквально в десяти шагах от дома Джульетты, посредине которой на уличных прилавках развернута активная торговля сувенирами. Оставляя без внимания безвкусные статуэточки, изображающие представителей старшего и младшего поколений семейства Монтекки и Капулетти, мы прицениваемся к альбому «Великолепная Италия», и спрашиваем продавщицу – по-английски, естественно – имеется ли книжка на русском. Она автоматически отвечает: *Si*, и тут же прерывает себя: «Господи, так вы же понимаете по-русски!» Естественно, разговорились. Девушка из Молдавии, с виду лет двадцати, то есть, ровесница перестройки. Как говорится, могли ли предположить ее родители... «Ой, что вы, нас тут много, молдавских девчат». И поспешно добавляет, дабы у нас не возникли неправильные мысли на счет бывших соотечественниц (по Советскому Союзу): «В основном в торговле работают...» Ну, что ж, все вполне закономерно. В свое время римский поэт Публий Овидий Назон был отправлен в ссылку и «...страдальцем кончил он // Свой век блестящий и мятежный // В Молдавии, в глуши степей, // Вдали Италии своей», а в наши дни дочери молдавских степей приезжают в Италию в качестве гастарбайтеров и торгуют здесь. Сувенирами.

Перенесемся теперь с Апеннинского полуострова на Пиренейский. А точнее – в Испанию. Ехали мы из Барселоны в Фигерас, полюбоваться на фантастические чудачества Сальвадора Дали. И великий сюрреалист оправдал все возлагавшиеся на него надежды, причем в самой полной мере и даже сверх того: мало тех чудес, которым привычно дивится публика со всех концов света в его театре-музее, так мы имели еще и дополнительный сюр на подъезде к Фигерасу, где остановились пообедать. Судите сами: придорожное кафе, возле которого стоят несколько трейлеров (вспоминаешь утверждения Сименона и Жапризо насчет того, что

шоферы-дальнобойщики отлично знают все кулинарные достоинства точек питания вдоль трассы, и пять трейлеров на стоянке – это все равно что пять звездочек на вывеске ресторана), внутри – вполне испанская обстановка, и хозяин – нормальный кабальеро с усиками. А вот на раздаче – русская девица лет двадцати, дающая нам без малейшего акцента советы по части выбора блюд. Хотя на все вопросы о том, как она сюда попала, отвечающая: "Ой, я не могу без дела болтать – хозяин заругает..." (Из чего можно сделать вывод, что и хозяин, несмотря на свое матадорское обличье, тоже сечет по-русски.)

И еще одна сюрреалистическая ситуация в Испании. Идет группа израильских туристов (общающихся между собой на привычном с рождения русском языке) по крутым улочкам города кастильской славы Толедо, и вдруг нам наперерез кидается... ну, назовем его "безденежный дон" (следуя терминологии братьев Стругацких), держащий в руках альбомы из серии "Вся Испания". То есть, пока все вроде бы нормально, не так ли? Но при этом он орет: «Пожалста! Анаха!» (то есть, "Скидка"). А отсчитывая сдачу, говорит, также на одном дыхании: «Спасибо-тода-раба!» (то есть, сами понимаете, "Большое спасибо"). И возникает ощущение, что он полагает, будто все эти слова принадлежат одному языку. Вот интересно только, как он сам думает – на русском он общается или на иврите? В пользу первой версии говорит тот факт, что предлагаемые к продаже книги – на русском. Согласимся, однако, что произносимый им текст равно может сгодиться и для израильских групп, составленных из уроженцев страны. И даже можно допустить, что у него в сумке имеются оба комплекта путеводителя – и русский, и ивритский. Загадка только в том, как он ухитряется определять, кому какую книжку следует предложить? Впрочем, продавцы главного иерусалимского рынка Махане Иехуда такие задачки давно уже решают в один ход, без тягостных раздумий, и переходят с иврита на «Иди сюда! Всё дешево-дешево!» легко и непринужденно. А самое главное – безошибочно.

Место действия следующей истории – Иордания. А точнее – Петра, город, входящий в список жемчужин Всемирного наследия, составленный ЮНЕСКО. По приезде, уже после ужина, вышли мы с женой и еще одна пара прогуляться, оглядеться, прикупить минеральной водички перед завтрашним восхождением на горные вершины. Заходим в открытый, несмотря на позднее время, магазинчик – так просто, глянуть на местные достопримечательные сувениры: пейзажи с верблюдами и погонщиками, искусно насыпанные в бутылках с использованием

разноцветного песка. Стоим, обсуждаем эти красоты потихоньку – беседуем, разумеется, по-русски. Потом что-то я спросил у продавца – перейдя, таким образом, на английский, – и он дал мне развернутый ответ (здесь следует особо отметить, что с английским в Иордании дела обстоят лучше, чем в Египте и намного лучше, чем в Израиле – я имеют в виду лиц, занятых в сфере обслуживания, поскольку в академических кругах ни одной из этих стран мне вращаться не довелось). Поговорили мы с ним немного, после чего он осторожно поинтересовался, не на русском ли языке мы общались между собой. И, получив утвердительный ответ, спрашивает: «Может, вы объясните мне, что значит слово «Так»?» Честно говоря, я его не сразу понял. «Ну, «так» - слово, которое вы, русские, говорите на каждом шагу». Наконец, я сообразил, о чем идет речь и приступил к разъяснениям: «Это слово-паразит. Никакого реального смысла не имеет. Может означать и “Well...”, и “So, well...”, и “Well, now...”, и “You see...”, и “Now then...”, и “And now...”, и “For example...”, и все, что хочешь...» Продавец обрадовано заявил, что и в арабском есть такое слово – многозначное и бессмысленное. Мы вышли из магазинчика и отправились в гостиницу. Молчание нарушила наша спутница: «Значит, так...», - сказала она. И, запнувшись, рассмеялась. Все оставшиеся три иорданских дня мы только и делали, что ловили друг дружку на этом самом «такании» (у нас еще и в автобусе были места рядом, то есть общались мы все дни напролет). Попробуйте прикинуть, дорогие читатели, сколько раз на дню вы начинаете разговор этим глубокомысленным «Так». Уверяю вас, результаты самопроверки окажутся удивительными и поразительными – поскольку прав наблюдательный продавец из Петры: мы употребляем это словечко буквально на каждом шагу.

А на закуску такая забавная история – хотя и не моя, сразу предупреждаю. В смысле, сам я не был свидетелем происшедшего. Время действия – 1970-е. Какой-то островок посередине Атлантического океана, где корабли под всеми флагами пополняют запасы пресной воды. Группа советских моряков, отпущенных на берег, заходит в магазинчик, где, в числе прочих диковин, имеется аквариум с пестрыми тропическими рыбками, которые резвятся, едва ли не задевая плавниками развешенные на леске водонепроницаемые часы. Моряки полюбовались картинкой, приценились (к часам, по-английски), обсудили цены (между собой, по-русски) и направились к выходу, со словами: «Дороговато...». И тут торговец, цвета какао, переходящего в кофе, заорал им в след: «Русский, русский, не 3,14зди!» Морячки отпали, а торговец продолжил, по-русски же, называть цены этих

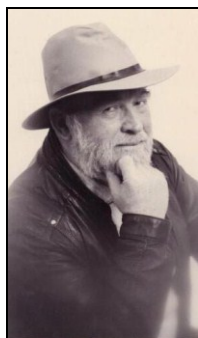
часов (в рублях!) в Одессе, Новороссийске и прочих портовых городах Советского Союза. Как под гипнозом, моряки закупили товар. И надобно сказать, что туземный торговец не обманул, цены назвал вполне точные, и по прибытии на Родину моряки с лихвой оправдали затраченную валюту...



Об авторах



Мирон Амусья – профессор теоретической физики, Иерусалим.



Евгений Майбурд – экономист, автор статей по истории, религии, культуре.



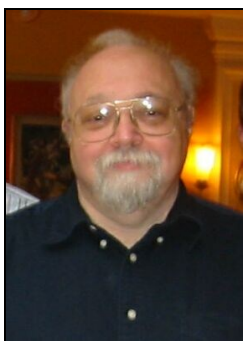
Василий Демидович – российский математик, доцент механико-математического факультета МГУ.



Шуламит Шалит – литератор и журналист. Автор книги «На круги свои...», Иерусалим, 2005.



Игорь Ефимов – писатель, философ, издатель.



Борис Тененбаум – автор исторических очерков и книг.



Надежда Кожевникова – русский литератор, живет в США.

Анатолий Абрамов – физик, эколог, публицист.



Влад Аронов – строитель.



Борис Бем – журналист, литератор.



Владимир Шапиро – физик, литератор.



Геннадий Несис – доктор педагогических наук, профессор, международный гроссмейстер ИКЧФ, сеньор-тренер ФИДЕ, международный арбитр, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, литератор, журналист.



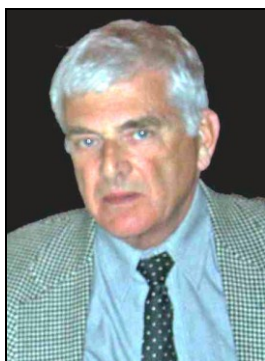
Дора Ромадинова – член Союза Композиторов, журналист.



Михаил Юдсон – литератор.



Ирина Маулер – член Союза художников Израиля, член Союза писателей Москвы и Израиля.



Виталий Аронзон – кандидат технических наук.
Публиковался в периодических изданиях США и России.



Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, член Союза Российских писателей и Русского ПЕН-центра.



Игорь Гельбах – писатель, переводчик, журналист.



Елена Матусевич-Мазур – писатель, художник, филолог.



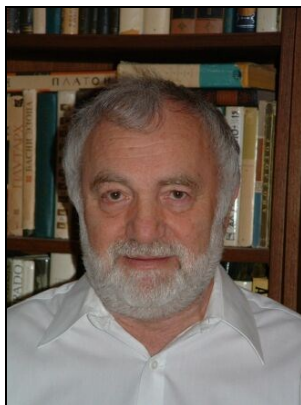
Алекс Тарн – литератор, переводчик, драматург.



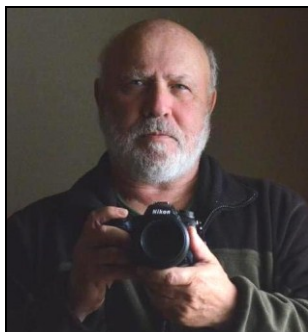
Сергей Ребельский – биолог, публицист, литератор.



Эстер Пастернак – поэт, журналист, прозаик.



Александр Матлин – инженер-строитель, печатается в периодической прессе.



Артур Кальмейер – литератор.



Виктор Гопман – переводчик.

Журнал «Семь искусств», декабрь 2012
ред.-сост. Евгений Беркович
изд-во «Общества любителей еврейской старины»
Ганновер 2012, 383 стр. 16,3 а. л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
© Дорота Белас (оформление)

Компьютерная верстка и техническое редактирование
Изабеллы Побединой

Ганновер
Общество любителей еврейской старины